

Террорист, Джон Апдайк

У американского терроризма — почти детское лицо. Лицо  
выросшего в рабочем квартале юноши, в чьих жилах течет  
взрывоопасная смесь арабской и ирландской крови...  
Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду молодежных  
банд...  
Лицо ее друга, погрязшего в наркоторговле и уличных  
разборках...  
Они молоды, злы и готовы действовать.  
Америка — гигантский плавильный котел наций?  
Или — пороховая бочка, которая вот-вот взорвется?  
А если это так — что сделать, чтобы взрыва не произошло?..

I

Террорист  
А теперь, о Господи, возьми,  
пожалуйста, мою жизнь, потому как  
лучше мне умереть, чем жить.  
А Господь сказал: «Правильно ли тебе  
гневаться?»  
Библия. Книга пророка Ионы. 4:3–4  
Неверие прочнее веры,  
поддерживается разумом.

Габриель Гарсия Маркес.  
О любви и прочих демонах

I

«Дьяволы, — думает Ахмад. — Эти дьяволы стараются отнять у  
меня моего Бога». Целый день в Центральной школе девчонки ходят  
раскачиваясь и посмеиваясь, выставляя напоказ свое нежное тело и  
манящие волосы. Их обнаженные животики, украшенные блестящими  
затычками для пупка и уходящими вниз фиолетовыми татуировками,  
вопрошают: «А что тут еще можно увидеть?» Мальчишки  
расхаживают, и фланируют мимо, и смотрят, не видя, своими  
нервными эффектными жестами и небрежным презрительным  
смешком давая понять, что ничего другого для них не существует,  
кроме окружающего мира — этого шумного отремонтированного  
зала с металлическими шкафчиками вдоль стен и пустой стеной в  
конце, исписанной граффити и часто перекрашиваемой с помощью  
валика.

Учителя, слабоверующие христиане и не соблюдающие  
требований веры евреи, выворачиваются наизнанку, обучая  
добродетели и самовоздержанию, но бегающие глаза и глухие голоса  
выдают отсутствие у них веры. Им платят город Нью-Прспект и штат  
Нью-Джерси, чтобы они этому учили. У них нет настоящей веры; они  
не идут по Верному пути; они — нечистые. Ахмад и две тысячи  
других студентов видят, как они после занятий спешат к своим  
машинам на потрескавшейся, замусоренной стоянке, похожие на почти

бесцветных или черных крабов, обреченных находиться в своих раковинах, а ведь они такие же, как все мужчины и женщины, полные похоти, и страха, и увлечения вещами, которые можно купить. Неверные, они считают, что спасение — в накоплении земных вещей и в разлагающих увеселениях телевизора. Они — рабы картинок, лгущих о счастье и богатстве. Но даже правдивые картинки являются лишь порочной фальсификацией Бога, ибо только он один может созидать. От чувства облегчения, что они еще на один день расстались со студентами целыми и невредимыми, учителя излишне громко прощаются в коридорах и на стоянке, возбужденные, словно после выпивки. Учителя получают наслаждение от того, что они уже не в школе. У некоторых красные веки, дурной запах изо рта и разбухшее

тело, как у людей, слишком много пьющих. Одни разводятся; другие живут с женщинами в безбрачии. Вне школы они живут беспорядочно, распутно, потворствуя своим желаниям. Им платят правительство штата в Трентоне и сатанинское правительство в Вашингтоне, чтобы они прививали любовь к добродетели и демократическим ценностям, а они верят в нечестивые ценности — биологию, химию и физику. Факты и формулы этих наук их лживые голоса произносят твердо — они разносятся по всей классной комнате. Они говорят, что все происходит от безжалостных слепых атомов — это они придают холодную тяжесть железу, прозрачность стеклу, крепость клею, волнение плоти. Электроны текут по медным проводам и через затворы компьютера и просто по воздуху, превращая взаимодействие дождевых капель в молнию. Правдиво лишь то, что можно измерить и по этой мерке вычислить. Все остальное — эфемерная мечта, которую мы называем своим естеством.

Ахмаду восемнадцать лет. Начало апреля — снова зелень, зерно за зерном попадает в унылые расщелины города. Ахмад смотрит вниз с высоты своего нового роста и думает, что для насекомых, невидимых в траве, он казался бы Богом, обладай они сознанием, как он. За последний год он вырос на три дюйма, стал шести футов высотой — опять невидимые материалистические силы сработали в нем по своему хотению. Он считал, что уже не вырастет больше — ни в этой жизни, ни в следующей. «Если существует следующая», — прошептал сидящий в нем чертенок. Что, помимо пылких и божественно вдохновенных слов Пророка, доказывает, что есть следующая жизнь? Где она сокрыта? Кто будет поддавать жар кипящим котлам в Аду? Какой бесконечный источник энергии будет поддерживать пышность Рая, кормить его чернооких гурий, насыщать соком их тяжелые висящие плоды, наполнять ручьи и бьющие фонтаны, в которых Бог, как написано в девятой суре Корана, получает извечное удовольствие? Как быть со вторым законом термодинамики?

Смерть насекомых и червей, чьи тельца быстро поглощаются землей и травами, и гудроном дорог, словно некий дьявол пытается подсказать Ахмаду, что и его собственная смерть будет столь же малозначимой и окончательной. Идя в школу, он заметил на тротуаре блестящую спиральку ихора, божественную сукровицу из тела какого-то низшего существа — червя или змейки, от которого только и

остается такой след. Куда двигалось это существо — его путь

спиралью вился внутрь себя? Если оно стремилось убраться с жаркого тротуара, который под палящим солнцем поджаривал его насмерть, то тщетно, ибо двигалось оно роковыми кругами. Но никакого тельца не осталось в центре спирали.

Так куда же исчезло тельце? Быть может, его подхватил Господь и отправил прямым в Рай. Учитель Ахмада шейх Рашид, имам в мечети, что наверху дома по улице Уэст-Мэйн-стрит 2781½, говорит ему, что, согласно священной традиции, записанной в Хадифе, такое случается: посланец, ехавший на белом крылатом коне Бураке, был направлен ангелом Гавриилом через семь небес в такое место, где он молился с Иисусом, Моисеем и Авраамом, а потом вернулся на землю и стал последним пророком, главным. Его приключения в тот день доказывают след от копыт, четкий и ясный, что оставил Бурак на скале под священным храмом в центре Аль-Квудса, который неверные и сионисты, чьи страдания в печах Ханаана хорошо описаны в седьмой, и в одиннадцатой, и в пятнадцатой сурах Книги из Книг, назвали Иерусалимом.

Шейх Рашид читает с очень красивым произношением сто четвертую суру о Хулители, Сокрушающем огне:

А что дает тебе знать, что такое «сокрушилище»?

Огонь Аллаха воспламененный,  
Который вздымается над сердцами!

Он над ними воздвигнут сводом  
на колоннах вытянутых[1].

Когда Ахмад пытается найти среди образов написанного поарабски Корана — среди колонн вытянутых (fi 'amadin mumaddada) и свода, вздымающегося над сердцами тех, что сжались от ужаса и впились взглядом в нависший туман от раскаленного огня (nāri l-lābi 'l-mūqada), — хотя бы намек на то, что в какой-то момент настанет благодатное послабление и передышка от Хулителя, имам опускает глаза, которые неожиданно оказываются светло-серыми, мутными и бегающими, как у кафиров, и говорит, что эти описания даны образным языком Пророка. На самом деле они изображают жгучую

тягость жизни вдали от Бога и наше горячее раскаяние в грехах, совершенных против Его повелений. Но Ахмаду не нравится голос, каким шейх Рашид говорит это. Это напоминает ему неубедительные голоса учителей в Центральной школе. Ему слышатся интонации Сатаны — голос отрицания в голосе утверждения. Пророк имел в виду огонь физический, говоря о сокрушающем огне, — Мохаммед не мог слишком часто превозносить вечный огонь.

Шейх Рашид ненамного старше Ахмада — быть может, лет на десять, быть может, на двадцать. На его белом лице есть несколько морщинок. Движения у него робкие, но точные. За те годы, на которые он старше Ахмада, мир ослабил его. Когда в голосе имама появляется отзвук нашептываний грызущих его дьяволят, Ахмад чувствует, как в нем нарастает желание подняться и раздавить их подобно Богу, зажарившему бедного червя в центре спирали. Вера студента превышает веру учителя: шейх Рашид боится сесть на крылатого белого коня ислама, неудержимо несущегося вперед. Он старается смягчить слова Пророка, увязать их с человеческим разумом, но они не должны увязываться — они кинжалом врезаются в мягкость человека.

Аллах превыше всего. Нет Бога, кроме Него, Живущего, Самосуществующего: Он — свет, при котором солнце кажется черным. Он не увязывается с нашим разумом, а заставляет наш разум склониться так низко, что лоб касается праха и след праха остается на нем, как у Каина. Мохаммед был смертным, но он посетил Рай и действительно жил там. Наши дела и мысли записаны в сознании Пророка золотыми буквами подобно горящим словам из электронов, которые создает компьютер из элементов изображения, по мере того как мы ударяем по клавишам.

В коридорах школы пахнет духами и телесными испарениями, жевательной резинкой и нечистой пищей кафетерия, а также одеждой — хлопком, шерстью и синтетическими материалами, из которых сделаны кроссовки, разогретые молодой плотью. На переменах стоит грохот движения; шум тонким слоем прикрывает еле сдерживаемое буйство. Иной раз, когда в конце школьного дня все успокаивается, когда победные крики вырвавшихся на волю школьников поутихли и в большом здании остались лишь те, кто занят внеклассной работой, Джорилин Грант подходит к Ахмаду у его шкафчика. Он занимается

весной легкой атлетикой; она поет в клубе товарищества. Они по меркам Центральной школы считаются «хорошими». Вера удерживает его от употребления наркотиков и от пороков, правда, она же заставляет его держаться вдали от одноклассников и занятий по программе. Она — маленькая, пухленькая и хорошо выступает в классе, радуя учителя. Есть подкупающая самоуверенность в том, как ее какао-смуглые округлости заполняют одежду, которая на сегодняшний день состоит из залатанных джинсов с блестками, обесцвеченных на сиденье, и пурпурной, в резинку, майки, одновременно более длинной и более короткой, чем следует. Голубые пластиковые заколки стягивают назад ее блестящие волосы, до предела выпрямляя; с пухлой мочки ее правого уха свисает ряд маленьких серебряных колечек. Она поет в хоре, выступающем на собраниях, песни о Иисусе Христе или о влечениях плоти — обе эти темы отвратительны Ахмаду. Однако ему приятно, что Джорилин замечает его, подходит к нему, как, например, сейчас, и вызывает такое чувство, какое бывает, когда языком коснешься больного зуба.

— Не унывай, Ахмад, — поддразнивает она его. — Не может быть, чтоб все было так уж плохо! — И покачивает своими полуголыми плечами, приподнимая и пожимая ими, словно хочет показать, что шутит.

— Вовсе не плохо, — говорит он. — И я совсем не грущу, — сообщает он ей. Его длинное тело под одеждой — белой рубашкой и черными джинсами в обтяжку — слегка покалывает после душа, который он принял после легкой атлетики.

— Очень уж ты выглядишь серьезным, — говорит она ему. — Научись больше улыбаться.

— Зачем? Зачем я должен этому учиться, Джорилин?

— Тебя будут больше любить.

— Мне это без разницы. Я не хочу, чтоб меня любили.

— Нет, это тебе безразлично, — говорит она ему. — Всем безразлично.

— Это тебе безразлично, — говорит он, с насмешкой глядя на

нее с высоты своего недавно обретенного роста.

Верх ее груди, словно большие волдыри, вылезает из выреза непристойной майки, которая внизу приоткрывает ее пухлый животик и абрис ее глубокого пупка. Ахмад представляет себе, как ее гладкое

тело, темнее карамели, но светлее шоколада, поджаривается в том воспламененном огне и, корбясь, покрывается пузырями; по телу его пробегает дрожь сострадания, поскольку Джорилин старается мило держаться с ним — в соответствии с тем, кем она себя воображает. — Маленькая Популярная мисс, — презрительно произносит он. Это ранит ее, и она отворачивается — толстые книги, что она несет домой, вдавливаются в ее груди, образуя между ними глубокую впадину.

— Да пошел ты, Ахмад, — говорит она все еще мягко, нерешительно, ее нижняя губа под собственным нежным весом немного опускается. Слюна у основания зубов сверкает отраженно от трубок дневного света, проложенных по верху коридора и надежно освещающих его. Желая спасти разговор, хотя она уже отвернулась и вроде бы закончила его, Джорилин добавляет: — Если бы тебе было безразлично, ты не красовался бы, каждый день меняя, точно священник, белые рубашки. И как только твоя мать выносит такую кучу глажки?

Он не снисходит до объяснения, что такой продуманный костюм указывает на его непричастность к сражающимся, что он избегает носить как синий цвет — цвет Бунтарей, банды афроамериканцев в Центральной школе, — так и красный, который всегда присутствует если не на поясе, то на головной повязке Дьяволов, банды испаноязычных. Не говорит он ей и того, что его мать редко гладит, так как работает помощницей медсестры в городской больнице имени Святого Фрэнсиса, а в свободное время пишет картины и видит сына обычно меньше часа в сутки. Рубашки его приходят натянутыми на картон из чистки, за которую он платит из тех денег, что зарабатывает в качестве клерка в «Секундочке» на Десятой улице, где он трудится по два вечера в неделю, а также по выходным и по христианским праздникам, когда большинство мальчишек его возраста бродят по улицам с дурными намерениями. Но он знает, что его костюм говорит о тщеславии, о желании покрасоваться, а это оскорбляет чистоту Всезнающего.

Он чувствует, что Джорилин не просто старается проявить к нему внимание — он вызывает у нее любопытство. Она хочет сблизиться с ним, чтобы лучше его понять, хотя у нее уже есть приятель, печально известный «плохой» мальчишка. Женщины — они как животные: их

легко увести, предупреждал Ахмада шейх Рашид, да он и сам видит, что и в школе, и в окружающем мире люди льнут друг к другу, словно слепые животные, которые в стаде тычутся друг в друга в поисках запаха, который их утешит. Но в Коране сказано, что утешаются лишь те, кто верит в невиданный Рай и кто соблюдает предписание молиться пять раз в день, которое Пророк принес на Землю, проскакав ночь на широкой, ослепительно белой спине Бурака.

А Джорилин не отступает — все еще стоит тут, совсем близко от

него. Ее духи щекочут ему ноздри; впадина между грудей волнует его. Она перекладывает тяжелые книги с одной руки на другую. Он читает на переплете самого толстого учебника написанные самопиской слова: ДЖОРИЛИН ГРАНТ.

Ее губы, накрашенные блестящей, как металл, розовой помадой, чтобы казаться тоньше, смущенно произносят, так что он вздрагивает от неожиданности.

— Я все думала тебе сказать, — выдавливает она из себя так нерешительно, что он наклоняется, чтобы лучше слышать, — не придешь ли ты в это воскресенье в церковь, чтобы послушать, как я пою соло в хоре.

Он шокирован, ему противно даже думать о таком.

— Я ведь не твоей веры, — напоминает он ей.

Она отвечает легко, беспечно.

— О, я не отношусь к этому так серьезно, — говорит она, — я просто люблю петь.

— Вот теперь ты действительно меня расстроила, Джорилин, — говорит Ахмад. — Если ты относишься к религии несерьезно, тебе не надо туда ходить.

Он с грохотом захлопывает свой шкафчик, злясь главным образом на себя за то, что сделал ей выговор и отказался, в то время как она, пригласив его, стала ему доступней. С пылающим от смущения лицом он поворачивается спиной к своему захлопнутому шкафчику, чтобы выяснить причиненный ущерб, а ее уже нет — ребристый, в блестках зад ее джинсов беззаботно удаляется по коридору. «Трудно жить в этом мире, — думает он, — потому что дьяволы уж слишком усердно в нем работают, внося путаницу и все перекручивая».

Когда в прошлом столетии — двадцатом по христианскому летосчислению и четырнадцатом после переезда Пророка из Мекки в Медину — была построена эта школа на небольшом холме, дворец наук для детей мельничных рабочих и их менеджеров, она возвышалась над городом, как замок с колоннами и затейливыми карнизами и выгравированным на граните изречении: В ЗНАНИИ — СВОБОДА. А теперь это здание, обильно разукрашенное глубокими царапинами и осыпающимся асбестом, покрытое жестким слоем блестящей краски, с высокими решетчатыми окнами, стоит на краю эдакого большого озера из рваных камней, где когда-то была часть центра, прорезанная трамвайными рельсами. На старых фотографиях блестят рельсы в окружении мужчин в соломенных шляпах и галстуках и пузатых автомобилей цвета похоронных дрог. Над тротуарами было натянуто столько тентов, рекламировавших соперничающие голливудские «хиты», что в дождь можно было нырять из-под одного тента в другой и не промокнуть. Был даже подземный публичный туалет, обозначенный старинными фарфоровыми буквами: ДАМЫ и ДЖЕНТЛЬМЕНЫ; к нему вели две разные лестницы с тротуара Ист-Мэйн-стрит у Тилден-авеню. В каждом из них был пожилой служитель, поддерживавший чистоту туалетов и раковин; туалеты были закрыты в шестидесятих годах,

превратившись в дурно пахнущие прибежища для наркодельцов, гомосексуалистов, проституток, а порой и грабителей. Город два века тому назад был назван Нью-Проспект, то есть Новая Перспектива, из-за великолепного вида, открывавшегося с холмов над водопадами, а также из-за восторженного видения будущего. Когда страна была еще молодой, думали, что река, протекающая через город, с ее живописными водопадами и бурными порогами привлечет промышленников, да так оно со временем и произошло: после многочисленных неудачных начал и банкротств появились трикотажные фабрики, заводы по окраске шелка, по выделке кожи, предприятия, производившие локомотивы, и безлошадные повозки, и канаты, чтобы укреплять большие мосты, перекинутые через реки и гавани Среднеатлантического района. При переходе девятнадцатого века в двадцатый начались продолжительные и кровавые забастовки; экономика так и не вернулась в то оптимистическое состояние, что помогало эмигрантам из Восточной

Европы, Средиземноморья и с Ближнего Востока терпеливо выносить четырнадцатичасовой напряженный, насыщенный ядовитыми газами, оглушающий, монотонный рабочий день. Заводы перекочевали на Юг и на Запад, где была дешевле рабочая сила и легче было запугивать людей и куда ближе было подвозить железную руду и кокс. В старом центре живут теперь люди с темной кожей разных оттенков. Среди городских торговцев оставшиеся белокожие, но редко англосаксы продают с малой прибылью пиццу, и чили, и всякую бросовую еду в ярких пакетиках, а также сигареты и лотерейные билеты штата, но их теснят недавние эмигранты из Индии и Кореи, которые с наступлением темноты не так спешат сбежать на еще смешанные по населению окраины города и его пригороды. Белолицые передвигаются в центре города словно крадучись и выглядят пропыленными. Ночью, после того как несколько хороших национальных ресторанов распростятся со своей клиентурой из окраин, возле белых пешеходов будет останавливаться полицейская машина, проверяя, не ищут ли они наркотики, и предупреждая об опасности здешних мест. Ахмад сам произошел от рыжей американки, ирландки по крови, и студента-египтянина, прибывшего по обмену, чьи предки со времен фараонов жарились на заболоченных рисовых и льняных полях, затопляемых Нилом. Кожу отпрыска этого смешанного брака можно назвать сероватой, светлее бежевой, а кожа у его названного отца шейха Рашида — восково-белая, такая же как у поколений йеменских воинов, которые накрепко обматывали себя бинтами.

Там, где раньше стояли шестиэтажные универсальные магазины и тесно сбитые конторы по рекламе, принадлежавшие евреям и протестантам и составлявшие единый фасад из стекла, кирпича и гранита, теперь — созданные бульдозером провалы и заколоченные фанерой бывшие витрины, исписанные краской с помощью распылителя. На взгляд Ахмада, круглые буквы граффити, горделиво возвещающие о принадлежности к той или иной шайке, придают этому важное значение, на какое их создатели не могут претендовать. Утопая в трясине безбожия, потерянные молодые люди занимаются самоутверждением, обезображивая собственность. Среди развалин воздвигнуто несколько новых коробок из алюминия и голубого стекла в качестве подачки от властителей Западного капитала — отделения

банков, квартирующих в Калифорнии или в Северной Каролине, и аванпосты захваченного сионистами федерального правительства, пытающегося с помощью вовлечения людей в социальное страхование и набора в армию предотвратить бунты и грабежи со стороны бедняков.

И несмотря на все это, центр города днем своей кипучестью производит праздничное впечатление: в кварталах Ист-Мэйн-стрит вокруг Тилден-авеню царит карнавал безделья — здесь толпится масса чернокожих горожан в ярких одеждах, этакий масленичный костюмированный парад, любовно устроенный теми, чье законное достояние простирается едва ли на дюйм от их кожи и чье жалкое имущество все на виду. Их радость выражается в вызове. Их гогот, крики звучат так громко, словно перекликаются деревенские дружки, требуя внимания друг к другу, когда людям делать нечего и некуда идти.

После Гражданской войны в Нью-Проспекте появилась безвкусная пышность в виде замысловатого здания городского совета, вытянутого в длину и украшенного башенками наподобие мавританского стиля, с закругленными арками и чугунными решетками в стиле рококо и увенчанного большой, типа мансарды, башней. Покатые стены здания покрыты разноцветной галькой словно рыбьей чешуей и содержат четыре белых часовых циферблата, которые, если спустить их на землю, будут величиной с бассейн. Широкие медные сточные каналы и водосточные трубы, своеобразные памятники умелым мастерам-металлургам своего времени, с годами позеленели. Бюрократическая деятельность, для которой была предназначена эта каменная глыба, уже давно переведена в менее высокие, менее пышные, более современные, зато снабженные кондиционерами и легче обогреваемые здания позади нее, а ей после долгого лоббирования был недавно определен статус национального архитектурного памятника. Оно стоит на расстоянии одного квартала к западу от Центральной школы, чьи некогда обширные владения были значительно урезаны при расширении улиц и продаже участков частным лицам, на что подкупленными чиновниками было дано разрешение.

На восточном краю озера рассыпанных камней, где затихшие автостоянки перемежаются бурными волнами разбитых кирпичей,

стоит церковь из бурого железняка с толстыми стенами, поддерживающими тяжелую колокольню, и возле нее на потрескавшемся щите — реклама получившего приз церковного хора. В окнах этой церкви богохульно изображен Господь, которому дано лицо и жестикулирующие руки, ноги в сандалиях и цветное одеяние, — словом, человеческое тело со всем, что есть в нем нечистого и утяжеляющего; изображения эти почернели за десятилетия оседавшей на них промышленной копоти и вообще трудно различимы из-за защитной проволочной сетки. Религиозные образы вызывают ныне отвращение, как во времена войн Реформации. Славные дни церкви, когда верующие белые горожане сидели на иерархически закрепленных за ними местах, тоже отошли в прошлое. Ныне афроамериканцы принесли сюда свою разнузданную крикливую религию, а их получивший приз хор затопляет мозги ритмичным экстазом, столь же иллюзорным (эту аналогию сардонически проводит



шейх Рашид), как транс, в который впадают, топчась на месте и что-то бормоча, танцующие бразильское кандомблэ. Вот тут-то Джорилин и поет.

На другой день после того, как она пригласила Ахмада прийти послушать ее пение в хоре, к Ахмаду в коридоре подошел ее приятель Тайленол Джонс. Его мать, родив десятифунтового младенца, увидела в телевизионной рекламе название болеутоляющего средства, и оно понравилось ей.

— Эй, араб, — сказал Джонс. — Я слышу, ты обижаешь Джорилин.

Ахмад пытается говорить с парнем на его языке.

— Ничего я ее не обижаю. Просто мы немного поболтали. Это она подошла ко мне.

Тайленол сжал тощее плечо парня и ткнул его большим пальцем в чувствительное место под лопаткой.

— Она говорит, ты не уважаешь ее веру.

Его палец глубже уходит в нерв, спавший у Ахмада всю жизнь. У Тайленола квадратное лицо цвета орехового пятна на мебели, пока оно еще мокрое. Он — полузащитник в школьной футбольной команде, а зимой — гимнаст на кольцах, так что у него железная мускулатура на руках. Его большой палец делает рябь на наглаженной белой рубашке

Ахмада; он выше Тайленола и пытается высвободиться из недружеского объятия.

— Ее вера — вера неверных, — заявляет Ахмад Тайленолу, — и в любом случае она сказала, что вера ей без разницы, она только хочет петь в этом дурацком хоре.

Железный палец продолжает ввинчиваться в тело, но Ахмад, почувствовав прилив адреналина, ударяет краем ладони по толстой связке мышц и избавляется от руки Тайленола.

Лицо Тайленола темнеет и резко приближается к Ахмаду.

— Ты мне не носи психотины — ты такой псих, араб, за тебя никто гроша ломаного не даст.

— Кроме Джорилин, — выпаливает Ахмад под влиянием все того же адреналина. Он чувствует, как подступают слезы, и подозревает, что лицо его позорно застыло от страха, но какое божественное наслаждение сразиться даже с превосходящим тебя противником, почувствовать, как ярость переполняет тебя. И, осмелев, он продолжает: — И я не назвал бы ломаным грошом то, что она подарила мне. Это просто дружба, которой людям твоего типа не понять.

— Что значит — моего типа? Мой тип не имеет ничего общего с твоим типом — это правда, болван. Ты — извращенец, гомик. Ты — педик.

Его лицо так близко, что Ахмад чувствует запах сыра, которым в кафетерии посыпают макароны. Он толкает Тайленола в грудь, чтобы немного отстранить от себя. Вокруг них в коридоре начинают собираться ученики — из породы заводил и компьютерных червей, растафари и готы, одиночки и бездельники, которые только и ждут такого случая.

Тайленол любит, когда есть аудитория. Он объявляет:

— Черных мусульман я не обижаю, но ты не черный, ты всего лишь жалкий мудака. Ты не тряпка, ты — мудака.

Ахмад прикидывает, что наилучшим выходом из этого

противостояния было бы оторваться от Тайленола, тем более что вотвот должен прозвонить звонок, сзывающий в класс. Но Тайленол не желает мириться — он наносит Ахмаду удар в желудок, так что у того перехватывает дыхание. Удивление на лице Ахмада и судорожное заглывание воздуха вызывают смех у наблюдателей, в том числе и у

мертвенно-бледных готов, белого меньшинства в Центральной школе, гордящегося тем, что они не выказывают чувств, как их все отрицающие герои панк-рока. А кроме того, раздаются серебристые смешки нескольких полногрудых шоколадных девчонок, мисс Популярных, которым, по мнению Ахмада, следовало бы быть подороже. Настанет день, когда они будут матерями. И этот день недалек, маленькие блудницы.

Он терпит поражение, и ему остается лишь вступить в борьбу с железными руками Тайленола и попытаться пробить эту щитоподобную грудь и тупую маску над ней цвета орехового пятна. Борьба состоит главным образом в том, что они тычут, толкают, и тискают друг друга, и рычат, так как бой на кулаках, если удар попадет в шкафчик, поднимет такой шум, что сюда прибегут учителя и охрана. В эту минуту перед звонком, который призовет всех в классы, Ахмад винит в происходящем не столько парня — тот просто набитый мясом робот, тело, в котором столько соков и рефлексов, что нет места для мозгов, — сколько Джорилин. Зачем было ей рассказывать своему приятелю весь их разговор? Почему девчонки считают нужным все рассказывать? Чтобы выглядеть значительными — подобно тому, как граффити из толстых букв кажутся такими тем, кто их выводит с помощью спрея на беззащитных стенах. Ведь это она заговорила о религии, так кокетливо пригласив его в свою церковь сидеть рядом с курчавыми кафирами, опаленными адским огнем, — так от огня шашлыка становятся коричневыми куриные ножки. Это нашептывают ему дьяволы — вот так же Аллах позволяет многим до гротеска ошибочным и коррумпированным религиям завлекать навечно миллионы людей в Ад, тогда как одна вспышка света Всемогущего могла бы указать им Прямой путь. Такое впечатление (нашептывают Ахмаду дьяволы, пока они с Тайленолом тискают и молотят друг друга, стараясь, однако, не шуметь), что Всемилостивейшего, Милосердного все это не волнует.

В маленькой, защищенной от посягающих рук коробочке высоко на стене горчичного цвета, звенит звонок. Неподалеку в коридоре с грохотом открывается дверь с матовым стеклом; появляется мистер Леви, воспитатель-наставник. Пиджак и брюки у него разные, словно он машинально надел свой мятый костюм. Он бросает рассеянный, затем встревоженный взгляд на подозрительно сгрудившихся

учеников. Собравшиеся мгновенно застывают в молчании, а Ахмад с Тайленолом, сдерживая враждебность, отступают друг от друга. Мистер Леви — еврей, практически всю жизнь проведенный в школьной системе, с виду старый и усталый, с мешками под глазами и жидкими на макушке, нечесаными волосами, несколько прядей которых стоят торчком. От внезапного появления мистера Леви Ахмад вздрагивает, словно от укора совести: у него на этой неделе назначена встреча с мистером Леви для обсуждения его будущего после окончания школы. Ахмад знает, что у него должно быть какое-то будущее, но это представляется ему несущественным и не вызывает интереса.

«Единственное наставление, — говорится в третьей суре, — это наставление от Аллаха».

Тайленол и его банда будут теперь подстергать его. После того как он вынужден был остановиться, этот громила с железными кулаками успокоится лишь тогда, когда подобьет противнику глаз, или выбьет зуб, или сломает палец — сделает что-то такое, что будет на виду. Ахмад знает: это грех — кичиться своей внешностью, ибо любовь к себе — своего рода состязание с Богом, а состязаний Он не терпит. Но как может парень не ценить своего возмужания, своих длинных ног, гривы своих густых волнистых волос, свою безупречную смуглую кожу, более светлую, чем у отца, а не веснушчатую, в красных пятнах, как у рыжей матери или у этих крашенных блондинок, которых в белой Америке считают верхом красоты? Правда, Ахмад старается избегать заинтересованных взглядов, какие бросают на него смуглые девицы в школе, считая их нечестивыми и непристойными, — он не хочет осквернять свое тело. Он хочет оставить его таким, каким сотворил его Создатель. Враждебность Тайленола является еще одной причиной бежать из этого ада убежища, где мальчишки задираются и ради удовольствия причиняют боль, а безбожницы девчонки так низко носят обтягивающие джинсы, что вот-вот увидишь верхний край — по его прикидке всего на палец ниже — их курчавых лобковых волос. У совсем скверных девчонок — тех, что уже окончательно пали, — татуировки на таких местах, что их могут увидеть лишь дружки, татуировщику же пришлось делать наколки, преодолевая головокружение. Нет конца дьявольским фокусам, когда человеческие существа считают, что могут состязаться с Богом и сами создавать себя.

Ему осталось всего два месяца учиться. В воздухе за кирпичными стенами, за высокими зарешеченными окнами царит весна. Клиенты «Секундочки» совершают свои жалкие ядовитые покупки с новым подъемом, с новой болтовней. Ноги Ахмада летят по старой шлакобетонной школьной дорожке, словно под каждым его шагом подложена подушка. Когда он останавливается на тротуаре, озадаченно глядя на спиральку за жарившегося и исчезнувшего червя, вокруг него сплошь зеленые побеги — чеснок, одуванчики и клевер, измученные зимой участки травы, такие теперь яркие, и птицы, обследующие в стремительных полукружиях невидимую субстанцию, которая поддерживает в них жизнь.

Джеку Леви сейчас шестьдесят три года, и он просыпается между тремя и четырьмя ночи с ощущением страха во рту, пересохшему от того, что во сне он дышал ртом. Сны у него мрачные, пронизанные бедами мира. Он читает умирающую, не имеющую достаточно рекламы ежедневную газету «Нью-Проспект перспектив», а также «Нью-Йорк таймс» или «Пост», когда их оставляют в учительской, и словно не начитавшись про Буша, и Ирак, и убийства у себя дома — в Куинсе и Ист-Ориндже, — про убийства даже двух-, четырех- или шестилетних детей, таких маленьких, что крики и борьба со своими убийцами-родителями показались бы им богохульством, как было бы богохульством, если бы Исаак стал сопротивляться Аврааму, — Леви вечером, между шестью и семью часами, пока его дородная супруга переносит по частям обед из холодильника в микроволновку, пересекая при этом кухню как раз перед маленьким экраном телевизора, включает сводку столичных новостей и канал с ток-шоу;

он смотрит телевизор, пока реклама, все сюжеты которой он уже неоднократно видел, не выводит его из себя, и тогда выключает дурацкую машину. Помимо «Новостей», у Джека есть и личная беда — «персональная», как принято сейчас говорить: тяготы предстоящего дня — дня, который забрезжит после всей этой тьмы. Он лежит без сна, а внутри его ворочаются страх и ненависть, словно остатки плохого ресторанного ужина — вам подают теперь в два раза больше еды, чем вы хотите. Страх — углубляющееся с каждым днем сознание, что твоему телу осталось на земле лишь готовиться к смерти, — захлопывает дверь в сон. Он ухаживал за женщинами и совокуплялся;

он произвел на свет ребенка; он работал, чтобы прокормить этого ребенка, маленького впечатлительного Марка с застенчивым насупленным взглядом и мокрой нижней губой, и дать ему весь безвкусный хлам, который, согласно культуре времени, он должен иметь, чтобы не отставать от взрослых. Теперь у Джека Леви осталась одна-единственная обязанность — умереть и тем самым предоставить перегруженной планете немного больше места, немного больше пространства, чтобы дышать. Эта обязанность висит в воздухе над его бессонным лицом, точно паутина с застывшим в центре пауком. Его жена Бет, женщина-кит, такая жаркая из-за своего жира, громко дышит с ним рядом, своим безостановочным похрапыванием продолжая и в подсознании дневной монолог, свое извержение болтовни. Когда он, подавляя ярость, толкает ее коленом или локтем или нежно захватывает рукой ягодицу, обнаженную приподнявшейся ночной рубашкой, она покорно умолкает, и тогда он пугается, что разбудил ее, нарушив клятву, какую берут про себя любые два человека, решая — как бы это ни было давно — спать вместе. Подтолкнув ее, он хочет только, чтобы она вернулась в ту стадию сна, когда дыхание перестанет резонировать в ее носу. Это все равно как настраивать скрипку, на которой он играл в детстве. Новый Хейфиц, новый Исаак Штерн — таким надеялись видеть его родители? Он разочаровал их, став частью невзгод, сливавшихся с невзгодами мира. Его родители были огорчены. Он решительно заявил им, что прекращает уроки. Для него куда больше значила жизнь, описываемая в книгах и происходящая на улицах. Такую позицию он занял в одиннадцать, возможно, в двенадцать лет и никогда больше не притрагивался к скрипке, хотя порой, услышав в машине по радио отрывок из Концерта Бетховена или Моцарта или «Цыганские напевы» Дворжака, которые он когда-то разучивал в аранжировке для учащихся, Джек, к своему удивлению, чувствовал, как вновь оживают пальцы левой руки, перебирая рулевое колесо словно дохлую рыбу. Но зачем себя терзать? Он добился хорошего, более чем хорошего положения: окончил с отличием Центральную школу в 1959 году до того, как в ней стало точно в тюрьме, когда еще можно было учиться и гордиться похвалой учителей; исправно ездил в Городской колледж Нью-Йорка до того, как перебрался в Сохо, в квартиру, которую делил с двумя парнями и девицей, то и дело менявшей свои привязанности;

после окончания учебы два года провел по призыву в армии — до того, как стало горячо во Вьетнаме: прошел подготовку в Форт-Диксе, работал на подшивках в Форт-Миде, штат Мэриленд, отстоявшем достаточно далеко на юг от линии Мейсона — Диксона и поэтому не набитом антисемитами-южанами, затем второй год провел в Форт-Блиссе в Эль-Пасо, в

так называемом отделе людских ресурсов, подбирая людей для операций, что и послужило началом его наставнической деятельности с молодежью; затем по закону о проценте для бывших военнослужащих поступил в университет Ратгерса для получения степени; после этого тридцать лет преподавал историю и социологию в высшей школе, а последние шесть лет стал воспитателем-наставником на полной ставке. Самые факты его карьеры вызывают у Джека такое чувство, будто он зажат своим curriculum vitae как в гробу. В темном воздухе комнаты стало трудно дышать, и он осторожно поворачивается с бока на спину и лежит, как покойник, выставленный для прощания.

Как же шумно могут шуршать простыни! Точно волны разбиваются у твоего уха. А он не хочет будить Бет. Но близкий к удушью, он и ее не в состоянии терпеть. На минуту — точно первый глоток виски, перед тем как от льда оно становится водянистым, — новое положение тела приносит облегчение. На спине он обретает спокойствие мертвеца — только крышка гроба не находится в дюйме от его носа. В мире царит тишина: те, кому далеко ехать на работу, еще не вышли на улицу, а ночные гуляки с развевающимися шарфами наконец залезли в постель. Он слышит, как на расстоянии одного квартала меняет скорость одинокий грузовик у мерцающего светофора, а через две комнаты безостановочно скачет на мягких лапах Кармела, кошка Леви, кастрированная и лишенная когтей. Поскольку она лишена когтей, ее нельзя выпускать на улицу из опасения, что кошки с когтями могут убить ее. Запертая в доме, она большую часть дня спит под диваном, а ночью у нее начинаются галлюцинации и в затихшем доме ей мнятся смертельно опасные приключения, битвы и побеги, чего — ради ее же блага — у нее никогда не будет. Столь лишены звуков эти предутренние часы и таким одиноким кажется себе Джек Леви, что шум, украдкой поднятый сбитой с толку нейтрализованной кошкой, оказывается почти достаточным, чтобы

успокоить его мозг, избавить от обязанности быть на страже и вновь погрузиться в сон.

Однако удерживаемый в бдении требованиями мочевого пузыря, он вместо этого лежит, словно оказавшись под тошнотворной струей радиоактивности, сознавая, что его жизнь (неумеха он, затянувшаяся ошибка природы) — это никому не нужное пятно на иначе безупречной поверхности этого часа ни свет ни заря. В темной чащобе мира он пропустил правильный путь. Но существует ли правильный путь? Или же ошибка уже то, что ты жив? В облегченном варианте истории, каким он снабжал учеников, которым трудно было поверить, что мир не начался с их рождения и появления компьютерных игр, даже величайшие люди кончали ничем — могилой, не осуществив своей мечты: Карл Великий, Карл Пятый, Наполеон, отвратительный, но весьма преуспевший и все еще являющийся объектом поклонения — по крайней мере в арабском мире — Адольф Гитлер. История — это машина, постоянно перемалывающая человечество в прах. Советы ученикам прокручиваются у Джека Леви в голове, создавая какофонию неразберихи. Он видит себя таким патетическим пожилым мужчиной, стоящим на берегу и кричащим флотилии молодых людей, которые соскальзывают в трясину мира с его убывающими ресурсами, исчезающими свободами, беспощадной рекламой, нацеленной на пропаганду нелепой популярной культуры увлечения музыкой и пивом

и тощими, но вполне здоровыми особами женского пола. Разве большинство молодых женщин, даже Бет, были когда-то такими же тощими, как те, что выступают в рекламе пива и кока-колы? Наверняка были, но он едва ли это помнит — воспоминания мелькают, как телеэкран, мимо которого Бет шныряет туда-сюда, собирая обед. Они познакомились в те полтора года, что он провел в Ратгерсе. Она была уроженкой Пенсильвании с северо-запада Филадельфии, район Ист-Маунт-Эйри, и изучала библиотечное дело. Его привлекла в ней бесшабашность, залиvistый смех, легкость и быстрота, с какой она превращала все в шутку, даже их отношения. «Какой у нас с тобой получится малыш? Он уже родится с обрезанной пипкой?» Она была Элизабет Фогель, полунемка, полуамериканка с более сдержанной, менее приятной сестрой Эрмионой. А он был еврей. Но не гордый еврей, защищенный старыми заветами. Его дед отбросил в Новом мире религию, уверовав в революционизированное общество, в мир, где

облеченные властью не могли уже править на основе предрассудка, где еда на столе, пристойное жилье, являющееся пристанищем, заменили собой не заслуживающие доверия обещания невидимого Бога. Впрочем, еврейский Бог никогда и не был щедр на обещания — разбитый бокал на свадьбе, быстрые похороны в саване, когда ты умрешь, никаких святых, никакой жизни после смерти, — просто в течение жизни будь лоялен тирану, потребовавшему, чтобы Авраам сжег в качестве жертвоприношения своего единственного сына. Бедный Исаак, доверчивый зануда, которого чуть не убил собственный отец, был слепым старцем, хитростью лишенным своего блаженства собственным сыном Иаковом и женой Ребекой, которую привели к нему с закрытым лицом из Падданарама. Позже, на их родине, если ты соблюдал все правила — а у евреев-ортодоксов длинный список таких правил, — ты получал желтую звезду и односторонний пропуск в газовую печь. Ну уж нет, спасибо: Джек Леви высокомерно предпочел стать одним из тех, кто высокомерно говорил «нет» юдаизму. Он способствовал тому, чтобы его называли «Джеком», а не «Яковом», и возражал против обрезания сына, но симпатичный доктор англосакс в больнице уговорил Бет пойти на это из «чисто гигиенических» соображений, утверждая, что, исходя из научных работ, в таких случаях уменьшается риск венерических заболеваний у Марка и цервикального рака у его партнерши. Речь шла об однонедельном младенце, у которого пипка была величиной с горошину, лежавшую на рубчатой подушечке его яичек, а они уже заботились об улучшении его сексуальной жизни и спасении еще не родившихся младенцев женского рода.

Бет же была лютеранкой, принадлежала к здоровому христианскому вероисповеданию, ставившему веру выше работы и пиво выше вина, и Джек считал, что она разбавит его упорную еврейскую добродетель, самую древнюю из потерпевших поражение философий, все еще активно действующую в западном мире. Даже вера его деда-социалиста стала горькой и затуманилась оттого, как работал на практике коммунизм. Джек рассматривал свое бракосочетание с Бет на втором этаже нелепого Городского совета в Нью-Проспекте в присутствии всего лишь ее сестры и его родителей как храбрый шаг в неравный брак, маленькое мутное пятнышко любви в глазу истории, как и все, что происходило в 1968 году. Но после

тридцати шести лет совместной жизни на севере Нью-Джерси их обоих, людей разной веры и расовой принадлежности, жизнь перемолола в бесцветную одинаковость. Они превратились в пару, которая в конце недели ходит вместе за покупками в «Правильный магазин» и в «Самый дешевый» и считает наилучшим времяпрепровождением сидеть за двумя столами и играть в бридж с тремя другими парами из школы или Клифтонской публичной библиотеки, где Бет работает четыре дня в неделю. В иные пятницы или субботы вечером они пытаются развлечься, обедая в китайском или итальянском ресторанах, где они частые посетители, и метрдотель с покорной улыбкой ведет их к угловому столику, где Бет может втиснуться, — он никогда не сажает их в кабину. А то они едут в какую-нибудь захудалую киношку с заплыванными полами и жареной кукурузой по семь долларов за стакан среднего размера, если могут найти фильм не слишком жестокий или сексуальный и чересчур откровенно рассчитанный на мальчишек среднеюношеского возраста. Период их флирта и ранний брак совпали с крахом системы студий и выпуском на экран блестящих потрясающих картин — «Послеполуденный ковбой», «Лихой наездник», «Боб и Кэрл и Тэд и Алиса», «Дикая шайка», «Заводной апельсин», «Грязнуля Гарри», «Вкус плоти», «Последнее танго в Париже», первый фильм «Крестный отец», «Последняя выставка», «Американские граффити», не говоря уж о последних работах Бергмана, а также французских и итальянских фильмах, тревожных и острых и очень национальных. Это были хорошие картины, которые заставляли хипповую пару шевелить мозгами. В воздухе еще чувствовалось оставшееся с 1968 года представление о том, что молодежь может переделать мир. Сентиментально вспоминая эти совместные открытия, когда они оба еще только привыкали делиться в браке мыслями, Джек даже и теперь протягивает в кино руку и берет с колен руку жены и держит ее, пухлую и горячую, тогда как их лица озаряют взрывы в каком-то тупом триллере, где хладнокровно вымеренные страхи незрелого сценария превращают в посмешище пожилых людей. Терзаясь бессонницей, в отчаянии Джек подумал, что ему станет лучше, если он под одеялом найдет руку Бет, но, пытаясь найти ее на сонном теле, он может потревожить Бет и пробудить ее неустанно что-то требующий, все еще девичий голос. Почти с осторожностью

преступника он приподнимает ногами простыню под одеялом, отбрасывает его и выскользывает из супружеской постели. Ступив рядом с ковриком у кровати, он чувствует голыми ногами апрельский холодок. Термостат по-прежнему включен на ночную температуру. Он стоит у окна, занавешенного пожелтевшим от солнца кружевом, и созерцает свой район при сером свете ртутных уличных фонарей. В предрассветной атмосфере оранжевая надпись «Гольф» на открытой всю ночь бензоколонке в двух кварталах от него является единственным цветным пятном. То тут, то там бледный свет маловольтажной лампы указывает на окно детской спальни или на лестничную площадку. В полутьме, под гладким куполом тьмы, разьедаемой городским освещением, в бесконечность уходят срезанные углы крыш, кровельная дранка и дощатая обшивка. «Жилой фонд», — думает Джек Леви. Дома превратились в жилой фонд — они теснятся друг к другу из-за возрастающих цен на землю и деления ее на мелкие участки. Там, где на его памяти позади домов и

сбоку росли цветущие деревья и были огороды, висели веревки для белья и качели, теперь лишь два-три жалких куста борются за воздух, насыщенный углекислым газом, и влажную землю между цементированными дорожками и залитой асфальтом площадкой для машин, украденной у щедро росшей травы. Потребность в автомобиле сыграла решающую роль. Рожковые деревья, посаженные вдоль тротуаров, дикие айланты, быстро пустившие корни у заборов и стен домов, несколько конских каштанов, выживших со времен фургонов, развозивших мороженое, и грузовиков с углем, — все эти деревья с почками и молодыми листиками, похожими в свете фонарей на серебристый пушок молодой поросли, подвержены опасности быть выкорчеванными при очередном расширении улиц. Уже и теперь простые сдвоенные дома тридцатых годов и длинные пологие дома в колониальном стиле пятидесятых обросли мансардными окнами, пристроенными открытыми верандами, шаткими наружными лестницами, ведущими на законных основаниях в однокомнатные квартирки, созданные из некогда пустых комнат. Свободное жильё уменьшается в размере, как складываемая бумага. Брошенные разведёнки и мастера исчезающих профессий в захиревших отраслях, а также занятые тяжелой работой цветные, хватаясь за очередную ступеньку, чтобы вылезти из трущоб, перебираются в этот район и не

могут потом из него уехать. Шустрые молодые пары подновляют обветшалые сдвоенные дома и ставят свою печать, окрашивая крыльцо и фронтон, а также рамы окон в чужестранные цвета — пасхально-сиреневый, ядовито-зеленый, и этот всплеск разноцветья в квартале ощущается старыми жильцами как оскорбление, проявление презрения, некрасивая забава. Бакалейные магазины на углах один за другим закрылись, уступив место привилегированным фирмам, чьи стандартные фирменные знаки и оформление кричаще безвкусны, как и огромные цветные изображения способствующей ожирению готовой еды. На взгляд Джека Леви, Америка плотно упакована жиром и гудроном, этакое гудронированное творение от одного берега до другого, в котором все мы законопачены. Даже наша хваленая свобода немногого стоит, чтобы гордиться ею, при том что коммунисты сошли с дистанции, — просто террористам стало легче передвигаться, арендуя самолеты и фургоны и открывая свои сайты в Интернете. Религиозные фанатики и компьютерные подонки — такая комбинация кажется странной его старомодному представлению о противостоянии разума вере. Те психи, что налетели в самолетах на Всемирный торговый центр, получили хорошее техническое образование. У главаря команды была полученная в Германии степень по планированию городов — ему бы перекроить Нью-Проспект. Человек более позитивный и энергичный, полагает Джек, с пользой провел бы эти часы, пока жена спит, а «Перспектива» еще не лежит на крыльце и небо в звездах над крышами домов быстро становится грязно-серым. Он мог бы спуститься вниз и отыскать одну из книг, в которой прочел первые тридцать страниц, или приготовить кофе, или посмотреть по телевизору команду «Новостей», дурачащихся и тараторящих с такой быстротой, словно выпуская скачущих лягушек из горла. Но он предпочитает стоять тут и занимать свою пустую голову, слишком уставшую, чтобы мечтать, созерцанием подлунного пейзажа своего района. Полосатая кошка — или это маленький енот? — перебегает



пустую улицу и исчезает под припаркованной машиной. Джек не знает, какой она фирмы. Все машины нынче выглядят одинаково — без больших крыльев и просвечивающих хромированных решеток, какие были у машин, когда он был маленьким, нет даже лжедырвявых «бьюиков Ривьера», тупоносых «студебеккеров», больших длинных

«кадиллаков» пятидесятых — теперь все это стало аэродинамичным. И ради аэродинамики и экономии топлива все машины теперь толстенькие и низко сидящие и неопределенного цвета, чтобы не видно было дорожной грязи — все, от «мерседеса» до «хонды».

Большие автостоянки превратились из-за этого в кошмар: ни за что не найти своей машины, если б не было маленького приспособления, которое посылает на расстоянии сигнал, и загораются фары или — как крайняя мера — раздается гудок.

Ворона, держа в клюве что-то бледное и длинное, лениво взлетает, продырявив зеленый мешок для мусора, выставленный накануне вечером, чтобы его забрали утром. Мужчина в костюме сбегает с крыльца одного из домов, садится в машину, маленькую толстенькую бензиновую «субару», и с ревом отъезжает, не думая о том, что будит соседей. Джек подозревает, что он спешит на ранний самолет, вылетающий из Ньюарка. Он стоит, смотрит сквозь дышащие холодом стекла и думает: «Это жизнь». Такова она, жизнь: живешь среди других домов, поглощаешь жиры, бреешься утром, принимаешь душ, чтобы на совещании за столом не вызывать отворачивания у других своими феромонами. Джек Леви, лишь прожив жизнь, понял, что люди могут плохо пахнуть. Когда Джек был моложе, он никогда не ощущал своего запаха, никогда не замечал этого затхлого запаха, что исходит сейчас от него, даже когда он спокойно ведет себя днем, не потея.

Что ж, он по-прежнему жив и видит то, что видит. Наверное, это хорошо, но стоит усилий. Кто был тот грек в той книжке Камю, которой все они увлекались в Городском колледже Нью-Йорка? Или, может быть, это было в Ратгерсе, среди кандидатов в магистры? Сизиф. Который толкал в гору камень. А он все скатывался вниз. Джек стоит тут, уже ничего не видя, но сознавая, что все это в один прекрасный день перестанет для него существовать. Экран в его голове потухнет, и, однако же, все будет продолжаться без него, и будет наступать заря, и будут заводиться машины, и дикие звери будут продолжать кормиться на земле, отравленной Человеком. Кармела тихо прошлепала вверх по ступеням и трется о его голые лодыжки, громко мурлыкая, надеясь, что ее пораньше покормят. Это тоже жизнь — одна жизнь, соприкасающаяся с другой.

Глаза у Джека с трудом открываются — в них словно песок насыпан. Он думает: не следовало ему вылезать из постели — рядом с

широким теплым боком жены ему, возможно, удалось бы украсть еще часок сна. А теперь придется бороться с усталостью весь долгий и плотно упакованный день, когда каждую минуту кто-то к тебе обращается. Он слышит, как заскрипела кровать, — это Бет повернулась, освобождая матрац от своей тяжести. Дверь в ванную открывается и закрывается, задвижка щелкает и, приводя вас в ярость, высвобождается. В свои молодые годы он это исправил бы, но при том что Марк обосновался в Нью-Мексико и приезжает домой раз в год, особой необходимости в ограждении от посторонних глаз нет. Бет моется — вода журчит, и трубы трясутся по всему дому.

С ночного столика доносится мужской голос, говорящий очень быстро на фоне музыки, — это его жена, проснувшись, первым делом включает чертову штуку, а сама уходит. Она пытается с помощью электроники установить контакт в атмосфере, тогда как физически они все больше и больше отъединяются — пожилая пара с единственным ребенком, вылетевшим из гнезда, окруженная в силу своих повседневных занятий беспечной молодежью. Бет в своей библиотеке вынуждена была изучить компьютер, научиться выискивать информацию, и распечатывать ее, и давать детям, слишком тупым или ленивым, чтобы копаться в книгах, где все еще есть книги на данную тему. Джек пытался игнорировать произошедшую революцию, упорно храня, как делал это на протяжении лет, несколько нацарапанных записей своих рекомендаций ученикам и не тратя времени на то, чтобы «отстукать» свои заключения с помощью компьютера в банк данных на две тысячи учеников Центральной школы. За эту промашку — или отрицание компьютера — его постоянно осуждают коллегинаставники (а штат их за тридцать лет вырос в три раза), особенно Кони Ким, маленькая американка корейского происхождения, занимающаяся

неблагополучными  
цветными  
девушкамипрогульщицами, и Уэсли Рей Джеймс, равно строгий и деловой чернокожий, чьи не такие уж давние успехи в спорте — а он попрежнему тонкий, как хлыст, — позволяют ему устанавливать хорошие отношения с ребятами. Джек всегда обещает потратить часдругой и привести в порядок свои рекомендации, однако проходят недели, а он не находит для этого времени. Соображения конфиденциальности заставляют его противиться передаче в

электронную сеть, которой пользуется вся школа и которая доступна всем, информации, полученной с глазу на глаз.

А вот Бет в большей мере шагает в ногу со временем, больше склонна покоряться и меняться. Она согласилась сочетаться браком в Городском совете, хотя, краснея, призналась Джеку, что бракосочетание не в церкви разобьет сердца ее родителей. Она не сказала, что будет с ее сердцем, и он произнес: «Сделаем это попроще. Без всяких фокусов-покусов». Религия ничего для него не значила и, по мере того как они сливались в браке, все меньше и меньше значила для нее. И сейчас он спрашивал себя, не лишил ли он ее чего-то — пусть даже нелепого — и не компенсирует ли она себя за это неумолчной болтовней и перееданием. Наверное, не так-то легко быть замужем за упрямым евреем.

Выйдя из ванной в халате, она увидела, что он молча неподвижно стоит у окна в верхнем холле, и, испугавшись, крикнула:

— Джек! Что случилось?

Из некоего садизма, присущего человеку, подчиненному жене и скрывающему свое мрачное настроение, он лишь наполовину прячет его от нее. Он хочет, чтобы Бет чувствовала, что его умонастроение — ее вина, хотя разум подсказывает ему, что это не так.

— Ничего нового, — говорит он. — Я опять слишком рано проснулся. И не мог снова заснуть.

— На днях по телевидению говорили, что это признак депрессии.

Опра показывала женщину, про которую написана книга. Может, тебе следует пойти... не знаю, право, но женщина говорила, что слово

«психиатр» пугает всех, у кого мало денег... может, тебе следует пойти к какому-нибудь специалисту, раз у тебя такая беда.

— К специалисту по Weltschmerz[2]. — Джек поворачивается и улыбается жене. Хотя ей тоже за шестьдесят — шестьдесят один, а ему шестьдесят три, — на ее лице нет морщин: там, где у худой женщины были бы глубокие морщины, на ее круглом лице они лишь слегка намечены, разглажены до почти детского состояния жиром, натягивающим кожу. — Нет, спасибо, дорогая, — говорит он. — Я целый день выдаю другим премудрости, так что сам поглощать их не могу. Слишком много антител.

За годы совместной жизни Джек узнал, что когда он ставит точку на какой-то теме, она быстро переключается на другое, лишь бы

окончательно не потерять его внимание.

— Кстати об антителах. Эрмиона сказала вчера по телефону — только это строго конфиденциально, Джек, даже мне не следовало знать, так что обещаю, что никому не скажешь...

— Обещаю.

— Она рассказывает мне такие вещи, чтобы высказаться, я ведь вне того круга, который у нее там... она сказала, что ее начальник собирается поднять уровень террористической угрозы с желтого до оранжевого. Я думала, об этом будет по радио, но ничего не было. Как ты думаешь, что это означает?

Начальник Эрмионы в Вашингтоне — министр внутренней безопасности, этакий выродок, марионетка правых сил с немецкой фамилией Хаффенреффер.

— Это значит, они хотят, чтобы мы не думали, будто они ничего не делают, а только сидят на наших долларах, которые идут на налоги. Они хотят, чтобы мы считали, что они держат руль. А на самом деле — ничего подобного.

— И это тебя волнует, когда ты волнуешься?

— Нет, дорогая. Это последнее, что у меня на уме, честно говоря.

Будь что будет. Я вот думал, глядя сейчас из окна, что вся эта округа только выиграла бы от хорошей бомбы.

— Ох, Джек, ты даже и шутить так не должен — столько молодых людей сидят на верхних этажах, они звонят своим женам по мобильникам и говорят, как они их любят.

— Да знаю я, знаю. Мне нельзя даже и пошутить.

— Марк все говорит, что надо нам переехать в Альбукерке, чтоб быть ближе к нему.

— Говорить-то он, лапушка, говорит, да вовсе этого не хочет. Он меньше всего хочет, чтобы мы перебрались к нему. — И, испугавшись, что его правдивые слова могут ранить мать парня, он весело добавляет: — Понять не могу, почему он так настроен. Мы же никогда не били его и не запирали в шкафу.

— Эти никогда не станут бомбить пустыню, — приводит Бет веский аргумент, словно они уже почти решили переехать в Альбукерке.

— Правильно: эти, как ты их называешь, обожают пустыни.

Со смесью облегчения и сожаления он отмечает, что его сарказм обидел ее и она прекращает разговор на эту тему. Высокомерно постаромодному вскинув голову, она произносит:

— Как хорошо, должно быть, не думать о том, что беспокоит всех

вокруг, — и отправляется в спальню стелить постель и с таким же усердием, с каким взбивает подушки, одеться для работы в библиотеке.

«Чем я заслужил, — спрашивает он себя, — такую преданность, такое доверие жены?» Он слегка огорчен ее молчанием в ответ на его оскорбительное утверждение, что их сын, процветающий офтальмолог с тремя милыми загорелыми детьми, носящими, как положено, очки, и крашеной блондинкой женой из Шорт-Хиллз, чистокровной еврейкой, внешне дружелюбной, а на самом деле холодной женщиной, не хочет, чтобы его родители жили рядом. У них с Бет существуют на этот счет собственные мифы, и согласно одному из них Марк любит их так же, как они — ничего тут не поделаешь, когда в гнезде всего одно яйцо, — любят его. Собственно, Джек Леви не возражал бы распоститься со здешними местами — прожив жизнь в старом промышленном городе, умирающем на корню и превращающемся в джунгли третьего мира, он почувствовал бы себя лучше, перебравшись на Солнечный Пояс. Да и Бет тоже. Прошлая зима была жестокой на Средне-Атлантическом побережье, и в вечной тени между некоторыми из соседних, плотно стоящих друг к другу домов до сих пор лежат черные от грязи кучки снега.

В Центральной школе он занимает для своих бесед в качестве наставника самую маленькую комнатку — бывший чулан для долгого хранения, где еще остались серые металлические полки, на которых лежат в беспорядке каталоги колледжа, телефонные справочники, учебники по психологии и хранятся старые номера малоинтересных изданий — еженедельник размером с журнал «Нейшн» под названием «Рынок рабочих мест», освещающий потребности района в рабочей силе и рассказывающий о его технических заведениях. Когда восемьдесят лет тому назад строили этот дворец, создание отдельного помещения

для

наставников

не

считалось

необходимым:

наставничеством занимались все — любящие родители в семье и моралистическая популярная культура вне ее, да еще всякие советы со

стороны. Ребенку внушалось куда больше, чем он мог переварить. А теперь к Джеку Леви, как правило, приходят дети, у которых словно нет родителей во плоти — они получают свои сведения о мире исключительно от электронных призраков, подающих им сигналы через забитую людьми комнату, или выстукивающих информацию через затычки для ушей из черного пенопласта, или закодировавших ее в сложных программах видеоигр, где фигурки спазматически дергаются во взрывных алгоритмах. Ученики проходят перед своим наставником как серия дисков, чья сверкающая поверхность не дает никакого представления об их содержании, если нет оборудования, на котором можно их проиграть.

Этот старшекласник — пятое получасовое интервью за утомительно долгое утро — высокий стройный смуглый юноша в черных джинсах и ослепительно белой рубашке. Белизна рубашки режет глаза Джеку Леви, у которого от раннего пробуждения немного побаливает голова. На папке с отчетами об успеваемости ученика

значится Маллой (Ашмави), Ахмад.

— У вас интересное имя, — говорит юноше Леви. Что-то есть в этом парне, что нравится Леви: серьезность немигающих глаз, старательно сложенные с любезным выражением мягкие, довольно пухлые губы и хорошо подстриженные и тщательно причесанные волосы стойким, как проволока, пробором, который проложен ото лба. — Ашмави — это кто? — спрашивает наставник.

— Мне объяснить, сэр?

— Пожалуйста.

Юноша говорит с мучительно достающим его достоинством, явно подражая, думает Леви, какому-то знакомому взрослому, который говорит гладко и официально:

— Я являюсь плодом матери — белой американки и студентаегиптянина по обмену; они познакомились в лагере университета

штата Нью-Джерси, что находится в Нью-Проспекте. Моя мать, которая с тех пор стала работать помощницей медсестры, пыталась тогда получить стипендию для диплома по искусству. В свободное время она рисует и создает украшения, причем довольно успешно, хотя и недостаточно, чтобы содержать нас. А он... — Юноша приостанавливается, словно ему попало что-то в горло.

— Ваш отец, — подсказывает ему Леви.

— Совершенно верно. Он надеялся, как рассказала мне мать, научиться американскому делопроизводству и технике рыночного дела. А это оказалось не так легко, как ему говорили. Его фамилия — в моем представлении он по-прежнему жив — Омар Ашмави, а ее — Тереза Маллой. Она американка ирландского происхождения. Они поженились задолго до того, как я родился. Так что я законнорожденный.

— Отлично. Я в этом не сомневался. Да это и не имеет значения.

Законность не относится к ребенку, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Понимаю, сэр. Благодарю вас. Мой отец прекрасно знал, что, женившись на американской гражданке, какой бы аморальной дрянью она ни была, он получает американское гражданство, что и произошло, но не американскую сноровку и не связи, ведущие к американскому процветанию. Отчаявшись когда-либо заработать больше, чем на скромную жизнь, он, когда мне было три года, снялся с якоря. Я употребил

правильное  
выражение?

Я

встретил

его

в

автобиографических мемуарах великого американского писателя Генри Миллера, которые мисс Макензи велела нам прочесть по своему курсу Совершенствования в английском языке.

— Велела это прочесть? Бог ты мой, Ахмад, как изменились

времена! Мы держали Миллера под партой. Вы знаете это выражение?

— Конечно. Я же не иностранец. Я никогда не бывал за границей.

— Вы спросили, правильно ли употребили выражение «сняться с якоря». Это старомодное выражение, но большинство американцев знает, что оно значит. Первоначальный его смысл — «удрать из

военного лагеря».

— Мистер Миллер, по-моему, употребил его применительно к ушедшей от него жене.

— Да. Ничего удивительного. Я имею в виду то, что она снялась с якоря. Миллер едва ли был легким мужем. — Эти три способа общения с женой в «Сексе». Неужели на английском факультете изучают «Секс»? Неужели ничего не оставляют для познания во взрослом состоянии?

Юноша делает удивительный разворот от странного направления, какое приняли высказывания его наставника.

— Мама уверяет меня, что я не могу помнить отца, — говорит он, — а я его помню.

— Что ж, вам было три года. Биология развития организма такова, что у вас могло сохраниться несколько воспоминаний. — Джек Леви намеревался совсем иначе строить свое интервью.

— Этакая теплая темная тень, — говорит Ахмад, резко нагибаясь вперед от предпринятого усилия. — Очень белые квадратные зубы. Маленькие аккуратные усики. Я уверен, что мое стремление к аккуратности идет от него. Среди моих воспоминаний есть сладковатый запах — вроде лосьона после бритья, — правда, в нем чувствуется острота, так что, возможно, отец только что съел какое-то ближневосточное блюдо. Он был темнокожий, с более темной, чем у меня, кожей и с изящным, тонким лицом. Пробор в его волосах шел почти посредине.

Это намеренное отклонение в сторону смущает Леви. Парень что-то скрывает... Что?

— Возможно, вы путаете фотографию с воспоминанием, — замечает Джек, ставя парнишку на место.

— У меня всего одна или две фотографии. У мамы, возможно, есть и другие, которые она спрятала от меня. Когда я был маленький и ничего еще не знал, она не отвечала на мои вопросы об отце. Помоему, она очень рассердилась на него за то, что он оставил ее. А мне хотелось когда-нибудь его найти. Не предъявлять ему никаких требований и не винить, а просто поговорить с ним, как говорили бы двое мусульман.

— М-м, мистер... Как вы хотите, чтобы вас называли? Маллой или... — Он снова бросает взгляд на папку. — Ашмави?

— Мама дала мне свое имя для социальной страховки и водительских прав, и найти меня можно в ее квартире. Но когда я окончу школу и стану независимым, я буду называться Ахмад Ашмави.

Леви не отрывает глаз от папки.

— И как же вы намерены обеспечивать свою независимость? У вас были хорошие отметки, мистер Маллой, по химии и по английскому, но я вижу, что в прошлом году вы перешли на профессиональное обучение. Кто вам это посоветовал?

Юноша опускает глаза — две мрачные черные лампы, обрамленные длинными ресницами, — и проводит рукой по лицу, словно прогоняя жужжащего возле уха комара.

— Мой учитель, — говорит он.

— Какой учитель? Переход с одной программы лекции на другую должен быть согласован со мной. Мы с вами могли бы побеседовать — пусть даже мы оба и немусульмане.

— Это не здешний мой учитель. А тот, что в мечети. Шейх Рашид, имам. Мы с ним вместе изучаем Священный Коран.

Леви, пытаясь подавить неприязнь, говорит:

— Так. А знаю ли я, где находится мечеть? Боюсь, что не знаю, если не считать той огромной на Тилден-авеню, которую черные мусульмане после бунтов в шестидесятые годы превратили в развалины. Вы ее имеете в виду? — Он произнес это жестким тоном, чего не хотел. Ведь не этот парнишка разбудил его в четыре часа ночи и насадил ему в голову мысли о смерти или превратил Бет в удручающую толстуху.

— Это мечеть на Уэст-Мэйн-стрит, сэр, в шести кварталах от Линден-бульвара.

— Бульвара Рейгана. Его переименовали в прошлом году, — говорит Леви, укоризненно поджимая губы.

Парнишка на это не клюет. Политика для подростков — темный закоулок в раю для знаменитостей. Опросы показывают, что они считают Кеннеди лучшим президентом после Линкольна, потому что на нем была марка знаменитости, — в любом случае они не знают никого другого, даже Форда и Картера, вот разве что Клинтона и Бушей, если они способны отличить одного Буша от другого.

А юный Маллой — другая фамилия вылетает из памяти Леви — тем временем говорит:

— Мечеть на улице, где полно лавочек, над лавкой косметики и тем местом, где выдают наличные. Ее первый раз нелегко найти.

— И имам этого места, которое трудно найти, велел вам перейти на профессиональное обучение.

Парнишка снова медлит, защищая то, что защищает, а потом, смело глядя своими большими черными глазами, в которых зрачок сливается с радужной оболочкой, произносит:

— Он говорит, что программа колледжа подвергает меня коррумпирующему влиянию — скверной философии и скверной литературы. Западная культура лишена Бога.

Джек Леви откидывается на спинку своего скрипящего, старомодного деревянного кресла-качалки и вздыхает:

— Так оно и есть. — Испугавшись скандала на школьном совете и в прессе, если узнают, что он сказал такое ученику, Леви спохватывается: — Это у меня вырвалось. Эти евангелисты-христиане совсем меня доконали: винят Дарвина в том, что Господь так плохо соорудил вселенную.

Но парнишка не слушает, продолжает свое:

— И потому что западная культура лишена Бога, она погрязла в сексе и предметах роскоши. Взгляните на телевизор, мистер Леви: как там используют секс, чтобы продать то, что вам не нужно. Взгляните на историю, какую преподают в школе, — это же чистый колониализм. Взгляните, какой христиане устроили геноцид исконным американцам, как подточили Азию и Африку, а теперь взялись за ислам со всею мощью Вашингтона, где правят евреи, чтобы таким образом удержаться в Палестине.

— Вот так-так! — произносит Джек, думая: интересно, парень понимает, что разговаривает с евреем? — Да это целый список явлений, чтобы выбить вас из школы. — Ахмад тарашит глаза при упоминании о такой несправедливости, и Джек замечает, что радужная оболочка его глаз не чисто черная, а каряя с зеленоватым отливом,

щепоткой от мамы Маллой. — А имам никогда не говорил, — спрашивает он, благодаря наклону качалки с доверительным видом пригибаясь к столу, — что такой умный мальчик, как вы, живущий в нашем многоликом и исполненном терпимости обществе, должен познакомиться с разными точками зрения?

— Нет, — говорит Ахмад с удивительной категоричностью, вызываяще надув пухлые губы. — Шейх Рашид этого не говорил. Он считает, что такой релятивистский подход принижает религию, создавая впечатление, что она не имеет особого значения. Вы верите в то, я верю в это, и мы живем вместе — таково умонастроение американцев.

— Правильно. А ему это не нравится?

— Он терпеть этого не может.

Джек Леви, продолжая сидеть пригнувшись, кладет локти на стол и в задумчивости упирается в скрещенные пальцы подбородком.

— А вы, мистер Маллой? Вы тоже терпеть этого не можете?

Парнишка застенчиво вновь опускает глаза.

— Я, конечно, не питаю ненависти ко всем американцам. Но умонастроение американцев — это умонастроение неверных. Оно ведет к страшной гибели.

Он не говорит: «Америка хочет отнять у меня моего Бога». Он защищает своего Бога от этого усталого, неухоженного, неверующего старого еврея и хранит про себя подозрение, что шейх Рашид так рьяно абсолютен в своих доктринах, потому что Бог потихоньку сбежал с его светлых йеменских глаз, голубовато-серых глаз женщины-кафирки. Ахмад, растя без отца, с блаженно неверующей матерью, привык быть единственным почитателем Бога, — тем, чьим невидимым, но осязаемым компаньоном был Бог. Бог всегда был с ним. Как сказано в девятой суре: «У тебя нет иного патрона или помощника, кроме Бога». Бог — существо, близкое ему, эдакий сиамский близнец, присоединенный ко всем частям твоего тела — и внутри, и снаружи, и ты можешь воззвать в любой момент к нему в молитве. Бог — его радость. А этот старый дьявол еврей, прикрываясь своей хитрой мудростью и манерами лжеотца, жаждет разорвать этот союз и отобрать у него Всемилостивейшего и Жизнетворящего.

Джек Леви снова вздыхает и думает о следующем посетителе — еще одном нуждающемся, неприветливом, введенном в заблуждение подростке, готовящемся кинуться в трясину мира.

— Что ж, возможно, мне не следует вам этого говорить, Ахмад, но, учитывая ваши оценки и результаты тестов, а также вашу далеко не заурядную манеру держаться и серьезность, я считаю, что ваш — как же его звать? — имам способствовал тому, что вы зря растратили свои школьные годы. Жаль, что вы сошли со школьной дороги.

Ахмад стремится оправдать шейха Рашида:

— Сэр, у нас нет денег на то, чтобы платить за колледж. Моя мать считает себя художницей, но ей пришлось прекратить свое обучение, когда она стала помощницей медсестры: не могла она оплачивать еще два года, потому что мне надо было идти в школу.

Леви ерошит свои редкие, уже и без того взлохмаченные волосы.

— О'кей, понятно. Сейчас все мы подтягиваем пояса при том, как увеличались расходы на безопасность и как устроенные Бушем войны пожирают то, что было сверхприбылью. Но посмотрим правде в глаза:



все еще существует достаточно пособий для умных, достойных цветных детей. Я уверен, мы могли бы добиться этого для вас. Возможно, не Принстон и, возможно, не Ратчерс, но что-нибудь вроде Блумфилда или Ситон-Холла, Фейрлей-Диккинсона или Кина было бы отлично. Но что сейчас об этом говорить. Жаль, что у меня не было вашего дела раньше. Получайте диплом об окончании школы и посмотрите, что вы будете думать насчет колледжа через год или два. Вы знаете, где меня найти, и я постараюсь сделать все, что смогу. Могу я спросить, что вы намеревались делать после выпуска? Если у вас нет никаких перспектив в плане работы, подумайте об армии. Это теперь не самое любимое место, но по-прежнему немало дает человеку — вы приобретете кое-какие навыки и помощь в получении образования впоследствии. Я, например, такую помощь получил. Если вы немного знаете арабский, вы им понравитесь.

У Ахмада лицо становится жестким.

— Армия пошлет меня сражаться с моими братьями.

— Или сражаться за ваших братьев — такое тоже возможно. Ведь не все иракцы — мятежники. В большинстве своем они не такие. Они хотят заниматься бизнесом. Цивилизация ведь началась там. И до Хусейна это была перспективная маленькая страна.

Брови юноши, густые и широкие, как у мужчины, только волосы более тонкие, мрачно сдвигаются. Ахмад встает, чтобы уйти, но Леви еще не готов отпустить его.

— Я спросил, — не отступается он, — вы уже приглядели себе какую-нибудь работу?

Ответ звучит неохотно:

— Мой учитель считает, что мне надо водить грузовик.

— Водить грузовик? Какой грузовик? Грузовики бывают разные.

Вам всего восемнадцать, а я случайно знаю, что вы еще три года не сможете получить права на вождение трактора, или автоцистерны, или даже школьного автобуса. Экзамен на права — на коммерческие права — трудный. Пока вам не исполнится двадцать один год, вы не сможете выезжать за пределы штата. И не сможете перевозить опасные материалы.

— Не смогу?

— Нет, насколько я помню. У меня до вас были молодые люди, интересовавшиеся такой работой, — многих отпугнули техническая сторона этого дела и все эти правила. Вам надо будет вступить в профсоюз водителей грузового транспорта. В грузовых перевозках много трудностей. И много бандитов.

Ахмад пожимает плечами — Леви видит, что исчерпал отведенную парнишкой квоту на сотрудничество и любезное поведение. Парнишка замкнулся. О'кей, так же поступит и Джек Леви. Он живет в Нью-Джерси дольше этого мальчишки-показушника. И надеется, что менее опытный из мужчин сломается и нарушит молчание.

Ахмад чувствует, что обязан оправдаться перед этим неудачником евреем. Запах неудачника исходит от мистера Леви, как иногда исходит от матери Ахмада, после того как один дружок бросил ее, а другой еще не появился, и вот уже несколько месяцев она не продала ни одной своей картины.

— Мой учитель знает людей, которым может понадобится водитель. И кто-нибудь введет меня в курс дела, — поясняет Ахмад. —

За это хорошо платят, — добавляет он.

— И работать надо по многу часов, — говорит наставник, с треском закрывая папку, где на первой странице он нацарапал: «пд» и «нк» — свои сокращения: «пропащее дело» и «никакой карьеры». — Скажите мне вот что, Маллой. Ваша вера — она для вас важна?

— Да.

О чем-то парнишка умалчивает — Джек нюхом чувствует это.

— Значит, Бог — Аллах — кажется вам совершенно реальным.

Ахмад произносит медленно, словно в трансе или словно цитирует что-то заученное по памяти:

— Он во мне и рядом со мной.

— Отлично. Отлично. Рад это слышать. Храните это. Я был немного приобщен к религии, мать зажигала на Пассовер свечи, а отец у меня был циник — высмеивал религию, и я последовал его примеру и не сохранил веры. В общем-то я ее не терял. Я считаю: «всё из праха, и возвратится в прах»[3]. Извините.

Парнишка моргает и кивает, несколько напуганный таким признанием. Его глаза кажутся круглыми черными лампами над

белоснежной рубашкой — они словно выжжены в памяти Леви и время от времени возникают как зрительный образ солнца в момент заката или вспышка камеры, когда ты покорно позируешь, стараясь выглядеть естественно, и вдруг неожиданно происходит вспышка.

Леви продолжает свое:

— Сколько вам было лет, когда вы... когда вы обрели свою веру?

— Мне было одиннадцать, сэр.

— Любопытно... Я в этом возрасте объявил, что прекращаю заниматься скрипкой. Бросил вызов родителям. Самоутвердился. К черту всех. — Парнишка продолжает смотреть в одну точку, не желая признавать такое единство. — О'кей, — уступает Леви. — Мне хочется немного больше о вас подумать. Возможно, я захочу снова встретиться с вами, дать вам некие материалы до вашего окончания школы. — Он встает и импульсивно берет худую, хрупкую на вид руку высокого юноши, чего не делает с каждым мальчишкой по окончании интервью и никогда не станет нынче делать с девушкой: малейшее касание рискует вызвать жалобу. Кое-кто из этих горячих штучек с пожаром между ног любит пофантазировать. Рука у Ахмада такая вялая и влажная, что Джек поражен: да он все еще застенчивый мальчишка, а не мужчина. — Ну, а если не встретимся, — в заключение произносит наставник, — пусть у вас будет замечательная жизнь, мой друг.

В воскресенье утром, когда большинство американцев еще в постели, правда, некоторые уже спешат на раннюю мессу или намеченный матч по гольфу в еще влажной от росы траве, министр внутренней безопасности переводит уровень так называемой угрозы террора с желтого цвета, что означает «повышенный», на оранжевый, что означает «высокий». Это плохая новость. Хорошая новость — то, что на более высокий уровень угрозы переводятся только отдельные районы Вашингтона, Нью-Йорка и северная часть Нью-Джерси; остальная страна остается на желтом уровне.

Министр сообщает стране со своим почти безупречным пенсильванским акцентом, что, судя по последним данным разведки, изобилующим, по его словам, «тревожными подробностями», в этих столичных районах Восточного побережья готовятся нападения на наиболее чувствительные объекты, которые «враги свободного мира

изучали с помощью самых изощренных разведсредств». Финансовые

центры, стадионы, туннели, мосты, метро — все это находится под угрозой.

— Вы увидите, — сообщает он телекамерам, выглядящим эдакими амбразами под цвет пушек, прикрытыми линзами, к которым с другой стороны прильнул океан доверчивых взволнованных граждан, — что по периметрам зданий будут устроены специальные буферные зоны, чтобы там не могли парковаться не имеющие разрешения машины и грузовики; будут введены ограничения на пользование подземными гаражами; сотрудники безопасности с личным знаком и фотографией будут проверять входящих и выходящих из зданий; будет увеличено число стражей порядка и проводиться усиленная проверка сумок на колесиках, пакетов и всевозможных доставок.

Министру нравится выражение «усиленная проверка», и он произносит это подчеркнуто. Он вызывает в воображении картину того, как рослые мужчины в зеленых или голубовато-серых спортивных костюмах раздирают сумки на колесиках и пакеты, своим усердием оправдывая ежедневные страдания министра внутренней безопасности по поводу невыполнимости его нелегкой задачи. А задача его — защищать, несмотря ни на что, почти триста миллионов анархических душ, ежедневно совершающих миллионы неразумных импульсивных поступков и эгоистических действий, ускользающих от возможного наблюдения. Эти коллективные провалы внимания и несоблюдение правил создают идеальную атмосферу, в которой враг может плести интриги и заговоры. Разрушать, часто думал министр, куда легче, чем строить, и беспорядок легче создать, чем общественный порядок, поэтому столпы общества всегда оказываются позади тех, кто уничтожает его, подобно тому (а в юности он играл в футбол за команду «Лихай») как быстроногий принимающий игрок всегда опередит левого или крайнего правого защитника.

— И да благословит Бог Америку, — произносит в заключение министр.

Красный огонек над маленькой амбразурой гаснет. Выступление министра окончено. Он внезапно становится маленьким — теперь его слова услышат лишь кучка телетехников да верные сотрудники, окружающие его в этом тесном помещении средств массовой информации, находящемся в бомбоубежище, в сотне футов под

Пенсильвания-авеню. Другие члены Кабинета министров получают федеральные здания из мрамора и известняка, откуда у каждого свой вид из окна, тогда как он вынужден работать в маленьком кабинетике без окон, находящемся в подвале Белого дома. Издав геркулесов вздох усталости, министр отворачивается от камер. Он крупный мужчина с выступающей на спине мускулатурой, что создает дополнительные мучения портным, шьющим его темно-синие костюмы. Рот на его массивной голове выглядит поджатым и маленьким. Казалось, что и волос на этой голове тоже мало — словно натянута чужая шляпа. Его пенсильванский акцент звучит не как проглатывающий слога рык у Ли Якокки или пронзительный гулкий голос Арнолда Палмера, — он принадлежит к более молодому поколению и говорит на нейтральном, приятном для средств массовой информации английском, который только своей торжественностью и произношением некоторых гласных

выдает, что источником его является штат, известный своей серьезностью, рвением и стоической покорностью, а также квакерами и угольными шахтами, фермерами-менонитами и богобоязненными пресвитерианцами — стальными магнатами.

— Что скажешь? — спрашивает он своего помощника, стройную, с красноватыми глазами соотечественницу-пенсильванку шестидесяти четырех лет, тем не менее девственницу Эрмиону Фогель.

Прозрачная кожа и боязливая стеснительность Эрмионы указывают на инстинктивное стремление мелкой сошки стать невидимкой. Так же топорно и весело, как министр выражал свое доброе отношение и доверие, он забрал ее с собой из Гаррисбурга и дал ей неофициальную должность: заместитель министра по женским сумочкам. А проблема была вполне реальная: дамские сумочки были выгребными ямами, где лежит все вперемешку, даже сокровища, тут можно укрыть любое количество компактных орудий террористов: складные кусачки, взрывные пульки, револьверы-автоматы, похожие на губную помаду. Развить протокол обыска в этой важной, покрытой мраком неизвестности области помогла Эрмиона, придумав давать охранникам у входа простую деревянную палку, которой они могли тыкать в глубину и никого не возмущать тем, что они роются голыми руками.

Большинство персонала службы безопасности было набрано из национальных меньшинств, а многие женщины — особенно пожилые

— содрогались при виде того, как черные или коричневые пальцы роются в их сумках. Задремавший было гигант американского расизма, убаюканный десятилетиями официальных либеральных басен, вновь зашевелился, когда афроамериканцы и лица испанской крови, которые (на что часто поступают жалобы) «даже и говорить-то по-английски по-настоящему

не  
могут»,

получили

право

обыскивать,

расспрашивать, задерживать, давать разрешение на вылет или

отказывать в нем. В стране, где увеличилось число входов,

оберегаемых персоналом безопасности, увеличилось и число

охранников.

Хорошо

оплачиваемым

профессионалам,

путешествующим на самолетах и посещающим недавно укрепленные

правительственные здания, представляется, что смуглым низшим

слоям общества дана поистине тираническая власть. Уютная жизнь,

которая всего десяток лет назад спокойно протекала среди привилегий

и привычной вседоступности, теперь — казалось, на каждом шагу —

наталкивалась на камни преткновения в виде намеренно не спешащих

стражей, подолгу разглядывающих ваши права или посадочные

талоны. Там, где раньше уверенная манера держаться,

соответствующие костюм и галстук, а также визитка размером два на

три с половиной дюйма открывали двери, теперь замок не работает,

дверь остается закрытой. Как могут функционировать перетекающие

жидкости капитализма, не говоря уж о коммерции интеллектуального

обмена и светской жизни семейных кланов в обстановке столь густой сети предосторожностей? Враг достиг своей цели: бизнес и развлечения на Западе непомерно застопорились.

— По-моему, все, как всегда, прошло очень хорошо, — отвечает Эрмиона Фогель на вопрос, который забыл задать министр.

Он озабочен несовместимостью требований приватности и безопасности: удобство людей и безопасность были ежедневной его заботой, а компенсации в виде восхищения публики — почти никакой, да и финансовое вознаграждение крайне скромное, к тому же дети растут и приближается время для поступления их в колледж; и жена, вращаясь в бесконечном светском водовороте республиканского Вашингтона, должна соответствовать его стилю. За исключением одинокой черной женщины, полиглотки и превосходной пианистки, отвечающей за долгосрочную глобальную стратегию, все коллеги министра родились в богатых семьях и нажили дополнительные

состояния в частном секторе за время восьмилетнего отдыха от служения обществу при Клинтоне. А министр в эти жирные годы пробивал себе путь вверх с низко оплачиваемых правительственных постов в «ключевом штате». Теперь все клинтонцы — включая самих Клинтонов — жиреют на своих «откровенных» мемуарах, а министр — лояльный и флегматичный — обязан держать рот на замке, сейчас и во веки веков.

И дело не в том, что он знает нечто, чего его арабисты ему не сообщали, — мир, за которым они следят, эта электронная трескотня, раздражающаяся поэтическими эвфемизмами и патетическим бахвальством, столь же чужда и отталкивающа для министра, как мир бессонных подонков, даже если они кавказских кровей и выросли в христианстве. «Когда небо разламывается на востоке и багровеет словно роза или крашенная кожа» — включением в эту фразу из Корана не существующих в Коране слов «на востоке» вместе с различными бессвязными и экстравагантными «признаниями» плененных оперативников можно (а то и нельзя) оправдать повышение уровня надзора со стороны полиции и военных, установленного в некоторых финансовых организациях Восточного побережья, которые занимают эффектные небоскребы, столь привлекательные для менталитета суеверного врага. А враг одержим идеей уничтожения священных мест и, подобно нашим старым коммунистическим архипротивникам, убежден, что у капитализма есть штаб-квартира — голова, которую следует срубить, дав таким образом возможность правоверным быть с благодарностью загнанными в аскетичную и догматичную тиранию. Враг не может поверить, что демократия и потребительские интересы — в крови каждого человека, являясь продуктом инстинктивного оптимизма и жажды свободы каждого индивидуума. Даже для такого верного посетителя церкви, как министр, фатализм Божьей воли и обещание блаженства в ожидающем тебя мире отошли в век обскурантизма. Те, кто все еще верит в это обещание, имеют одно общее: они жаждут умереть. Неверящие же слишком любят эту мимолетную жизнь — эта строфа то и дело возникала в трескотне Интернета.

— Меня распнут за это выступление, — мрачно признался министр своему так называемому заместителю. — Если ничего не произойдет, значит, я — паникер. А если произойдет, то я — ленивая

пиявка, высасывающая из общества деньги и допустившая смерть тысяч людей.

— Никто такого не скажет, — заверяет его Эрмиона, и ее бледное лицо старой девы краснеет от сочувствия. — Все — даже демократы — знают, что вы заняты непосильной работой, которую тем не менее надо выполнять ради выживания нашей страны.

— Я полагаю, этим все сказано, — признает объект ее восхищения, и рот его становится еще меньше, подобранный осознанным мрачным юмором.

Лифт мягко спускает их вместе с двумя вооруженными охранниками (одним мужчиной и одной женщиной) и тремя сотрудниками в серых костюмах в подвал Белого дома. На улице в солнечных лучах Виргинии и Мэриленда звучат колокола церквей.

Министр вслух размышляет:

— Эти люди... Почему им хочется творить такие жуткие вещи? Почему они так ненавидят нас? За что такая ненависть?

— Они ненавидят свет, — говорит ему верная Эрмиона. — Как тараканы. Как летучие мыши. «Свет загорелся во тьме, — цитирует она, зная, что пенсильванское благочестие открывает путь к его сердцу, — и тьма его не восприняла».

## II

Закопченную церковь из бурого железняка, находящуюся рядом с озером битого камня, заполняют бумажные платья пастельных тонов и костюмы из полиэстра с острыми плечами. Яркий свет слепит глаза Ахмаду, и ему не становится легче от созерцания цветных стекол в окнах, где мужчины в подобии ближневосточных одежд изображают предполагаемые события краткой и бесславной жизни их Господа. Поклоняться Богу, который, как известно, умер, — сама эта мысль действует на Ахмада, как легкая вонь, засор в канализации, обнаружение мертвой крысы в стенах. Однако прихожане, немногие из которых даже светлее, чем он в своей белоснежной рубашке, купаются в чистой радости этого собрания в воскресное утро. Уходящие вдаль ряды сидящих разнополых людей, и похожее на сцену непонятное место впереди с шишковатой обстановкой и высоким закопченным тройным окном, где изображен седобородый мужчина с приготовившимся взлететь голубем на голове, и то и дело возникающий шепот приветствий, и потрескивание деревянных скамей под передвигающимися тяжелыми задами, — все это кажется Ахмаду скорее похожим на кинотеатр перед началом фильма, чем на священную мечеть с ее толстыми, заглушающими звуки коврами, и пустыми облицованными кафелем стенами, и мелодичными песнопениями «lā ilāha illā Allah»[4], которые возносят мужчины, пропахшие за пятницу своим лакейским трудом и сидящие в единении своей покорности так близко, словно они сегменты единого червя. Мечеть — это мужская обитель; здесь же господствуют женщины с пышным нежным телом в весенних нарядах.

Ахмад надеялся, что, придя в десять, когда звонят колокола, он незаметно проскользнет в задние ряды, а в него крепко вцепился дородный потомок рабов в костюме персикового цвета с широкими лацканами и веточкой ландышей, приколотой к одному из них. Чернокожий мужчина вручает Ахмаду сложенный лист цветной бумаги и ведет его по центральному проходу в передние ряды. Церковь почти полна, и лишь в передних рядах — по-видимому, наименее

желанных — есть пустые места. Привыкнув видеть молящихся

сжавшимися на коленях на полу в стремлении подчеркнуть, насколько Бог выше их, Ахмад, даже сидя, чувствует себя богохульно высоким. Христианская манера сидеть очень прямо, словно на спектакле, наводит на мысль, что Бог — актер, который, перестав вас развлекать, может быть убран со сцены и начнется новый спектакль.

Ахмад думает, что будет сидеть один на скамье из-за того, что он здесь чужой и чувствуется, как он волнуется, но по ковровой дорожке прохода к нему официально подводят большое семейство чернокожих, где на головках маленьких особ женского пола подпрыгивают и щетинятся тугие косички и бантики. Ахмада оттискивают в конец скамьи, и патриарх семейства в качестве извинения протягивает Ахмаду поверх своих маленьких дочек большую шоколадную лапу и в знак приветствия улыбается, показав сверкнувший золотой зуб. Мать выводка, сидящая слишком далеко от незнакомца, вслед за мужем весело машет рукой и кивает. А девочки поднимают глаза, показывая полукружия белков. Все это дружелюбие кафров... Ахмад не знает, как от него избавиться или какие еще посягательства на его внимание возникнут в ходе службы. Он уже ненавидит Джорилин за то, что она завлекла его в эту липучую западню. Он задерживает дыхание, словно боясь подцепить заразу, и смотрит прямо перед собой, постепенно выясняя, что любопытная резьба на minbar — христианском подобии кафедры изображает крылатых ангелов: тот, что дует в длинный рог, по его мнению, — Гавриил, а толпящиеся вокруг люди изображают Судный День, мысль о котором вдохновила Мохаммеда на его самые экзальтированные стихи. «Какая ошибка, — думает Ахмад, — пытаться изобразить в том, что по своей текстуре воспринимается как дерево, неподражаемое творение Бога-творца — al-Khāliq[5]!» Пророк знал: только образная речь способна наполнить душу духовной субстанцией. «Истинно: соберись люди и джинны создать подобие этого Корана, они не смогли бы его создать, хотя одни и помогали бы другим».

Наконец началась служба. Наступает тишина, а затем раздается внезапно налетевший синкопический грохот — Ахмад узнает его: он слышал подобное игрушечное звучание на собраниях в школе, когда играл электрический орган, жалкий двоюродный брат настоящего органа, который, как подозревает Ахмад, собирает пыль за христианским minbar. Все встают и поют. Ахмад поднимается, словно

вытащенный цепями, приковавшими его к остальным. Группа в голубых одеждах — хористы — течет по центральному проходу и заполняет места за низко поставленной рейкой, за которую паства, похоже, не смеет заходить. Слова этого zanj[6], искаженные ритмом и растянутые истомой, насколько он может понять, о дальнем холме и старом неотесанном кресте. Исполненный решимости молчать, он отыскивает Джорилин в хоре, в основном состоящем из женщин, крупных женщин, среди которых Джорилин выглядит молоденькой, сравнительно худенькой девчоночкой. Она, в свою очередь, замечает Ахмада, сидящего на одной из передних скамей, — ее улыбка разочаровывает его: слишком она неуверенная, мгновенная, нервная. Джорилин тоже понимает, что ему тут не место.

Поднялись, опустились — все в его ряду, кроме него и самой маленькой девочки, встают на колени и снова садятся. Все вместе

читают текст и произносят ответы пастору — он не успевает за ними, хотя папаша с золотым зубом указывает ему на страницу в начале псалтыря. «Мы верим в то и в это, благодарим Господа за это и за то». Затем христианский имам, с суровым, кофейного цвета лицом, в очках со стеклами без оправы и с высоким, сверкающим лысиной лбом, читает длинную молитву. Его сиплый голос, усиленный с помощью электричества, гремит, несясь сзади и спереди церкви, и в то время как он, закрыв за очками глаза, углубляется во тьму, которая во время молитвы возникает перед его мысленным взором, то тут, то там раздаются голоса из паствы, подбадривая его: «Правильно!», «Скажите, ваше преподобие!», «Вознесите хвалу Господу!» Словно пот по коже, шепот одобрения растекается по церкви, пока после второго песнопения о счастье идти с Иисусом проповедник поднимается на высокий minbar, украшенный резными ангелами. И с еще большими раскатами, поворачивая голову то к репродуктору, то от него, так что голос его то затихает, то гремит, словно он говорит с высоты мачты на раскачиваемом бурей корабле, проповедник рассказывает о Моисее, который вывел избранный народ из рабства и, однако же, был лишен доступа в Землю обетованную.

— Почему? — спрашивает он. — Моисей служил Господу в качестве его представителя, появлявшегося в Египте и исчезающего. Был его представителем — у нашего президента в Вашингтоне есть представитель, у глав наших компаний, имеющих конторы в

небоскребах Манхэттена и Хьюстона, есть представители — в некоторых случаях представительницы, которых естественнее называть представительными особами, верно, братья? — Послышались смешки и хихиканья, указывавшие на уход в сторону. — Помилосердствуйте, наши обожаемые сестры умеют говорить. Господь не даровал Еве сил наших рук и плеч, но даровал ей двойную силу языка. Я слышу смех, но это не шутка, это просто эволюция, которой стремятся обучать наших невинных деток во всех государственных школах. Ну а говоря серьезно: никто больше не доверяет себе выступить за себя. Слишком большой риск. Слишком много адвокатов следят за вами и записывают, что вы говорите. Вот и я, будь у меня сейчас представитель, я сидел бы дома и смотрел бы по телевизору шоу с мистером Уильямом Мойерсом или мистером Теодором Коппелем и вторично положил бы себе в тарелку два, а то и три куска этого чудесного, пропитанного сиропом французского тоста, который иногда по утрам готовит мне Тили, купив себе новое платье или модную крокодиловую сумку, что вызывает у нее малюсенькое чувство вины. — Перекрывая хохоток, встретивший это откровение, проповедник продолжает: — Тогда я берег бы свой голос. Тогда я не раздумывал бы вслух перед вами, почему Господь не дал Моисею вступить на Землю обетованную. Если б только был у меня представитель.

Ахмаду кажется, будто проповедник среди этой разгоряченной, ожидающей от него откровений толпы темнокожих кафиров вдруг стал размышлять сам с собой, забыв, зачем он здесь, зачем здесь все они, тогда как с улицы доносятся издевательски громкие звуки радио из мчащихся мимо машин. Но глаза проповедника вдруг распахиваются за очками, и он с треском ударяет по большой, с золотым обрезом Библии, лежащей на аналое minbar.

— Вот она — причина. Господь говорит о ней во Второзаконии,



глава тридцать вторая, стих пятьдесят первый: «За то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов Израилевых»[7].

Проповедник в своем голубом одеянии с широкими рукавами, в рубашке и красном галстуке, выглядывающем у шеи, окидывает паству удивленным взглядом, и Ахмаду кажется, что взгляд этот устремлен

именно на него, возможно потому, что его лицо незнакомо проповеднику.

— Что это значит? — тихо спрашивает он. — «Согрешили против меня?» «Не явили святости моей?» Что наделали эти несчастные многострадальные израильтяне у вод Меривы в Кадесе, в пустыне Син? Поднимите руку, кто знает. — Застигнутые врасплох, прихожане не знают, и проповедник спешит продолжить, снова заглядывая в свою большую Библию, пропуская между пальцами толщину ее страниц с золотым обрезом до отмеченного им места. — Тут все есть, друзья мои. Все, что вам надо знать, — перед вами. Хорошая Книга рассказывает, как от людей, которых вел Моисей из Египта, отделилась группа разведчиков, и пошли они в пустыню Негев и на север — к Иордану, и вернулись и, согласно главе тринадцатой Чисел, сказали, что в обследованной нами земле «подлинно течет молоко и мед»[8], но «народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие»[9], и более того — более того, сообщили они, там живут «сыны Енаковы» — исполины, рядом с которыми «мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их»[10]. Они понимали это, и мы это понимали, братья и сестры, — рядом с ними мы были просто мелкой старой саранчой, — саранчой, которая живет в траве всего несколько дней, в луговой траве, прежде чем ее скосят, за границей бейсбольного поля, куда никто никогда не загоняет мяча, а потом они перестают существовать и их скелетики, такие замысловатые, как все, что сотворяет наш добрый Боженька, легко раскусывает своим клювом ворона или ласточка, чайка или воловья птица.

Теперь голубые рукава проповедника взлетают, и в свете от аналога видны брызги слюны, вылетающие из его рта, а стоящий под ним хор раскачивается вместе с Джорилин.

— И Халеб сказал: «Пойдем, тотчас пойдем и завладеем ею»[11]... «Мы можем одолеть их, будь они исполины или нет. Пойдем и совершим это!» — И высокий кофейного цвета человек читает, быстро, трепетно, на разные голоса: — «И подняло все общество вопль, и плакал народ во ту ночь; и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: О, если бы мы умерли в земле Египетской или умерли в пустыне сей». — Проповедник сурово смотрит на свою паству — очки его как сферы слепящего света — и

повторяет: — «О, если бы мы умерли в земле Египетской!..» — Он заглядывает в Библию. — «И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам?»[12] Станут добычей! Послушайте, это уже серьезно! Не лучше ли нам забрать наших баб — наших быков и баб — и вернуться в Египет! — Он снова заглядывает в Библию и громко читает стих: — «И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет»[13]. Этот фараон — он совсем не такой уж плохой. Он кормил

нас, хоть и немного. Он дал нам хижины, чтобы спать, — правда, у болота, со всеми комарами. Присылал нам — довольно регулярно — материальную помощь в качестве чеков. Он дал нам работу — накладывая в «Макдоналдсе» жареный картофель на тарелки, — правда, за минимальную плату. Он был дружелюбен к нам, этот фараон, по сравнению с этими исполинами, этими громадными сынами Енаковыми.

Проповедник выпрямляется, переставая изображать тех, о ком говорит.

— И как поступают Моисей и его брат Аарон, услышав все это?

Тут, в Числах, в главе четырнадцатой, стихе пятом сказано: «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». Они сдались. И сказали народу, народу, который по велению Всевышнего должны были возглавлять, — они сказали: «Может, вы и правы. Мы все испытали. Слишком долго мы шли из Египта. Эта пустыня выше наших сил».

И Оссия — помните его, сына Навина, из колена Ефремова, он был в числе двенадцати, кого вместе с Халебом отправили высматривать землю Ханаанскую, — так вот Оссия, которого Моисей назвал Иисусом, встал и сказал: «Подождите-ка. Подождите, братья. У этих ханаинян земля хорошая. Не бойтесь народа земли сей, ибо он...» И тут я снова иду по тексту: «Достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь: не бойтесь их»[14]. — Торжественно, медленно проповедник повторяет: — «С нами Господь: не бойтесь их». И как реагировали средние израильтяне, когда эти два храбрых воина встали и сказали: «Пошли же. Не бойтесь этих ханаинян»? И сказала все общество: «Побить их камнями»[15]. И они набрали камней — были среди лежавших в пустыне довольно острые и уродливые кремни — и уже приготовились размозжить головы и рты

Халебу и Иисусу, как вдруг произошло нечто удивительное. Позвольте мне прочесть вам, что произошло: «Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: „Доколе будет раздражать Меня народ сей? И доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди него?“»[16] А знамением была Манна Небесная. Знамением была вода, брызнувшая из скалы Хореба. Бесспорным знамением был голос, раздавшийся из горящего куста. Знамениями были столбы облаков днем и огненные столбы ночью. Знамения, знамения в течение всех суток — двадцать четыре часа в день, как принято сейчас говорить.

А народ все равно не верил. Люди хотели вернуться в Египет, к этому дружелюбному фараону. Они предпочитали иметь дело с дьяволом, которого знали, а не с Богом, которого не знали. Они попрежнему питали слабость к золотому тельцу. Они не возражали снова стать рабами. Они хотели забывать свои беды с помощью наркотиков и разгула в субботние вечера. Добрый Господь сказал: «Доколе будет раздражать Меня народ сей?» Это племя Израилево. И спросил Господь Моисея и Аарона — просто, чтобы знать: «Доколе злому обществу сему роптать на меня?»[17] И, не дожидаясь ответа, Сам отвечает на вопрос. Господь, Он казнит всех, кто ходил высматривать землю, кроме Халеба и Иисуса. А всем остальным, этому злому обществу, он говорит: «А ваши трупы падут в пустыне сей»[18]. Он приговаривает остальных — всех, кому исполнилось двадцать лет и больше, всех, кто роптал против него, к сорока годам жизни в

пустыне... «и сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне»[19]. Только подумайте. Сорок лет и никакой передышки, чтобы проявить себя добрым поведением. — И повторяет: — Никакой передышки, чтобы проявить себя добрым поведением, потому что вы были злым обществом.

Мужской голос из рядов паствы кричит:

— Верно, ваше преподобие! Злым!

— Никакой передышки, — продолжает христианский имам, — потому что у вас не достало веры. Веры в силу Всемогущего Бога. Это был ваш грех — я сейчас произнесу для вас отдельно это замечательное старое слово: г-р-е-х: «и грехи отцов падут на детей в третьем и четвертом коленах». Моисей пытается умиловить его —

рупор взмолился к своему создателю. «Прости, умоляю тебя, — говорит он в Библии, — грехи этого народа, ибо велико твое прощение, как простил ты сей народ из Египта».

«Тому не будет прощения вовек, — отвечает Господь. — Устал я прощать, как этого ждут от меня. Воздайте мне славу. Увидят трупы отступивших от меня»[20].

Проповедник немного устало пригибается к аналою и кладет локти на массивную святую книгу с золотым обрезом.

— Друзья мои, — вещает он, — вы понимаете, куда клонил Моисей. Что было такого ужасного, что было такого... — и он с улыбкой произносит: — гре-хов-но-го в том, чтобы пойти на вражескую территорию, выяснить ситуацию, вернуться домой и сделать честный осмотнительный доклад? А они распустили худую молву. «Эти ханааниты и исполины крепко хранят молоко и мед. Лучше нам туда не ходить». В этом чувствуется здравый смысл, верно? «Не зли человека. В его руках и акции и облигации, у него есть кнут и цепи, он владеет средствами производ-ства».

Раздается несколько голосов:

— Верно. Разумно. Не зли человека.

— И чтобы настоять на своем, Господь насылает на них чуму и моровую язву, и народ загоревал и решил — слишком поздно — отправиться в горы и смело встретиться с ханаанитами, которые теперь казались не такими уж и страшными, а Моисей, этот рупор Господа, этот мудрый адвокат, стал им советовать: «Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши»[21]. Но эти упорствовавшие в своих заблуждениях израильтяне все-таки пошли, и что мы читаем в последнем стихе главы четырнадцатой? «И сошли амаликитяне и ханааниты, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы». А это долгий путь — «даже до Хормы». До Хормы далеко.

Видите ли, друзья мои, Господь все-таки был с ними. Он давал им шанс идти с ним во всей его славе, а они как поступили? Они не решались. И они предали Его своей нерешительностью... своей осторожностью, своей тру-со-стью... и Моисей с Аароном предали Его, поддавшись влиянию народа и заколебавшись, как поступают политики, узнав о результатах опроса, — а люди, производящие опросы, и представители были и тогда, даже во времена Библии, — и

за это не дано им было войти в Землю обетованную, Моисей с Аароном так и остались на той горе, с которой смотрели на землю

Ханаанскую, как дети, прильнувшие лицом к витрине кондитерского магазина. Они не могли туда войти. Они были нечистыми. Они не были достойны. Они не позволили Господу действовать через них. У них были хорошие человеческие намерения, но они недостаточно верили в Господа. А в Господа надо верить. Он говорит, что сотворит невозможное, Он это сделает, не говорите Ему, что Он не может. Ахмад обнаруживает, что взволнован вместе с остальной паствой, а люди начали шевелиться и перешептываться, расслабляясь от напряженного внимания, с каким они следили за каждым поворотом проповеди, даже сидящие рядом с ним девочки с косичками завертели головками, словно у них затекли шеи, а одна из них подняла глаза на Ахмада и смотрит, как большеглазая собачка, раздумывая, стоит ли у этого человеческого существа что-то попросить. Глазки ее блестят, словно она глядит на сокровище, увиденное в нем.

— Вера, — произносит проповедник охрипшим голосом, который слегка раздражает, как переслащенный кофе. — У них не было веры. Поэтому они были злым обществом. Поэтому на израильтян и напала чума и они потерпели позорное поражение в битве. Вот у Авраама, отца племени, была вера, когда он занес нож, чтобы принести в жертву своего единственного сына — Исаака. У Ионы была вера, когда он сидел в животе кита. У Иисуса на кресте была вера — он спросил Господа, почему Тот покинул его, а потом тут же повернулся к вору, пригвожденному к кресту рядом с ним, и обещал этому человеку, этому дурному человеку, этому «закоренелому преступнику», как говорят социологи, что Он в тот же день встретит его в Раю. У Мартина Лютера Кинга была вера в Вашингтонском торговом центре и в том отеле в Мемфисе, где Джеймс Эрл Рэй предал мученической смерти преподобного Кинга, а он отправился туда, чтобы поддержать бастовавших рабочих-мусорщиков, ниже которых никого нет, неприкасаемых, что убирают наш мусор. Роза Паркс верила в этот автобус в Монтгомери, штат Алабама. — Тело проповедника вываливается за аналой, становится выше, голос его меняется, когда новая мысль приходит в голову. — Она заняла место в автобусе впереди, — произносит он, словно ведя беседу. — А израильтяне никогда этого не делают. Они боятся сидеть в автобусе впереди.

Господь сказал им: «Там она, сразу за шофером, земля Ханаанская, где полно молока и меда, она ждет вас», а они сказали: «Нет, спасибо, Господи, нам больше нравится сидеть в хвосте. Мы устраиваем там игру в кости, по кругу ходит наша маленькая пинта „Четыре розы“, идет у нас трёп под трубочку, колемся кокаином и есть у нас девочкималолетки, которые приносят нам незаконнорожденных детишек —

мы можем оставить их в обувной коробке у здания, что на краю города, где отходы производства пускают в оборот, так что не посылай нас на эту гору, Господи. Нам не справиться с этими исполинами. Нам не справиться с Буллом Коннором и его полицейскими псами. Мы просто будем сидеть в хвосте автобуса. Там славно и темно. И уютно».

— И снова своим голосом проповедник говорит: — Не будьте такими, как они, братья и сестры. Скажите мне, что вам нужно.

— Вера! — раздаётся несколько голосов неуверенно.

— Я хочу это снова услышать — только громче! Что всем нам нужно?

— Вера, — слышится уже более слитный голос.

Даже Ахмад произносит это слово, но так, чтобы никто не мог

услышать, кроме маленькой девочки, сидящей рядом с ним.

— Лучше, но все равно недостаточно громко. Что есть у нас, братья и сестры?

— Вера!

— Вера во что? Дайте мне это услышать, чтобы ханааниты затряслись от страха в своих больших, козьей кожи, сапогах!

— Вера в Господа!

— Да, о да! — раздались отдельные голоса.

Несколько женщин в разных местах церкви завсхлипывали. У матери семейства в одном с Ахмадом ряду, все еще молодой и миловидной, блестят от слез щеки — он это видит. Но проповедник еще не расстался с ними.

— Господь — он чей? — спрашивает он с поистине юношеским пылом. — Господь Авраама. — Передышка. — Господь Иисуса. — Еще одна передышка. — Господь царя Давида.

— Господь Иисуса, — раздается голос из глубины старой церкви.

— Господь Марии! — кричит женский голос.

Кто-то отваживается крикнуть:

— Господь Бефшиты[22]!

— Господь Зиппоры! — крикнул кто-то.

Проповедник решает, что пора заканчивать.

— Господь — он наш общий, — гремит он, пригнувшись близко к микрофону, как рок-звезда. И белым носовым платком вытирает влагу с высокого лысого лба. Он весь в поту. Даже его крахмальный воротничок пожух. Он по-своему, по-кафрски, сражался с дьяволами, даже с дьяволами Ахмада. — Господь — он наш общий, — мрачно повторяет он. — Аминь.

— Аминь, — произносят многие с облегчением и ощущением пустоты.

Затем наступает тишина, а потом приглушенное шуршание деловитых шагов четверых мужчин в костюмах, идущих по двое по проходу, чтобы получить деревянные блюда, а хор с сильным шорохом встает и приготавливается петь. Маленький мужчина в длинном одеянии, постаравшийся подправить свой рост, высоко взбив курчавые волосы, поднимает, готовясь дирижировать, руки, в то время как серьезные мужчины в светлых костюмах из полиэстра берут у проповедника блюда и, разделившись, идут по двое — одни по центральному проходу, а другие по бокам. Они надеются, что на блюда будут положены деньги, для чего дно накрыто красными фетровыми прокладками, чтобы монеты не звенели. Из исповеди в памяти Ахмада всплывает неожиданное слово «нечистые», и его пробирает дрожь от прегрешения: ведь он, нечистый, присутствовал при том, как эти черные неверные молились своему небогу, своему трехглавому идолу, а это все равно как в окружении других людей смотреть на секс, на мелькающие розовые тела через плечи мальчишек, злоупотребляющих компьютерами в школе.

Авраам, Ной — эти имена не являются совсем незнакомыми Ахмаду. Пророк в третьей суре утверждает: «Мы верим в Бога и в то, что Господь послал нам, и в то, что он послал Аврааму, и Исмаилу, и Исааку, и Якову, и всем народам, и в то, что он дал Моисею, и Иисусу, и пророкам. Мы не делаем различия между ними». А ведь эти люди вокруг него являются по-своему народом из Библии. «Почему вы не верите знамениям Божиим? Почему отталкиваете верующих от пути

Господня?»

Электроорган, за которым сидит мужчина с шеей в таких складках жира, точно это его второе лицо, издает струйку звуков, затем налегает

на педали с такой силой, словно обрушивается водопад холодной воды. Хор — с Джорилин в первом ряду — начинает петь. Ахмад смотрит только на нее — на то, как она широко раскрывает рот, так что за маленькими круглыми зубками, похожими на полузатонувшие жемчужинки, виден ярко-розовый язык. «Иисус — друг наш чудесный» — медленно понимает он начальные слова песни, словно вытаскивая тяжесть песнопения из некоего погреба печали. «Он принимает на себя все наши горести и прегрешения!» Паства, сидящая позади Ахмада, встречает эти слова вздохами и вскриками согласия: они знают это песнопение, они любят его. Из бокового прохода высоченный кафр в лимонно-желтом костюме, держа в такой большой широкой руке блюдо для подаваний, что оно кажется блюдечком, пускает его по ряду, где сидит Ахмад. Ахмад быстро передает блюдо дальше, ничего не положив, — оно чуть не вылетает из его руки, таким легким оказывается дерево, — но он умудряется опустить его до уровня сидящей рядом маленькой девочки; она протягивает свои коричневые, уже не младенческие руки-царапки, выхватывает у Ахмада блюдо и передает дальше. Эта девочка, смотревшая на него блестящими, собачьими глазами, придвинулась к нему, так что ее худенькое маленькое тельце касается его, она тихонько к нему прижимается, по-видимому, считая, что он не заметит. А он, чувствуя себя инородцем, игнорирует ее, смотрит прямо перед собой, точно хочет по губам прочесть слова, вылетающие изо рта поющих в длинных одеяниях. «Какая это при-ви-ле-гия, — улавливает он, — донести молитву до Бога!»

Ахмад сам любит молитву, это ощущение, что ты даешь молчаливому голосу из твоей головы вылиться в окружающую тебя тишину ожидания, как бы незримо расширяясь и превращаясь в измерение, более верное, чем три измерения этого мира. Джорилин говорила ему, что будет петь соло, но она стоит в своем ряду, между пожилой толстухой и тощей женщиной цвета высохшей кожи — все они слегка колышутся в своих переливающихся голубых одеяниях и так в унисон раскрывают рот, что он не может понять, какой же голос принадлежит Джорилин. Ее глаза устремлены на дирижера со взбитыми волосами и ни разу не обращались на Ахмада, а ведь он рискует гореть в аду за то, что принял ее приглашение. Интересно, подумал он, не сидит ли Тайленол где-нибудь сзади в этой зловерной

пастве, — плечо, за которое схватил его Тайленол, ведь потом целый день болело. «Все потому, что в молитвах наших, — поет хор, — мы не доносим всего до Бога». Голоса женщин, вместе с более низкими голосами мужчин, что стоят в ряду сзади них, звучат фронтально, словно армия, наступающая, не боясь атаки. Это множество глоток издает звуки, похожие на орган, безответные, жалобные, совсем не то, что голос имама, воспроизводящего музыку Корана, — музыку, что проникает во впадины за вашими глазами и погружается в тишину вашего мозга.

Музыкант, играющий на электронном органе, переключается на другой ритм — скок-подскок, рассекаемый стуком позади хора невидимого для Ахмада деревянного ударного инструмента,

состоящего из деревянных полосок. Паства встречает смену ритма одобрительным шепотом, а хор начинает отбивать ритм ногами, колыханием бедер. Орган ныряет, захлебывается. Хор сбрасывает одежду слов, которые становится все труднее понять — во всяком случае, это что-то насчет судов, соблазнов, и бед. Тощая сухая женщина, что стоит рядом с Джорилин, выступает вперед и голосом, похожим на сладкий мужской голос, вопрошает, обращаясь к пастве: «Можем мы найти верного друга, что разделит бы все наши печали?» Хор следом за ней распевает одно только слово: «Молитесь, молитесь, молитесь!» Органист перебирает клавиатуру сверху донизу еще и еще раз, явно ведя свою линию, но не отрываясь от остальных. Ахмад не знал, что у органа так много нот — высоких и низких, и все они, звуча друг за другом, спешат вырваться вверх, вверх. «Молитесь, молитесь, молитесь!» — продолжает петь хор, предоставляя толстому органисту выступать соло.

Затем приходит очередь Джорилин: она выступает вперед под аплодисменты, и глаза ее пробегают по лицу Ахмада, затем она поворачивает свое лицо с пухлыми губами к тем, кто сидит позади него и выше — на балконе. Она глубоко вбирает в себя воздух, а у него замирает сердце от страха за нее. Но голос ее разматывает светящуюся фосфоресцирующую нить: «Слабы ли мы и можем ли нести тяжелый груз забот?» Ее молодой голос, такой хрупкий и чистый, лишь слегка дрожит, пока она не справилась с волнением. «Бесценный наш Спаситель — по-прежнему наше прибежище», — поет она. Голос ее приобретает звучание меди с резким скрежещущим звуком, потом,

вдруг высвободившись, вздымается до крика — словно ребенок молит впустить его в запертую дверь. По пастве пробегает шепот одобрения этим вольностям.

Джорилин выкрикивает:

— Презирают ли твои друзья — чтоб им неладно — тебя?

— Эй, правда, презирают? — вскрикивает стоящая рядом с ней толстуха, влезая в соло Джорилин словно в теплую ванну, слишком манящую, чтобы стоять в стороне. Она вторгается не для того, чтобы затмить Джорилин, а чтобы присоединиться к ней. Услышав этот голос рядом со своим, Джорилин издает несколько запредельных нот в гармонии с другим голосом, — ее молодой голос звучит громче, самозабвеннее.

— В свои объятия, — поет она, — в свои объятия, в свои объятия, в свои объятия он примет и защитит тебя, и ты найдешь в них — о смилуйся, да! — успокоение.

— Да, успокоение, да, успокоение, — вторит ей толстуха и ускоряет темп под грохот одобрения, любви слушателей, ибо ее голос погружает их, а потом вытягивает на поверхность из глубины их существования, — так, во всяком случае, чувствует Ахмад. Ее голос прокален страданиями, которые еще предстоят Джорилин, они лежат лишь легкой тенью на ее молодой жизни. Обладая таким авторитетом, толстуха с широким, как у каменного идола, лицом запекает снова: «Что за друг». Ямочки появляются не только на ее щеках, но и в уголках глаз и по краям ее широкого плоского носа, а ноздри раздуваются под острым углом. К этому времени песнопение так глубоко проникло в вены и нервы собравшихся тут, что каждое слово воспринимается ими. — Все наши прегрешения — именно все наши прегрешения и беды... ты слышишь, Господи? — Хор — в том числе и

Джорилин — неустрашимо подхватывает, а толстуха в экстазе размахивает руками, на миг вздымает их в бойком, комически победоносном жесте человека, спустившегося по трапу после путешествия по штормовому морю, и, выбросив указующий перст в сторону корчащегося балкона, выкрикивает: — Вы слышите? Вы слышите?

— Мы слышим, сестра, — отвечает ей мужской голос.

— Что ты слышишь, брат? — И сама отвечает на вопрос: — Все наши прегрешения и беды. Подумай об этих прегрешениях. Подумай

об этих бедах. Они — наши дети, верно? Прегрешения и беды — это рожденные нами дети.

Хор продолжает тянуть мотив, только ускорив теперь темп. Орган тяжело и бойко грохочет, палочки деревянного инструмента невидимо постукивают, толстуха закрывает глаза и громко выбрасывает:

— Иисусе, — перекрывая безостановочно бьющий ритм, выкрикивает сокращенно: — Иис. Иис. Иис. — И раздражается поступающей песнью: — Благодарствую, Иисусе. Благодарствую, Господи. Весь день и всю ночь благодарствую за любовь твою. И когда хор поет: «О, какую ненужную муку мы терпим...» — она всхлипывает:

— Ненужную, ненужную. Нам надо отнести ее Иисусу, надо, надо! — И когда хор, которым по-прежнему дирижирует маленький мужчина со взбитыми волосами, доходит до последней строки, толстуха поет вместе с ним: — Со всем, со всем, с каждой мелочью зываем мы в молитве к Господу. Да-а-а.

И хор — а с ним и самый широко раскрытый ротик Джорилин, самый свежий ротик — умолкает. У Ахмада жжет глаза и в животе такая буря, что он боится, как бы его не вырвало прямо тут, среди этих скулящих дьяволов. Лжесвятые в высоких темных закопченных окнах смотрят вниз. Лицо хмурого, с седой бородой загорается от прошедшего по нему солнечного луча. Девочка незаметно для Ахмада прижалась к его боку и вдруг стала тяжелой, заснув под гремящую будоражающую музыку. А все остальное семейство, сидящее на скамье, улыбается, глядя на него, на нее.

Ахмад не знает, следует ли ему ждать Джорилин у церкви, из которой вываливаются верующие на апрельский воздух, становящийся влажным и прохладным, по мере того как небо темнеет от облаков.

Нерешительность Ахмада затягивается, пока, стоя на обочине полускрытым лжеакацией, уцелевшей во время сноса домов, что и создало это озеро каменных глыб, он удостоверяется, что Тайленола нет в толпе. И когда он уже решает сбежать, появляется Джорилин — она идет к нему, неся, словно фрукты на блюде, свои округлости. В одной ее ноздре сверкает, отражая голубизну неба, крошечная серебряная бусина. Под голубым одеянием на ней все та же одежда, в

какой она ходит в школу — она специально не наряжалась для церкви.

Он помнит, она говорила ему, что не относится к религии серьезно.

— А я тебя видела, — поддразнивает она его. — Сидел ни с кемнибудь — с Джонсонами.

— С Джонсонами?

— Ну, с этим семейством, что сидели с тобой. Они известные в церкви люди. Они держат в центре города залы для самостоятельной стирки, а также в Пассаике. Ты слышал про черных буров? Так это они. На что это ты так пялишься, Ахмад?



— На эту маленькую штучку в твоём носу. Я её раньше не замечал. Только видел маленькие колечки на мочке твоего уха.  
— Это новшество. Тебе не нравится? А вот Тайленолу нравится. Он дожидаться не может, когда я посажу пуговку на кончик языка.

— Проткнешь себе язык? Ужас какой, Джорилин.

— Тайленол говорил, Господь любит лихих женщин. А что говорит твой мистер Мохаммед?

Ахмад слышит издевку, но чувствует себя выше этой созревшей коротышки — он опускает взгляд мимо её лица с проказливым выражением на её груди, обнажённые весенней блузкой со свободным вырезом и все ещё блестящие от волнения и усилий, каких ей стоило пение.

— Он советует женщинам скрывать свои прелести, — говорит ей Ахмад. — Он говорит, что хорошие женщины — для хороших мужчин, а нечистые женщины — для нечистых мужчин.

Джорилин широко раскрывает глаза и хлопает ресницами, сочтя эту произнесенную без улыбки торжественную тираду — частью его, с чем ей, возможно, придется иметь дело.

— Ну, я не знаю, к какой половине я принадлежу, — весело произносит она. — В те дни они довольно широко трактовали свое представление о нечистых, — добавляет она и сбрасывает рукой влагу с виска, где волосы такие тоненькие, как усики у мальчика, еще не начавшего бриться. — Тебе понравилось, как я пою?

Он задумывается, в то время как прихожане, болтая, проходят мимо них с сознанием исполненного на неделю долга, а то выглядывающее, то исчезающее солнце отбрасывает от появившихся на лжеакции листочков легкие тени.

— У тебя красивый голос, — говорит ей Ахмад. — Очень чистый. Однако используешь ты его для нечистых целей. Пение — особенно этой толстухи...

— Евы-Марии, — подсказывает Джорилин. — Она у нас самая-самая. Она всегда вся выкладывается.

— Ее пение показалось мне очень сексуальным. И многих слов я не понял. В чем проявляется то, что Иисус такой друг для всех вас?

— Какой чудесный друг, какой чудесный друг! — легонько напевает Джорилин, подражая хору, разбивающему текст песнопения в ритме (как это понимает Ахмад) телодвижений в сексе. — Он просто такой — вот и все, — утверждает она. — Людям лучше, когда они думают, что он рядом. А если бы он не заботился о нас, то кто же, верно? Так же, я подозреваю, обстоит дело и с твоим Мохаммедом.

— Пророк много значит для его последователей, но мы не называем его нашим другом. Мы не такие широкие, как говорил ваш проповедник.

— Ой, давай не будем об этом, — произносит она. — Спасибо, что пришел, Ахмад. Я не думала, что ты придешь.

— Ты любезно пригласила меня, и мне было любопытно. Полезно — в определенной мере — знать врага.

— Врага? Ну и ну. У тебя же нет врагов здесь.

— Мой учитель в мечети говорит, что все неверные — наши враги. Пророк говорит, что со временем все неверные должны быть уничтожены.

— О Господи! Как ты до такого дошел? Твоя мать ведь веснушчатая ирлашка, верно? Так говорит Тайленол.

— Тайленол, Тайленол. Могу я спросить, насколько ты близка с этим кладезем мудрости? Он что, считает тебя своей женщиной?

— О, этот парень только нащупывает почву. Он еще совсем молокосос, чтобы иметь постоянную подругу. Пошли лучше. А то уж слишком многие пялятся на нас.

Они пошли по северному краю пустых акров, ожидающих, когда их возделают. На большом щите намалеван четырехэтажный гараж, который вернет покупателей в старый центр города, но вот уже два года ничто здесь не строится — только щит стоит, все более и более расписанный. Когда солнце пробивается с юга сквозь облака над новыми стеклянными зданиями центра, видно, как от каменных глыб

поднимается тонкая пыль, а когда облака смыкаются, солнце превращается в белый круг, точно прожженная идеальная дыра размером с луну. Ахмад чувствует палящее солнце с одной стороны и тепло с другой — тепло тела идущей рядом Джорилин, ее окружностей и мягких частей. Бусинка на ее ноздре жарко сверкает; солнечный свет блестящим язычком проникает в углубление в центре ее глубокого круглого декольте. Ахмад говорит ей:

— Я хороший мусульманин в этом мире, который смеется над верой.

— Вместо того чтобы быть хорошим, неужели тебе никогда не хочется почувствовать себя хорошим? — спрашивает Джорилин. Он считает, что она испытывает искреннее любопытство: с этой его суровой верой он для нее загадка, нечто любопытное.

— Возможно, эти два понятия совместимы, — предполагает он. — Чувствовать и быть.

— Ты пришел в мою церковь, — говорит она. — Я могла бы пойти с тобой в твою мечеть.

— Не получится. Мы не сможем сидеть вместе, и ты не можешь присутствовать, не пройдя курса инструкций, а также не продемонстрировав свою искреннюю веру.

— Ого! У меня, пожалуй, не будет столько времени. Скажи, Ахмад, а как ты развлекаешься?

— Примерно так же, как и ты, хотя развлечение не дело для хорошего мусульманина. Я дважды в неделю беру уроки языка и уроки Корана. Я посещаю Центральную школу. Осенью я играю в футбольной команде — я, собственно, забил пять голов в прошлом сезоне и одно пенальти, — а весной бегаю. Чтобы иметь деньги на расходы и помогать матери — веснушчатой ирлашке, как ты ее назвала...

— Так ее назвал Тайленол.

— Так явно назвали ее вы оба... Я работаю в «Секундочке» от двенадцати до восемнадцати часов в неделю, и это можно назвать «развлечением» — смотришь на покупателей, на разнообразие их костюмов и их психопатическое поведение, объясняемое американской вседозволенностью. Нигде в исламе нет запрета смотреть телевизор и ходить в кино, хотя все это пронизано таким отчаянием и неверием,

что у меня интерес пропадает. Не запрещает ислам и общаться с противоположным полом при соблюдении запретов.

— А запреты такие, что ничего не происходит, верно? Сворачивай здесь налево, если провожаешь меня домой. Ты, знаешь ли, вовсе не обязан этого делать. Мы вступаем в паршивые кварталы. Тебе ведь не

хочется, чтоб произошла драка.

— Я хочу проводить тебя до дома. — И продолжает свое: — Они существуют, эти запреты, не столько для блага мужчины, сколько для блага женщины. Девственность и чистота — главное ее достояние.

— Ну и ну, — говорит Джорилин. — В чьих же это глазах? Я хочу сказать: кто это оценивает?

У него такое впечатление, что она подводит его к черте, за которой он, отвечая на ее вопросы, предаёт свои верования. Он замечал в школе, как хорошо она умеет говорить, так что учителя вступали с ней в полемику, не понимая, что она уводит их в сторону от намеченного предмета и заставляет растрчивать отведенное для урока время. У нее есть порочная черта.

— По мнению Господа, обнародованному Пророком, — говорит он ей, — «Верующим женщинам предписывается отворачивать глаза от соблазна и сохранять целомудрие». Это из той же суры, где женщинам рекомендуется скрывать свои прелести, набрасывать покрывало на грудь и даже не топтать ногами, чтобы не звенели невидимые браслеты на щиколотках.

— Ты считаешь, что я слишком показываю титьки, — я заметила, куда ты бросаешь взгляды.

Это слово, «тительки», в ее устах непотребно возбуждает его. И он говорит, глядя прямо перед собой:

— Непорочность имеет свою цель. Уже говоря о ней, мы становимся хорошими и чувствуем себя хорошо.

— А как, с другой стороны, быть девственницами? Что происходит с непорочностью, когда появляются молодые распаленные мученики?

— Их добродетель получает свою награду, они остаются непорочными, как их создал Бог. Мой учитель в мечети считает, что темноокие девственницы являются символом блаженства, которое невозможно представить себе без конкретных картинок. Помешанный на сексе Запад уцепился за такую картинку и потому высмеивает ислам.

Они продолжают идти в указанном ею направлении. Местность вокруг них становится менее приятной: кусты не подстрижены, дома не покрашены, плиты на тротуарах местами вздыбились и треснули под напором находящихся под ними корней; в маленьких палисадниках валяется мусор. В рядах домов есть пустоты — они зияют, как выбитые зубы, провалы огорожены, но толстые сетки порезаны и покорежены под невидимым напором людей, ненавидящих ограды и спешащих куда-то пройти. В некоторых кварталах слитые многоквартирные дома образуют единое длинное здание со множеством облезлых дверей и четырехступенчатыми лестницами — старыми и деревянными или новыми и бетонными. А над головой верхние ветви деревьев переплетаются с проводами, несущими электричество через весь город, — этакая арфа, которая висит в пустотах, образовавшихся после того, как деревья были подрезаны лесниками. На фоне испещренного облаками неба брызги цветов и распускающихся листочков образуют яркие желтые и зеленые пятна разных оттенков.

— Ахмад, — произносит Джорилин неожиданно раздраженным тоном, — а что, если все это неправда, а что, если ты умрешь и ничего там нет, совсем ничего? Тогда к чему вся эта непорочность?

— Если все это неправда, — говорит он ей, а у самого при этой мысли все сжимается внутри, — мир слишком страшен, чтобы ценить

его, и я без сожаления его покину.

— Ну и ну! Да ты такой один на миллион, без шуток. Тебя, наверно, любят до смерти в этой твоей мечети.

— Таких, как я, много, — говорит он ей сухо и одновременно мягко, не без укора. — Некоторые... — он не хочет говорить «черные», поскольку это слово, будучи политически правильным, звучит недобро, — как ты их называешь, являются твоими братьями. Мечеть и ее учителя дают им то, в чем христианские Соединенные Штаты отказывают: уважение и пробу своих сил, а это кое-чего от них требует. Требует самоограничения. Требует воздержания. Америка же хочет, чтобы ее граждане, по словам вашего президента, покупали — тратили деньги, которых у них нет, и тем самым продвигали бы экономику для него и других богачей.

— Он вовсе не мой президент. Если бы я могла в этом году голосовать, я бы его под зад коленом, а на его место посадила бы Эла Шарптона.

— Какая разница, кто сидит в кресле президента. Они все хотят, чтобы американцы были эгоистами и материалистами и играли положенную им роль в стимулировании потребительского интереса. Но человеческая натура требует самоотречения. Она жаждет сказать «нет» миру вещей.

— Ты пугаешь меня, когда так говоришь. Такое впечатление, что ты ненавидишь жизнь. — И она продолжает, раскрывая себя так же свободно, как в пении: — По моему разумению, натура — производное тела, она выходит из него, как цветок выходит из земли. Ненавидеть свое тело все равно что ненавидеть себя, кости и кровь, и кожу, и дерьмо — все, что делает тебя тобой.

Ахмад чувствует себя таким высоким, как тогда, когда стоял над блестящим следом исчезнувшего червя или слизняка, — таким высоким, что голова кружится, когда он смотрит вниз на эту маленькую пухленькую девушку, чье возмущение его стремлением к чистоте делает ее голос и губы такими живыми и быстрыми. Там, где к ее губам подступает кожа ее лица, проходит легкая линия, похожая на круг от какао на внутренней стороне чашки. Он думает о том, чтобы погрузиться в ее тело, и понимает по насыщенности и легкости, с какой появляется эта мысль, что она — от дьявола.

— Не ненавидеть свое тело, — поправляет он ее, — а не быть его рабом. Я смотрю вокруг себя и вижу рабов — рабов наркотиков, рабов причуд, рабов телевизора, рабов спортивных героев, которые и не подозревают об их существовании, рабов нечестивых, рабов бессмысленных мнений других людей. У тебя доброе сердце, Джорилин, но ты движешься напрямиком в ад, лентясь думать. Она остановилась на тротуаре — в пустом месте без деревьев, и он думает, что она остановилась из злости на него, из разочарования, близкого к слезам, а потом вдруг понимает, что эта ободранная дверь с ведущими к ней четырьмя деревянными ступенями, посережшими словно от бесконечного дождя, — дом Джорилин. Он по крайней мере живет в кирпичном многоквартирном доме в северной части бульвара. Он чувствует себя виноватым в ее разочаровании — ведь, предлагая ему пройти с ней, она позволила себе чего-то ждать.

— Ты из тех, Ахмад, — говорит она, поворачиваясь, чтобы войти в дом и ставя ногу на первую ветхую ступеньку, — кто не знает, куда он движется. Ты из тех, кто не знает, какой ждет его чертов конец.

Сидя за тяжелым, старым, круглым коричневым столом, который они с матерью называют «обеденным», хотя никогда за ним не обедают, Ахмад изучает брошюры Домашнего курса правил вождения для получения коммерческих водительских прав, — их четыре, и они связаны вместе. Шейх Рашид помог ему заказать их в Мичигане, выписав чек на 89,50 доллара за счет мечети. Ахмад всегда считал, что грузовики водят простофили вроде Тайленола и его команды в школе, а оказалось, для этого требуется немало знаний, например: все опасные материалы должны быть опознаны для всеобщего сведения путем четырех различных наклеек размером в десять и три четверти дюйма и уложены в форме многоугольника. Речь идет о воспламеняющихся газах, таких как водород, и ядовитых, отравляющих газах, как сжатый фторин; есть и воспламеняющиеся твердые материалы, как мокрый аммониевый пикрат, и самопроизвольно воспламеняющиеся, как белый фосфор, а также воспламеняющиеся, будучи подмоченными, как натрий. Затем есть настоящие яды, как цианистый калий; заразные вещества, как вирус сибирской язвы; радиоактивные вещества, как уран, и разъедающие вещества, как жидкость батареек. Все это перевозится в грузовиках, и о малейшей утечке (в зависимости от токсичности, испаряемости, химической стойкости) следует сообщать ДТ (департаменту транспорта) и АЗОС (Агентству по защите окружающей среды). Ахмада затосило при мысли о бумажной волоките, о всех этих проездных бумагах с номерами, кодами и запретами. Яды нельзя загружать вместе с животными или продуктами питания; опасные материалы — даже в надежно закупоренных канистрах — никогда не должны находиться впереди, рядом с водителем; следует опасаться жары, протечек и внезапного изменения скорости. Помимо опасных веществ, существуют еще и ДРМ (другие регламентируемые материалы), которые могут оказать анестезирующее, или раздражающее, или ядовитое воздействие на водителя и его пассажиров, такие как монохлороацетон или дифенилхлорарзин, а также вещество, которое, пролившись, может повредить грузовик, как, например, жидкий разъедающий бром, натронная известь, гидрохлоридовая кислота, раствор натрия-гидрохлорида и жидкость батареек. Ахмад теперь уразумел, что через всю страну едут опасные

материалы — сталкиваются, вытекают, горят, разъедают дороги и лежанки в грузовиках, — словом, происходит химическая дьявольщина, выявляющая духовный яд материализма. Затем, сообщают ему буклеты, при перевозке жидкостей в грузовиках-танкерах

учитывается

утечка,

иначе

именуемая

«незаполненный объем», то есть количество жидкости, которое может отсутствовать в грузовике, чтобы танкер не взорвался, если его содержимое прольется при перевозке, а температура повысится до ста пятидесяти градусов. Кроме того, водитель грузовика-танкера должен следить за повышением уровня жидкости, что более опасно в танкерах с так называемым гладким стволом, чем в тех, где есть отражательные перегородки или герметически закрытые отделения. Но даже и такие

грузовики на резком повороте могут накрениться и перевернуться. Внезапная остановка на красный свет или у знака «стой» может столкнуть грузовик с впереди стоящим. Однако правила санитарии запрещают возить молоко или фруктовые соки в танкерах с отражательными перегородками — с ними труднее чистить танкеры и отсюда возможно заражение. Перевозки полны опасностей, о которых Ахмад никогда не думал. Его, однако, возбуждает мысль, что он — подобно пилоту «Боинга-727» или капитану супертанкера, или крошечному мозгу бронтозавра — поведет большую машину сквозь хитросплетения страшных случайностей на безопасную стоянку. И он рад видеть в Правилах вождения грузовиков почти религиозную заботу о целомудрии.

Кто-то стучит в дверь — время без четверти восемь вечера. Этот звук, раздавшийся недалеко от стола, где Ахмад занимается при свете старой лампы на подставке, вытягивает его из погружения в незаполненный объем и тоннаж, выброс и утечку. Его мать мгновенно появляется из спальни, которая одновременно служит ей студией, и идет — вернее, спешит — ответить на стук, по дороге взбивая свои редкие рыжие волосы, окрашенные хной и длиной до шеи. Она относится к непонятным вторжениям с большей надеждой, чем Ахмад. А он — через десять дней после посещения службы неверных — все еще нервничает по поводу того, что ступил на территорию Тайленола: этот задира и его команда могут подстеречь его как-нибудь, даже вечером, вызвав из дома.

Не исключено — хотя и едва ли, — что это стучал посланный от шейха Рашида. У наставника Ахмада всего два-три послушника. Последнее время он выглядит на пределе, словно что-то гнетет его, — он кажется Ахмаду такой изящной отточенной частью структуры, на которой лежит большая тяжесть. На прошлой неделе имам показал свой нрав ученику, когда они обсуждали стих из третьей суры: «Пусть неверные не думают, что дни, какие мы отпускаем им, — это хорошие для них дни! Мы отпускаем им эти дни, только чтобы они умножили свои грехи! Уделом их будет позорное наказание!» Ахмад посмел спросить своего учителя, нет ли в этой издевке элемента садизма, как и во многих схожих стихах.

Он отважился сказать:

— Разве цель Бога, изложенная Пророком, состоит не в том, чтобы обратить в свою веру неверных? В любом случае не должен ли Он проявить милосердие, а не злорадствовать по поводу их страданий? Имам сидел к нему в профиль, нижнюю половину его лица скрывала подстриженная борода с проседью. У него был тонкий, с горбинкой, нос и кожа на щеках бледная, но не такая бледная, как у англосаксов или ирландцев, веснушчатая, быстро краснеющая, как у матери Ахмада (тенденция, которую молодой человек, к сожалению, унаследовал), а белая, как воск, даже неподвластная времени, как у йеменцев. Лиловые губы имама дернулись в гуще бороды.

Он спросил:

— А тараканов, что выползают из-под плитусов или из-под раковины, ты жалеешь? А мух, что жужжат над пищей на столе, расхаживают по ней своими грязными лапками, которые только что плясали на фекалиях и на падали, — ты их жалеешь?

По правде, Ахмад жалел их, наблюдая, как целая популяция насекомых копошится у ног святых людей, но, понимая, что любая

оговорка или знак, указывающий на продолжение дискуссии, разозлит учителя, ответил:

— Нет.

— Нет, — не без удовлетворения согласился с ним шейх Рашид и ухоженной рукой слегка подергал свою бородку. — Ты хочешь их уничтожить. Они раздражают тебя своей грязью. Они оккупируют твой стол, твою кухню; они устроятся на пище, которую ты будешь отправлять в рот, если ты не уничтожишь их. У них нет чувств. Они

посланцы Сатаны, и Бог без пощады уничтожит их в Судный день. Бог насладится их страданием. Вот и ты поступай так же, Ахмад. Считать, что тараканы заслуживают милосердия, значит, ставить себя выше арРахима, считать, что ты милостивее Всемилоостивого.

Ахмаду показалось, что, как и с раем, учитель пользуется метафорой в качестве щита от реальности. У Джорилин, хоть она и неверная, есть чувства — они сказываются в том, как она поет и как другие неверные воспринимают пение. Но не дело Ахмада спорить — его дело выучиться, занять отведенное ему место в обширной структуре ислама, видимой и невидимой.

Его мать поспешила открыть дверь, возможно, в ожидании когонибудь из своих друзей-мужчин, однако Ахмад слышит ее голос, удивленный, но не встревоженный, а почтительный. Вежливый усталый голос, слегка знакомый Ахмаду, представляется, как мистер Леви, воспитатель-наставник из Центральной школы. Ахмад вздохнул свободно: значит, это не Тайленол или кто-то из мечети. Но почему мистер Леви явился? После их встречи Ахмаду было не по себе: наставник был явно недоволен планами Ахмада на будущее и проявлял желание вмешаться.

Как он добрался так далеко, до этой двери? Это многоквартирный дом — один из трех, построенных двадцать пять лет тому назад на месте ряда домишек, соединенных друг с другом общей стеной и до того обветшалых и пропитанных наркотиками, что администраторы в Нью-Проспекте

решили

заменить

их

десятиэтажными

многоквартирными домами — все будет лучше. А кроме того, прикинули они, на земле, принадлежащей по праву видным домовладельцам, можно разбить парк с площадками для игр и в дополнение проложить через парк дорогу, что ускорит торговлю с городами, где преобладает «лучший элемент». Однако — совсем как при осушке малярийных болот — проблемы не исчезли: торговлю захватили сыновья бывших перекупщиков наркотиков, а наркоманы стали использовать скамейки в парке, и кусты, и лестницы в домах, а по ночам носились туда-сюда по коридорам. Первоначально планировалось у каждого входа иметь охрану, но городу пришлось провести сокращение бюджета, и в маленьких конторках с телевизорами, показывающими коридоры и входные двери, не всегда сидят люди. Иногда на двери часами висит сделанная от руки надпись:

«Вернусь через 15 минут». По вечерам в это время жильцы и посетители беспрепятственно проникают в здание. Вот так, должно быть, вошел и мистер Леви, проштудировал почтовые ящики, сел в

лифт и постучал в их дверь. И сейчас стоял по эту сторону двери, возле кухни, и более громко и более официально, чем в беседе с Ахмадом, представлялся. Тогда он казался ленивым и до смерти уставшим. Лицо у матери Ахмада пылает, голос звучит пронзительно, и она быстро говорит — она возбуждена этим визитом представителя далекой от нее бюрократии, которая давит на их одинокие жизни. Мистер Леви чувствует ее волнение и старается держаться спокойно.

— Прошу прощения за вторжение в вашу жизнь, — говорит он, обращаясь к некой точке между стоящей матерью и сидящим сыном, который так и не поднялся из-за коричневого стола. — Но когда я попытался позвонить вам по телефону, который значится в школьных бумагах Ахмада, автомат сообщил мне, что телефон отключен.

— Нам пришлось это сделать после катастрофы одиннадцатого сентября, — поясняет мать, все еще немного задыхаясь. — Мы получали звонки, полные такой ненависти. Против мусульман. Я сменила номер, и он не значится в телефонных книгах, хотя телефон и обходится нам на два доллара в месяц дороже. Но это стоит того, уж вы поверьте.

— Мне очень жаль это слышать, миссис... мисс... Маллой, — говорит наставник и в самом деле выглядит опечаленным в большей мере, чем обычно.

— Было всего один или два звонка, — встревает Ахмад. — Ничего страшного. Большинство людей держались спокойно. То есть мне было всего пятнадцать лет, когда это произошло. Кто мог винить меня в этом?

Его мать, с этой своей возмутительной манерой делать из мухи слона, говорит:

— Был не один и не два звонка, уж вы поверьте, мистер Левайн.

— Леви. — Он все хочет объяснить, почему он явился. — Я мог вызвать Ахмада к себе в кабинет в школе, но мне хотелось поговорить с вами, мисс Маллой.

— Пожалуйста, зовите меня Тереза.

— Тереза. — Он подходит к столу и заглядывает Ахмаду через плечо. — Я вижу, уже взялся за дело. Готовишься к главному экзамену. Я уверен, ты понимаешь, что пока тебе не стукнет двадцать один, лучше тройки не жди. Никаких тракторов с прицепом, никаких опасных материалов.

— Да, я знаю, — говорит Ахмад, упорно глядя вниз, на страницу, которую он пытается штудировать. — Но это оказалось интересным. Мне захотелось все это изучить.

— Отлично, мой друг. Для такого умного молодого человека это должно быть совсем просто.

Ахмад не боится доказывать что-то мистеру Леви. Он говорит ему:

— Тут всего куда больше, чем можно подумать. Тут много строгих правил, а потом все эти части грузовика и какой за ними нужен уход. Ведь не хочется, чтобы грузовик сломался — это может быть опасно.

— О'кей, изучай это, сынок. Но не позволяй, чтобы это мешало твоим школьным занятиям — остался еще месяц учиться и полно экзаменов. Ты ведь хочешь окончить школу, верно?

— Да, хочу. — Он не хочет препираться по поводу всего, хотя и обижается на этот намек на угрозу. Они до смерти хотят, чтобы он



окончил школу, чтобы они избавились от него. Окончить ради чего? Чтобы влиться в империалистическую экономическую систему, созданную на благо богатых христиан.

Мистер Леви, слыша, каким неприветливым тоном он разговаривает, спрашивает:

— Ты не возражаешь, если я минутку поговорю с твоей матерью?

— Нет. Почему я стану возражать? И что будет, если я возражу?

— Вы ведь хотели видеть меня? — подтверждает женщина, стремясь прикрыть грубость сына.

— Очень накоротке. Еще раз, миссис... мисс... не важно: Тереза!..

Извините, что тревожу вас, но когда мне что-то не дает покоя, такой уж я человек, что не успокоюсь, пока чего-то не предприму.

— А вы не хотели бы чашечку кофе, мистер?..

— Джек. Моя мать дала мне имя Джейкоб, но люди зовут меня

Джек. — Он смотрит на ее лицо, красное, в веснушках, с встревоженными глазами навывкате. Она явно стремится угодить.

Родители больше не уважают школьный персонал, как прежде, а для

некоторых родителей ты враг, как и полиция, — только смехотворный, потому что у тебя нет оружия. Но эта женщина, хоть она и более молодого, чем он, поколения, однако, подозревает он, достаточно взрослая, чтобы получить образование в приходской школе и научиться уважению у монахинь. — Нет, благодарю, — говорит он ей. — В любом случае я плохо сплю.

— Я могу дать вам без кофеина, — предлагает она уж слишком настырно. — Вы пьете растворимый? — Глаза у нее светло-зеленые, как были в прошлом бутылки для кока-колы.

— Вы меня соблазнили, — сдается он. — Только, если можно, побыстрее. Куда можем мы пройти, чтобы не мешать больше Ахмаду? На кухню?

— Там слишком неопрятно. Я еще не вымыла посуду. Надеюсь порисовать, пока есть какие-то силы. Пойдемте в мою студию. У меня есть там плитка.

— В студию?

— Я так это называю. Я там и сплю. Не обращайтесь внимания на постель. Приходится использовать эту комнату для всех моих нужд, чтобы у Ахмада была своя жизнь в своей комнате. Мы многие годы жили с ним в одной комнате, — пожалуй, слишком долго. В этих дешевых квартирах стены точно бумажные.

Она открывает дверь, из которой вышла десять минут тому назад.

— Ого! — произносит Джек Леви, входя. — Ахмад, по-моему, говорил мне, что вы рисуете, но...

— Я стараюсь создавать вещи более крупные и более яркие. Я вдруг осознала, что жизнь так коротка — зачем заботиться о деталях? Перспективу, тени, ногти... всего этого люди не замечают, а ваши коллеги, другие художники, обвиняют вас в том, что вы иллюстратор. Некоторые из тех, с кем я постоянно имею дело, как, например, магазин подарков в Риджвуде, который много лет продает мои картины, немного озадачены этим избранным мною новым направлением, а я говорю им: «Ничего не могу с собой поделаться — такой я выбрала путь». Если не растешь, тогда умираешь, верно? Обойдя небрежно застеленную постель с неровно подотканным одеялом, он, прищурясь, уважительно оглядывает стены.

— Вы действительно продаете это?

И тотчас жалеет, что так выразился. Она занимает оборонительную позицию.

— Не всё. Даже Рембрандт и Пикассо не все продавали сразу.

— О нет, я не то имел в виду... — оправдывается он. —

Поразительные у вас картины... входя к вам, не ожидаешь такого.

— Я экспериментирую, — говорит она, смягчаясь и желая продолжить разговор, — работаю прямо из тюбика. А зритель смешивает краски своим глазом.

— Потрясающе, — говорит Джек Леви, надеясь закончить эту часть беседы. Это не его область.

Она разогревает чайник с водой на маленькой электроплитке, что стоит на письменном столе, крышка которого вся в пятнах от пролитых или вытертых красок. Леви находит ее картины весьма дикими, но ему нравится здешняя атмосфера, беспорядок и падающий сверху льдистобелый флюоресцентный свет. Запах краски действует на него, как запах деревянных стружек, когда в далекие времена вещи создавали вручную, сидя согнувшись, в своих коттеджах.

— Может, вы предпочитаете чай из трав? — говорит она. — От настоя ромашки я засыпаю как младенец. — Она бросает на него взгляд, проверяя. — Вот только через четыре часа просыпаюсь. — Она не добавляет: «Потому что надо пописать».

— Да, — говорит он. — В этом проблема.

Получив отпор и понимая это, она краснеет и занимается чайником, из дырки в крышке которого уже идет струйка пара.

— Я забыла, что вы сказали про чай. Ромашка или что?

Он противится этому стремлению женщины следовать новым веяниям. Следующим шагом будет появление хрусталя и китайских палочек.

Он говорит:

— По-моему, мы договорились о растворимом кофе, хотя он всегда бывает обжигающе горячим.

Она по-прежнему очень красная под россыпью веснушек.

— Если вы так считаете, то, может, вообще ничего не хотите.

— Нет, нет, мисс... миссис... — Он перестает пытаться ее назвать. — Что угодно мокрое и горячее устроит меня. Что угодно. Вы очень любезны. Я не ожидал...

— Я приготовлю кофе без кофеина и посмотрю, что там делает Ахмад. Он не любит заниматься, когда я не заглядываю в общую комнату: он, понимаете ли, считает, что иначе не получает признания за свои труды!

Тереза исчезает, а когда снова появляется с пузатой банкой коричневой пудры в руке — крепкой рабочей руке с короткими ногтями, — Джек уже выключил плитку, чтобы кипящая вода не вылилась. Ее материнские обязанности заняли несколько минут: Джек слышал ее подтрунивавший высокий женский голос и чуть более низкий голос сына, который — так знакомо Джеку по школе — нудил и бурчал в ответ что-то нечленораздельное, словно само существование взрослых являлось для молодежи жестоким и ненужным испытанием. Джек пытается построить на этом разговор:

— Значит, вы видите в вашем сыне весьма типичного среднего восемнадцатилетнего парня?

— А разве он не такой?

Ее материнские чувства уязвлены — она выкатывает на него свои зеленые, как бериллы, глаза с бесцветными ресницами, которые она, должно быть, время от времени красит, но не сегодня и не вчера. Волосы у линии волос у нее более светлого, более мягкого оттенка, тогда как на макушке они металлически-рыжие. Положение ее губ, — а пухлая верхняя губа слегка приподнята, как бывает у напряженно слушающих людей, — говорит о том, что он исчерпал ее запас дружелюбия. Он понимает, что она — человек решительный — теряет терпение.

— Возможно, — говорит он ей. — Но что-то сбивает его с толку. — И Джек переходит к делу, которое привело его сюда: — Послушайте. Он же не хочет быть шофером грузовика.

— Не хочет? А он считает, что хочет, мистер...

— Леви, Тереза. Звучит, как «Полевее», только пишется иначе.

Кто-то по какой-то причине давит на Ахмада. Он может иметь работу куда лучше, чем быть шофером грузовика. Он умный, подтянутый малый, у него на многое свои взгляды. Я хочу, чтобы он набрал каталогов местных колледжей, куда еще можно поступить. Для поступления в Принстон и Пени уже слишком поздно, но в колледж Нью-Проспекта — вы наверняка знаете, где он находится: наверху, за водопадами, — а также в Фейрлей-Диккинсон и в Блумфилд он может

попасть и может ездить в любой из них, если вам не осилить для него комнату и питание. Главное для него — начать где-то, и в зависимости от того, как у него пойдут дела, надеяться, что он сможет перебраться в заведение получше. Любой колледж, сообразуясь со своей политикой, хочет многообразия, и вашего мальчика с выбранной им религией и — извините — при его этнической мешанине меньшинства с меньшинством... да они сцапают его.

— А чему он будет учиться в колледже?

— Чему все учатся: будет изучать науку, искусство, историю.

Историю человечества, цивилизации. Как мы дошли до того, что имеем сегодня и что будет дальше. Социологию, экономику, даже антропологию — что больше увлечет его. Дайте ему самому определиться. Немногие студенты в наши дни сразу осознают, чего они хотят, да и те, что знают, — меняют свое мнение. В этом задача колледжа — дать вам возможность изменить свое мнение, чтобы вы лучше приспособились в двадцать первом веке. Вот я уже не могу. Когда я учился в колледже, кто слышал про компьютерную науку? Кто знал про геномы и как они могут прокладывать путь эволюции? Вот вы — вы ведь намного моложе меня, — возможно, сможете измениться. Эти ваши картины в новом стиле — вы уже положили этому начало.

— На самом-то деле они, право же, в очень консервативном стиле, — говорит она. — Старомодные абстракции. —

Распахнувшиеся было губы закрылись: его высказывание о живописи было глупым.

А он спешит завершить свой бросок:

— Так вот Ахмад...

— Мистер Леви. Джек. — Она стала другим человеком, сидя со своим обжигающим кофе без кофеина на некрашеном и никогда не бывшем полированном кухонном табурете. Она закуривает сигарету и ставит на перекладину ногу в синей парусиновой туфле на каучуковой подошве, затем кладет на нее другую ногу. Ее брюки — белые джинсы

в обтяжку — обнажают щиколотки. Голубые вены испещряют белую кожу, белую ирландскую кожу; щиколотки костистые, тонкие по сравнению с мякотью остального тела. Бет на двадцать лет больше, чем этой женщине, и за это время тело ее опустилось, вылезло из туфель и скрыло всю анатомию ее зада. А Джек, хотя он и выкуривал в

день по две пачки «Олд Голдс», теперь стал не выносить, когда другие курят даже в школьной учительской, — дым горящего табака хорошо знаком ему, но граничит с чем-то скандальным. Наигранная манера закуривать, вдыхать дым и с силой его выбрасывать из поджатых губ придает Терри — а так она подписывает, крупно и четко, свои картины, без фамилии, — уверенность. — Джек, я ценю ваш интерес к Ахмаду и оценила бы еще больше, если бы школа проявила интерес к моему сыну раньше, чем за месяц до выпуска.

— Мы там завалены работой, — прерывает он ее. — Две тысячи учеников, и половину из них было бы по праву назвать недееспособными. Так что внимание уделяется наиболее скрипучим колесам. Ваш сын никогда не устраивал скандалов — в этом его ошибка.

— Не важно, на данной стадии его развития он понимает, что колледж предлагает ему перечисленные вами предметы, а это часть лишенной Бога западной культуры, и он не хочет больше заниматься ею, если можно этого избежать. Вы говорите, он никогда не устраивал скандалов, но все куда сложнее: он считает своих учителей скандальными — многословными и циничными и думающими только о своих ежемесячных чеках, о том, как бы укоротить часы работы и летом отправиться на каникулы. Он считает, что они подают плохой пример. Вы слышали такое выражение: «Превыше всего»? Леви только кивает, давая этой ставшей самоуверенной женщине выговориться. Все, что она способна рассказать про Ахмада, может оказаться полезным.

— Мой сын выше всего этого, — утверждает она. — Он верит исламскому Богу и тому, что говорит ему Коран. Я, конечно, не могу этому верить, но я никогда не пыталась подорвать его веру. Для человека, ни во что особенно не верящего, как я, которая порвала с католицизмом в шестнадцать лет, его вера кажется такой прекрасной. Значит, красота — вот что ею движет: попытки воспроизвести красоту на стене, все эти высыхающие сладкопахнущие краски, а мальчику предоставлено засыхать в гротесковом жестоком суеверии. Леви спрашивает:

— Как ему удалось стать таким... таким хорошим? Вы поставили себе целью вырастить его мусульманином?

— Нет, что вы, — говорит она, изображая этакую крутую женщину, глубоко затягиваясь, так что глаза ее горят не менее ярко, чем кончик сигареты. И, услышав себя, она смеется словам. — Как вам нравится такой фрейдистский сдвиг? «Нет, in nomine Domini[23]». Ислам ничего не значил для меня — точнее: меньше чем ничего, у меня было к нему даже отрицательное отношение. Не больше он значил и для отца Ахмада. Омар никогда на моих глазах не ходил в мечеть, и всякий раз, как я пыталась завести на эту тему разговор, замыкался и вид у него становился сердитым, словно я влезала не в свое дело. «Женщина должна служить мужчине, а не пытаться им завладеть», — говорил он, словно цитируя Священное Писание. А он

это сам придумал. Каким же он был, право, помпезным шовинистическим дерьмом. Но я была молоденькая и была влюблена — влюблена в него главным образом, понимаете ли, из-за экзотики, как в представителя третьего мира, обманщика, а то, что я вышла за него замуж, показывало, какая я либералка и насколько свободна от предрассудков.

— Я понимаю это чувство. Я — еврей, а жена у меня была лютеранкой.

— Была? Она что, сменила религию, как Элизабет Тейлор? Джек Леви громко хмыкает и, продолжая сжимать свои невостребованные каталоги колледжей, признается:

— Не следовало мне говорить «была». Она не меняла религии — просто перестала ходить в церковь. А вот ее сестра, которая работает на правительство в Вашингтоне, тесно связана с церковью, как и все там утвердившиеся в вере. А с Элизабет, возможно, так происходит потому, что единственная лютеранская церковь здесь — литовская, Элизабет же не представляет себя литовкой.

— Красивое имя — Элизабет. Из него можно столько разных имен наделать. Лиза, Лиззи, Бет, Бетси. А из имени Тереза можно сделать только одно — Терри, но оно звучит как мальчишечье.

— Или как имя художника-мужчины.

— Вы это заметили. Да, я так подписываюсь, потому что художницы всегда представлялись менее значительными, чем мужчины, независимо от того, какие великие полотна они создавали. Подписываясь таким образом, я заставляю людей гадать.

— С Терри можно многое изобрести. Терри-ткань. Терри-страх. Терри-ужас. А есть еще такое слово — территуны.

— Это что такое? — спрашивает она испуганно. Хотя она и изображает из себя женщину уравновешенную, на самом деле она — женщина слабая, вышедшая замуж за ниггера, как называли бы его ее братья-ирландцы и отец. Не такая она мать, которая может твердо руководить сыном, — она скорее уступит сыну бразды правления.

— О, это из давних времен — мультипликации, которые показывали перед фильмом. Вы слишком молоды, чтобы это помнить. Когда становишься древностью, одна из особенностей — помнишь то, чего никто больше не помнит.

— Вы вовсе не древность, — машинально говорит она. А мысленно уже перескочила на другое. — Я, наверно, видела их, когда смотрела телевизор с маленьким Ахмадом. — И снова мысленно перескакивает на другое. — Омар Ашмави был красавцем. Я считала его похожим на Омара Шарифа. Вы видели его в «Докторе Живаго»?

— Только в «Забавной девчонке». И я пошел смотреть этот фильм из-за Стрейзанд.

— Конечно.

Она улыбается, при этом короткая верхняя губа обнажает некрасивые зубы ирландки с выдвинутыми вперед верхними клыками. Они с Джеком дошли до той стадии, когда что бы ни говорили друг другу — все приятно, все воспринимается так. Она сидит, скрестив ноги, на высоком некрашеном табурете и прихорашивается, вытягивая шею и медленно вибрируя спиной, словно расслабляя мышцы после работы стоя у мольберта. Насколько серьезно она над своими вещами работает? Он подозревает, что она может сварганить три картины в день, если постарается.

— Красавец, значит? А ваш сын...  
— И он фантастический игрок международного класса в бридж, — говорит она, не перепрыгивая на другое.  
— Кто? Мистер Ашмави? — спрашивает он, хотя, конечно, понимает, кого она имеет в виду.  
— Нет, глупенький, другой. Шариф.  
— А у вашего сына — я пытался спросить его об этом — есть в его комнате фотография отца?  
— Какой странный вопрос, мистер...

— Да ну же. Леви. От слова «левак», который не платит налогов. А налоги идут на школы. Или на сооружение этих штуквин, которые удерживают Миссисипи от наводнения. Найдите ассоциацию — я, например, так запоминаю имена. Вы способны на такое, Территуна.  
— Вот что я хотела сказать, мистер Созвучный с леваком: вы, должно быть, умеете читать мысли. Только в этом году Ахмад взял фотографии отца, какие были у него в комнате, и положил лицом вниз в ящик. Он заявил, что это богохульство — множить изображения человека, которого сотворил Бог, — своего рода подделка, как он объяснил. Предмет воровства — вроде мешочков фирмы «Прада», которые нигерийцы продают на улице. Интуиция подсказывает мне, что это внушил ему этот ужасный учитель в мечети.  
— Кстати, об ужасном, — быстро произнес Джек Леви. Сорок лет тому назад он считал себя острословом, умеющим быстро подать реплику. Он даже мечтал вступить в команду, которая писала остроумные тексты для евреев-комиков на телевидении. В колледже он слыл мудрецом и человеком, который не лезет за словом в карман. — Чем он ужасен? — спрашивает он. — Почему ужасен? Жестом и глазами указав на другую комнату, где Ахмад, возможно, сидит и слушает, а вовсе не учится, она понижает голос до шепота, так что Джек вынужден придвинуться к ней.  
— Ахмад часто возвращается со свидания с ним расстроенным, — говорит она. — По-моему, этот человек — я познакомилась с ним, но не близко — недостаточно для Ахмада убежден в своей вере. Я понимаю: сыну моему восемнадцать лет, и он не должен быть таким уж наивным, тем не менее он все еще ожидает от взрослых полнейшей искренности и уверенности во всем. Даже в сверхъестественном.  
Леви нравится то, как она говорит: «сыну моему». В этом чувствуется бóльшая интимность отношений, чем ему показалось по интервью с Ахмадом. Возможно, она из тех одиноких женщин, которые пытаются брать твердостью, но в то же время она умеет и приласкать.  
— Я спросил про портрет его отца, — говорит он ей, заговорщически понизив голос, — потому что подумал, не привела ли Ахмада... его вера к классической переоценке. Вы понимаете... в этом нет ничего плохого. Такое часто наблюдается в... в... — Почему он все время об этом талдычит? — ...черных семьях, где дети идеализируют отсутствующего отца и всю свою злость выливают на бедную маму, которая из сил выбивается, чтобы сохранить крышу над их головой. Тереза Маллой обижается: она сидит на стуле, прямая как жердь, — он чувствует, как твердое дерево сиденья врезается в ее напрягшийся зад.

— Вы так представляете себе нас, матерей-одиночек, мистер Леви? Значит, мы глубоко недооценены и растоптаны? «Матери-одиночки», — думает он. Какой вычурный, сентиментальный, полувоенный термин! Какой нудный получается в наши дни разговор с собеседником из любой группы населения, кроме обороняющихся белых мужчин, которые поднимают вверх сжатый кулак!

— Нет, вовсе нет, — возвращается он к прерванному разговору. — Я считаю, что матери-одиночки — потрясающие люди, Терри, только они и удерживают наше общество от распада.

— У Ахмада, — говорит она, мгновенно чуточку расслабляясь, как бывает с восприимчивыми женщинами, — нет иллюзий относительно своего отца. Я очень ясно объяснила ему, каким никчемным был его отец. Авантюрист, никчемная бестолочь — он ни разу за пятнадцать лет не прислал нам даже открытки, не говоря уж о каком-нибудь вонючем чеке.

Джеку нравится это «вонючем» — быстро она расслабляется. На ней вместо блузы художника мужская синяя рабочая рубашка, со свисающими полами и карманами, обрисовывающими ее груди.

— Брака у нас не получилось, — признается она по-прежнему тихим голосом, чтобы Ахмад не слышал. Словно растягивая рамки этого дополнительного признания, она, как кошка, выгибает спину, сидя на высоком голом табурете, выпячивает на дюйм грудь. — Мы оба с ним просто рехнулись, считая, что должны пожениться. Каждый из нас думал, что у другого есть ответы на все вопросы, а ведь мы даже говорили буквально на разных языках. Хотя по справедливости он не так плохо говорил по-английски. Он изучил язык в Александрии. Еще и это привлекло меня к нему — его небольшой акцент, этакая шепелявость, почти как у англичан. Он казался таким рафинированным, когда говорил. И был всегда такой аккуратный, с начищенными ботинками, причесанный. Густые, черные как смоль

волосы, каких никогда не увидишь у американца, с легким завитком за ушами и на шее, ну и конечно, кожа — такая гладкая и ровная, более темная, чем у Ахмада, но идеально матовая, словно крашеная ткань, оливково-бежевая, отливающая ламповой сажой, но не пачкающая руку...

«О Господи, — подумал Леви, — как ее понесло! Да она сейчас начнет мне рассказывать, какой багровый член у этого представителя третьего мира».

Она чувствует его неприязнь и, сдерживаясь, говорит:

— Не волнуйтесь: Ахмад его не переоценивает. Он, как положено, презирает своего отца.

— Скажите, Терри. Если бы отец Ахмада был тут, вы думаете, он решил бы стать по окончании школы водителем грузовика, при его-то отметках за тест академических способностей?

— Не знаю. Омар даже водителем не мог бы стать. Он замечтался бы и съехал с дороги. Он был никчемный водитель: даже тогда, считаясь покорной молодой женой, я садилась за руль всякий раз, как ехала с ним в машине. Я говорила ему: «Ведь речь идет и о моей жизни». Я спрашивала его: «Как ты намерен стать американцем, если не умеешь вести машину?»

Каким образом Омар стал предметом их разговора? Неужели Джек Леви — единственный на свете человек, которого интересу

будущее юноши?

— Вы должны помочь мне, — взволнованно говорит он матери, — чтобы будущее Ахмада больше соответствовало его потенциалу.

— Ох, Джек, — говорит она, небрежно поводя сигаретой и слегка качнувшись на своем табурете, этакая сибилла, вещающая, сидя на треножнике. — Да разве люди не обнаруживают свой потенциал, как вода свой уровень? Я никогда не считала людей кусками глины, из которой лепят. Образ человека уже сидит внутри его, с самого начала. Я относилась к Ахмаду как к равному с тех пор, как ему исполнилось одиннадцать, когда он начал так интересоваться религией. Я поощряла его в этом. Я забирала его из мечети после школы в зимние месяцы. Должна сказать, этот его имам почти ни разу не вышел, чтобы поздороваться. Могу сказать, ему неприятно было пожимать мне руку. Он никогда не проявлял ни малейшего желания обратить меня в свою

веру. Если бы Ахмад ступил на другой путь, если бы он совсем отвернулся от Бога, как я, я бы и это ему позволила. Для меня религия складывается из отношения. Это как сказать «да» жизни. Ты должен верить, что в этом состоит цель, или ты пойдешь ко дну. Когда я рисую, я просто обязана верить, что родится красота. Создавая абстракции, ты не изображаешь красивый пейзаж или вазу с апельсинами — ты передаешь, что сидит в тебе. Иными словами, надо закрыть глаза и прыгнуть. Надо сказать «да».

Выговорившись, она перегибается к своему рабочему столу и гасит сигарету в банке, служащей пепельницей. От этого усилия рубашка плотнее обтягивает ее грудь, а глаза выкатываются. Она обращает взгляд своих светло-зеленых, как стекло, глаз на своего гостя и добавляет, словно только что об этом подумав:

— Если Ахмад так верит в Бога, пусть Бог и заботится о нем. — И, смягчая то, что могло показаться бесчувственным и сказанным бездумно, произносит со слезой: — Ваша жизнь не должна находиться под контролем. Мы же не контролируем наше дыхание, наше пищеварение, биение нашего сердца. Надо пользоваться жизнью. Пусть случится что случится.

Их разговор стал таким странным. Она почувствовала его смятение, его отчаяние в четыре часа утра и теперь успокаивает его, массируя своим голосом. Ему это нравится, но до того момента, когда женщины начинают обнажать перед ним свою душу. Однако он уже слишком долго пробыл тут. Бет будет недоумевать: он сказал ей, что должен завернуть в Центральную школу за материалами.

— Спасибо за кофе без кофеина, — говорит он. — Меня уже стало клонить в сон.

— Меня тоже. А мне надо быть на работе в шесть.

— В шесть?

— Ранняя смена в Сент-Фрэнсисе. Я помощница медсестры. Я никогда не хотела быть медсестрой — слишком хорошо надо знать химию, ну и потом обладать административными способностями: это так же важно для сестер, как и для врачей. А помощники медсестер делают то, что раньше делали сестры. Я люблю работать руками — делать для людей то, в чем они нуждаются. Подавать судно. Вы же не думаете, что я живу на это? — И она указывает своими умелыми руками с коротко стриженными ногтями на пестрые стены.



— Нет, — признается он.

А она небрежно продолжает:

— Это мое хобби, мое самоутешение — мое блаженство, как несколько лет назад говорил тот мужчина на телевидении. Кое-что, конечно, покупают, но это едва ли важно для меня. Живопись — моя страсть. А у вас нет страсти, Джек?

Он отступает: она начинает казаться одержимой, этакая жрица на своем треножнике со змеями в волосах.

— В общем, нет. — Утром он встает с кровати, сбрасывая с себя одеяло, словно свинцовую плиту, и, нагнув голову, сбывшись, устремляется провожать детей, покидающих школу и погружающихся в трясину мира. — А вы никогда не думали, ухаживая за больными, — не удержавшись, добавляет он, — посоветовать Ахмаду стать врачом? У него есть чувство собственного достоинства, хорошая внешность. Будь я болен, я бы доверил ему свою жизнь.

Глаза

ее

сощуриваются,

она

становится

практичной

«простолюдиной», как говорила ее мать главным образом про других женщин.

— Медицинское образование, Джек, — это долгая и дорогая тягота. И врачи — уж я это знаю — все время жалуются на обилие бумажной волокиты и на то, как ими командуют страховые компании. В свое время это была профессия, пользовавшаяся уважением и дававшая приличные деньги. Но медицина теперь не та, чем была раньше. Со временем она будет так или иначе национализирована, и врачи будут получать, как школьные учителя.

Он смеется этой маленькой выдумке. У нее полно живых придумок.

— И в этом нет ничего хорошего, — признает он.

— Дайте ему найти свою страсть, — советует она наставнику. —

На данный момент это грузовики, жажда передвижения. Он говорит мне: «Мам, я должен повидать мир».

— Насколько я понимаю, имея лицензию коммерческого водителя, он увидит до двадцати одного года только Нью-Джерси.

— Это уже начало, — говорит она и соскальзывает с табурета.

Она не застегнула две верхние пуговицы своей испачканной краской мужской рабочей рубашки, и он видит, как подпрыгивают ее груди. В этой женщине содержится много «да».

Но разговор окончен: уже восемь тридцать. Леви тащит невостребованные каталоги колледжей через комнату, где все еще занимается парень, и останавливается у старого громоздкого темного круглого стола, доставшегося от кого-то в наследство и напомнившего ему унылую громоздкую мебель, что стояла в доме его родителей и дедов на Тотова-роуд, где он вырос. Сзади шея Ахмада кажется уязвимо тонкой, а поверху его аккуратных, прижатых ушей рассыпаны унаследованные от матери веснушки. Леви, пошатываясь, опускает каталоги на край стола и через белую рубашку дотрагивается до плеча парня.

— Ахмад, пролистай их, когда у тебя будет время, и посмотри, не

заинтересует ли тебя что-нибудь настолько, чтобы поговорить об этом со мной. Еще не поздно изменить свое решение и подать бумаги.

Парень, почувствовав прикосновение, откликается:

— Вот тут кое-что интересное, мистер Леви.

— Что же? — Леви легче общаться с парнем после разговора с его матерью.

— Вот типичный вопрос, который они зададут.

Леви читает через его плечо:

55. Вы ведете грузовик-цистерну, и передние колеса начинают скользить. Что скорее всего вы должны предпринять?

а. Вы повернете руль, насколько необходимо, чтобы удержать контроль над машиной.

б. Выброс жидкости выправит трейлер.

в. Выброс жидкости выправит тягач.

г. Будете ехать прямо и продолжать вести машину независимо от того, сколько придется рулить.

— Похоже, ситуация весьма скверная, — признает Леви.

— Каков, по-вашему, должен быть ответ?

Ахмад учуял приближение Леви, затем почувствовал бесцеремонное отвращающее прикосновение. А теперь еще рядом с его головой живот Леви, его тепло и запах, несколько запахов — смесь пота и алкоголя, еврейства и безбожия, нечистый запах, порожденный разговором с матерью Ахмада, смущающей его матерью, которую он

старается спрятать, сохранить для себя. Два взрослых голоса омерзительно флиртовали, двое немолодых нечестивых животных сближались в соседней комнате. Мистер Леви, накупавшись в ее болтовне, ее непреодолимом желании навязать миру сентиментальное представление о себе, теперь счел, что имеет право выступить перед ее сыном в роли отца, друга. Жалость и самоуверенность подтолкнули его к этой неслыханной пахучей близости. Однако Коран требует от правоверных учтивости — этот еврей хоть и незваный гость, но все же гость в шатре Ахмада.

Незваный гость не спеша отвечает:

— Не знаю, мой друг. С выбросом жидкости мне не часто приходится иметь дело. Я, пожалуй, выбрал бы «а» — поворот руля.

Ахмад говорит тихо, скрывая бурлящее в нем ликование:

— Нет, правильный ответ «г». Я нашел его на странице ответов, которую нам дают.

В находящемся возле его уха животе раздается урчание, и из находящегося выше невидимого лица раздается:

— Хм... Да не забивай себе голову вождением. Того рода, о чем рассказывала мне твоя мать. Расслабься. Последуй своему счастью.

— Через некоторое время, — поясняет Ахмад, — грузовик сам потеряет скорость.

— Такова воля Аллаха, — говорит мистер Леви, пытаюсь сострить или проявить дружелюбие, пытаюсь протиснуться туда, где накрепко заперто нутро Ахмада, накачанное Всеобъемлющим.

Граница Центральной школы и ее обширных в прошлом угодий с частной собственностью города стала с годами более сложной, когда неогороженные игровые поля протянулись за ней вплоть до улицы, застроенной домами в викторианском стиле, до того разнообразными и стоящими так далеко друг от друга, что казалось, это находится не в

городе, а в предместье. Этот район к северо-западу от потрясающего Городского совета был обиталищем среднего класса, наживавшего деньги на фабриках, расположенных вдоль реки, неподалеку от многоквартирных домов в нижней части процветавшего тогда центра. Но эти, похожие на загородные, дома, вспоминает Джек, стали сдавать в аренду. Подрядчики в погоне за прибылью разбили их на квартиры и разделили большие лужайки перед ними, а то и вовсе их

ликвидировали, чтобы возвести там солидные блоки дешевых двоярных домов. Рост населения и вандализм сказались на зеленых просторах школьной собственности и со временем вынудили пойти на то, что различные городские советы сочли удачным и выгодным шагом, а именно: перенести футбольное поле, которое весной превратилось в беговые дорожки, а также бейсбольное поле, дальняя часть которого в сезон футбола становилась футбольным полем для юниоров, на купленную землю всего в пятнадцати минутах езды на автобусе, принадлежавшую ранее молочной ферме «Молочное хозяйство Уилан и сыновья», чье молоко снабжало кальцием кости многих поколений молодых обитателей Нью-Проспекта. А указанные выше поля превратились в скученные трущобы.

Большая школа и ее многочисленные службы были затем обнесены стеной итальянскими каменщиками, чье сооружение было впоследствии увенчано сверкающими витками колючей проволоки. Замуровывание произошло постепенно — в ответ на различные жалобы и инциденты с причиненным ущербом и малеванием граффити. Обезображенные ржавеющие части зданий создавали неожиданные уголки уединения — так было с несколькими квадратными ярдами потрескавшегося цемента, находившимися рядом с наполовину похороненным желтым кирпичным зданием, где в свое время стояли гигантские котлы, которые работали на угле и посылали поистине нокаутировавшие струи пара в каждую классную комнату. На одной желтой кирпичной стене висит баскетбольный щит, на котором кольцо корзины накрепко почти вертикально мальчишками, в подражание профессионалам которые забрасывают мяч и повисают на нем. В двадцати шагах оттуда, в основном здании, двойные двери с противоударными рейками на внутренней стороне в теплую погоду открыты настежь; за ними — стальная лестница, которая ведет в подвальное помещение, в разных концах которого находятся раздевалки для мальчиков и девочек, а между ними — кафетерий и лавки, торгующие деревянными и механическими изделиями для учеников. А под ногами сквозь трещины в цементе пробиваются ползучие сорняки, и коровяк, и одуванчики, и разные крошечные, блестящие, как кофейные зерна, частицы земли, которая лежит под цементом и которую вытащили на поверхность муравьи. А там, где цемент был сильно поврежден и превращен в порошок, корни пустили

более высокие растения — портулак, и кирказон змеевидный, и подмаренник, и различные виды маргариток, протягивающие тощие ростки удлиняющемуся дневному свету.

В этом грязном, заброшенном месте, ни на что не годном со своей деформированной баскетбольной корзиной, — разве что для того, чтобы курнуть, или нюхнуть наркотика, или глотнуть спиртного, или устроить схватку между поссорившимися мальчишками, Тайленол подступает к Ахмаду, который все еще в шортах для бега. Школьный

автобус привез его на стоянку после занятий спортом на бывшей ферме, что в пятнадцать минут езды от школы. Сегодня у Ахмада десять минут на то, чтобы принять душ, переодеться и пробежать семь кварталов до мечети на свой урок Корана, который бывает два раза в неделю; он надеялся немного сократить путь, пройдя через двойные двери, которые должны быть открыты. В это время, когда занятия в школе уже давно закончились, здесь обычно пусто, разве что два-три девятиклассника, смирившись с тем, что корзина висит под таким углом, воспользуются ею, чтобы побросать мяч. Но сегодня, словно благодатная погода решила устроить передышку, тут собралась разношерстная группа черных и латиноамериканцев — на их принадлежность к той или иной команде указывали синие и красные пояса на свисающих широких трусах да ленты на голове и облегающие голову шапочки.

— Эй! Ты, араб!

Тайленол стоит прямо перед ним с несколькими другими парнями в обтягивающих мускулатуру синих майках. Ахмад чувствует свою уязвимость — он почти голый в коротких трусах для бега, полосатых носках, легких кроссовках и майке, промокшей от пота спереди и на спине, где темные пятна похожи на бабочек; он сознает, что выглядит красиво со своими длинными голыми ногами, а красота оскорбляет головорезов во всем мире.

— Ахмад, — поправляет он и стоит, застыв, чувствуя, как из пор выходит жар, возникший от напряжения, от бега и раздражающих сердце прыжков. Он весь блестит, и глубоко сидящие глазки Тайленола сужаются, глядя на него.

— Я слышал, ты ходил в церковь послушать, как поет Джорилин. С чего бы это?

— Она попросила меня.

— Ни черта подобного. Ты же араб. Ты не ходишь туда.

— А вот и пошел. Люди там дружелюбные. Одно семейство поздоровалось со мной за руку и улыбалось мне.

— Они про тебя не знали. Ты пришел туда под фальшивой маской.

Ахмад стоит, расставив для равновесия ноги в легких туфлях, приготовившись к нападению со стороны Тайленола.

Но уязвленная насупленность сменяется ухмылкой.

— Вас видели, как вы вдвоем шли потом.

— После службы — да. Ну и что?

Вот теперь он уж наверняка набросится. Ахмад планирует боднуть его головой слева, а правой рукой садануть Тайленолу по мягкому животу и быстро поднять колено. Но ухмылка противника расплывается в широкую улыбку.

— Ну и ничего, по ее словам. Она попросила меня кое-что сказать тебе.

— Вот как?

Другие мальчишки, приспешники в синих майках, слушают.

Ахмад планирует, оставив Тайленола глотать воздух и лежать, сжавшись, на цементе, пробиться сквозь изумленных зрителей и бежать в относительную безопасность школы.

— Она говорит, что терпеть тебя не может. Джорилин говорит, что она гроша ломаного за тебя не даст. Ты знаешь, что это такое, араб?

— Слыхал. — Он чувствует, как застывает лицо, точно покрывается слоем чего-то теплого.

— Так что меня больше не волнуют твои отношения с Джорилин, — в заключение произносит Тайленол чуть ли не дружелюбно. — Мы смеемся над тобой, оба. Особенно когда я употребляю ее. А мы последнее время здорово наяриваем. А вы все, арабы, ни черта не получаете, ублажая сами себя. Все вы — педики. Небольшая аудитория вокруг гогочет, а Ахмад чувствует по тому, как горит лицо, что покраснел. Его это приводит в такую ярость, что когда он слепо протискивается сквозь мускулистые тела к дверям, ведущим в раздевалку, зная, что уже опоздал принять душ, опоздал на урок, никто не задерживает его. Вместо этого позади раздаются свистки и уханье, словно он — белая девушка с красивыми ногами.

Мечеть, самая скромная из нескольких существующих в НьюПроспекте, занимает второй этаж над салоном маникюра и конторой

оплаты чеков, в ряду лавочек, среди которых ломбард с пыльными окнами, магазин подержанных книг, мастерская по ремонту обуви и производству сандалий, китайская прачечная, куда ведут несколько ступенек вниз, пиццерия и лавочка, специализирующаяся на ближневосточных продуктах — сухой чечевице и горохе фава, пюре из нута и халве, фалафели и кускусе в простой упаковке с надписью, казавшейся — из-за отсутствия картинок и крупного шрифта — странной глазам американца Ахмада. На четыре с чем-то квартала на запад протянулся так называемый «Арабский сектор», который сначала заселили турки и сирийцы, работавшие красильщиками и сушильщиками на старых фабриках, которые стоят вдоль этой части Мэйн-стрит, но Ахмад никогда туда не суется — его познание исламской самобытности ограничивается мечетью. Мечеть завладела им в одиннадцать лет, дала ему новое рождение.

Он открывает облезлую зеленую дверь дома № 2781½, между салоном маникюра и конторой, чье большое окно закрыто длинными светлыми венецианскими ставнями, на которых надпись: «Оплачиваем чеки — за минимальный процент». Узкая лестница ведет вверх — к almastid al-jami, то есть месту поклонения. Зеленая дверь и длинная лестница без окон испугали его, когда он впервые сюда пришел в поисках чего-то, услышанного в болтовне своих чернокожих одноклассников о своих мечетях, своих проповедниках, которые «никакого дерьма не принимают». Другие мальчики его возраста стали петь в хоре или присоединились к «Маленьким скаутам». А он подумал, что может найти в религии след красавца отца, исчезнувшего в тот момент, когда у него начали складываться воспоминания. Его ветреная мать, которая никогда не ходила к мессе и порицала ограничения своей веры, возила сына, потакая ему, сначала — да и потом, когда позволяла работа, — в эту мечеть на втором этаже, пока он не стал юношей и уже мог сравнительно безопасно ходить по улицам. В большом зале, превращенном в молельню, была когда-то танцевальная студия, а кабинет имама разместился в фойе, где ученики бальных танцев и чечеточники ожидали — вместе с родителями, если они были детьми, — начала своего урока. Аренда и перепланировка помещений начались в последнее десятилетие прошлого века, но

Ахмаду кажется, что в застоялом воздухе все еще звучат громкие аккорды рояля и веет неуклюжими, нечестивыми стараниями. Истертые, трясущиеся доски, на которых было отрепетировано столько па, накрыты теперь большим восточным ковром, — ковер

лежит на ковре, что указывает на потертости.

Смотритель мечети, сморщенный пожилой ливанец, хромой, сгорбленный, пылесосит ковры и убирает кабинет имама, а также детскую комнату, устроенную на западный лад, чтобы оставлять там детей, а вот окна, достаточно высоко расположенные, чтобы не подглядывали за танцующими или молящимися, уже недоступны для инвалида-смотрителя и так и остаются замутненными накопившейся грязью. Сквозь них можно разглядеть лишь облака, да и то темные. Даже по пятницам, когда идет служба *salāt al-Jum'a*[24] и проповедь произносится с *ṭīnbaḡ*, зал для моления не заполнен, тогда как процветающие модернистские мечети в Гарлеме и Джерси-Сити жируют на свежих эмигрантах из Египта, Иордании, Малайзии и с Филиппин. Черные мусульмане Нью-Проспекта и еретики — сторонники Нации Ислама держатся своих святилищ на чердаках и в лавках. Надежда шейха Рашида открыть у себя на третьем этаже *kuttab*[25] для обучения Корану детей школьного возраста все еще висит в воздухе. Уроки, которые семь лет тому назад он начал давать Ахмаду и восьми-девяти другим ученикам в возрасте от девяти до тринадцати, сейчас посещает всего один из них. Он наедине с учителем, чей мягкий голос в любом случае больше подошел бы для маленькой аудитории. Ахмад не чувствует себя уютно со своим учителем, но, следуя предписаниям Корана и Хадиса[26], Ахмад глубоко уважает его.

В течение семи лет Ахмад приходил сюда дважды в неделю на полтора часа изучать Коран, но в остальное время у него нет возможности использовать классический арабский язык. Разговорный язык — *al-lughā al-fushā*, с этими его гортанными слогами и согласными с точкой под ударением — все еще застревает в горле и вводит в заблуждение глаза: курсив с россыпью диакритических знаков кажется ему таким мелким, а чтение справа налево все еще требует перестройки в голове. Когда на уроках, медленно пройдя весь священный текст, началось повторение, суммирование и обточка, шейх Рашид отдал предпочтение более коротким ранним сурам о Мекке,

более поэтичным, глубоким и загадочным по сравнению с прозаическими текстами первой половины книги, где Пророк приступает к управлению Мединой, разрабатывая законы и давая мирские советы.

Сегодня учитель говорит:

— Займемся «Слоном». Это сто пятая сура. — Поскольку шейх Рашид не хочет загрязнять старательно приобретенный учеником классический арабский язык звуками современного разговорного языка — *al-lughā al-'āmmīyya* на йеменском диалекте, он ведет урок на хорошем, но весьма формальном английском, произнося слова с некоторой неприязнью, поджимая фиолетовые губы, обрамленные аккуратной бородкой и усами, словно подавляя иронию.

— Прочти это мне, — говорит он Ахмаду, — сохраняя ритм, пожалуйста.

Он закрывает глаза, чтобы лучше слышать; на его опущенных веках видно несколько багровых тоненьких вен, особенно ярких на восковом лице.

Ахмад произносит слова вступления:

— «*Bi-smi llāhi r-rahmāni r-rahim*»[27] — и усиленно, поскольку учитель требует ритмического чтения, принимается за длинную

первую строку суры: — «a-lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi-ashābi 'lfiḷ»[28].  
Шейх Рашид сидит, закрыв глаза, откинувшись на подушки просторного серебристо-серого кресла с высокой спинкой, в котором он принимает своего ученика, а тот сидит у угла его стола на спартанском стуле из отформованного пластика, какие можно увидеть в буфете аэропорта маленького городка, и шейх наставляет: — «S» и «h» — два разных звука, они не произносятся «ш»... Делая между ними промежуток, не перебарщивай: это классический арабский, а не какой-нибудь африканский щелкающий язык. Переходи изящно из одного звука в другой, словно это твоя вторая натура. Каковым это и является как для тех, чей это родной язык, так и для достаточно усердных учеников. Держи ритм, несмотря на звуковые трудности. Подчеркивай последний слог — ритмический слог. Помнишь правило? Ударение падает на длинную гласную между двумя согласными или на согласную, за которой следует короткая гласная, а потом две согласные. Пожалуйста, продолжай, Ахмад. — Даже «Ахмад» мастер

произносит с легким заострением в конце, с фрикативным звуком в глотке.

— «a-lam yaj'al kaydahum fī tadlīl»[29]...

— Поставь под ударение lil, — говорит шейх Рашид, глаза его попрежнему закрыты и подрагивают, словно под веками перекачивается

желе. — Ты услышишь его даже в своеобразном переводе, сделанном в девятнадцатом веке Его Преподобием Родуэллом: «Не научил ли он их коварству заблудиться». — Он приоткрывает глаза и поясняет: — То есть людей, или сотоварищей слона. Предположительно сура повествует о реальном событии — атаке на Мекку, устроенную Абраха аль-Хабаша, губернатором, как выясняется, Йемена, страны, где жили в свое удовольствие мои боевые предки. В ту пору армия, конечно, не могла обойтись без слонов — слоны в те времена были танками «Шерман М1» и бронированными машинами; надеюсь, у них были более толстые шкуры, чем у злополучных «хамвиз», которые Буш дал своим бравым солдатам в Ираке. Предполагается, что историческое событие произошло приблизительно в то время, когда родился Пророк, — в пятьсот семидесятом году нашей эры. Он слышал об этом от своих родственников — не от родителей, поскольку отец Пророка умер до его рождения, а матери не стало, когда ему было шесть лет, но, возможно, от деда Абд аль-Мутталиба и от дяди Абу Талиба, которые говорили об этой знаменитой битве, сидя у костра в лагерях хашимитов. На какое-то время младенца поручили няне-бедуинке, и считается, что, возможно, от нее он воспринял божественную чистоту арабского языка.

— Сэр, вы говорите «предполагается», однако в суре в первой строке говорится: «Разве вы не видели», словно Пророк и его слушатели действительно это видели.

— Своим мысленным взором, — со вздохом произносит учитель. — Своим мысленным взором Пророк видел многое. А что до того, была ли атака, устроенная Абраха, историческим фактом, на этот счет ученые, равно верующие и равно убежденные, что Коран является плодом божественного вдохновения, расходятся. Прочти мне последние три строки, в которых особенно чувствуется это вдохновение. Дыши ровно. Прочисти носовые проходы. Чтобы я услышал ветер пустыни.

— «Wa arsala 'alayhim tayran abābīl», — произносит нараспев Ахмад, стараясь, чтобы голос звучал торжественнее и красивее из глубины горла, и он чувствует благочестивую вибрацию в паузах. — «Tarmīhim b-hijāratin min sijjīl», — продолжает он, увеличивая резонанс по крайней мере в своих ушах, — «fa-ja' alahum ka-'asfin ma'kūl».

— Это уже лучше, — вяло признает шейх Рашид, жестом мягкой белой руки с гибкими длинными пальцами (при том что тело у него, облаченное в изящно расшитый халат с поясом, тощее и маленькое), давая понять, что хватит. Под халатом он носит белые трусы, именуемые sirwāl, а на аккуратно подстриженной голове — белую кружевную шапочку без полей — 'amāta, указывающую на то, что он — имам. Его черные туфли, маленькие и грубые, словно детские, вылезают из-под полы халата, когда он приподнимает ноги и кладет их на мягкую скамеечку для ног, обитую той же роскошной материей, сверкающей тысячью серебряных нитей, что и троноподобное кресло, сидя на котором он учит людей. — И что эти великолепные строки говорят нам?

— Они говорят нам, — пускается в объяснения Ахмад, краснея от стыда, что он испоганит священный текст неуклюжим пересказом, обязанным в меньшей степени его прочтению древнего арабского текста, чем проделанному тайком изучению английских переводов, — они говорят нам, что Бог выпустил стаи птиц, направив их на камни обожженной глины, и превратил соратников слона в травинки, которые и были съедены. Уничтожены.

— Да, более или менее так, — сказал шейх Рашид. — «Камни обожженной глины», как ты выразился, составляли, по всей вероятности, стену, которая под натиском птиц рухнула, что остается несколько непонятным для нас, хотя, по всей вероятности, ясно, как кристалл, в выгравированной модели Корана, которая существует в Раю. Ах, Рай, никак не дождешься, чтобы туда попасть.

Краска медленно сходит с лица Ахмада, лицо его стягивает смущение. А шейх снова закрывает глаза, погружаясь в мечтания. Когда молчание мучительно затягивается, Ахмад спрашивает:

— Сэр, не хотите ли вы сказать, что доступная нам версия, созданная первыми калифами в течение двадцати лет со дня смерти Пророка, в чем-то несовершенна по сравнению с версией вечной?

Учитель заявляет:

— Несовершенства, должно быть, лежат в нас — в нашем невежестве и в записях высказываний Пророка, сделанных его первыми учениками и писцами. Например, само название нашей суры, возможно, объясняется неверным написанием имени царствовавшего монарха — Алфиласа, которое превратилось в al-Fīl — то есть в слона. Можно предположить, что стаи птиц — это метафора, подразумевающая выпущенные из катапульты ракеты, а иначе перед нами предстает этакая нелепая стая крылатых, менее крупных, чем Рок в «Тысяче и одной ночи», но, по всей вероятности, более многочисленных, дробящих своими клювами глиняные кирпичи — bihidjāratin. Только в этом стихе, четвертом, как ты заметишь, есть длинные гласные, не стоящие в конце строки. Хотя он, Пророк, с презрением отвергает титул поэта, тем не менее в этих ранних стихах, посвященных Мекке, он достигает сложных эффектов. Однако да, дошедшая до нас версия — хотя было бы богохульством назвать ее



несовершенной — требует — из-за невежества нас, смертных, — прояснения, а прояснения за четырнадцать веков были разными. Например, точное значение слова «abābīl» по прошествии стольких лет неясно, поскольку оно нигде больше не встречается. Есть термин на греческом языке для этого уникального и, следовательно, неопределимого слова: *haraχ legomenon*. В той же суре есть еще одно таинственное слово — *sijjīl*, правда, оно встречается трижды в Святой книге. Сам Пророк предвидел трудности и в седьмом стихе третьей суры «Имраны» признает, что некоторые выражения ясны — *muḥkamāt*, другие же понятны только Богу. Эти неясные места, так называемые «*mutashābihāt*», выискивают противники истинной веры, те, что, по выражению Пророка, «с дурными наклонностями в душе», тогда как мудрые и верящие говорят: «Мы этому верим — все это исходит от нашего Господа». Я тебя не утомил, мой любимчик? — Все нет, — искренне отвечает Ахмад, ибо по мере того, как учитель небрежно бормочет, ученик чувствует, как в нем раскрывается пропасть, бездна проблематичного и непостижимого прошлого. А шейх, нагнувшись в своем большом кресле, энергично продолжает диалог, возмущенно жестикулируя руками с длинными пальцами:

— Западные ученые-атеисты в своей слепой злобе утверждают, что Святая книга — это набор фрагментов и измышлений, поспешно собранных вместе и размещенных в совершенно детском порядке — по размеру: сначала наиболее длинные суры. Они утверждают, что тут бесконечные непонятности и загадки. Например, недавно была довольно забавная полемика по поводу авторитетного заявления одного немецкого специалиста по древним ближневосточным языкам, некоего Кристофера Люксенберга, который утверждает, что многие темные места в Коране проясняются, если читать его не на арабском, а подставляя сирийские омонимы. Наиболее известно, утверждает он, что в великолепных сурах «Дым» и «Гора» слова, которые традиционно читают «девственница с большими черными глазами», на самом деле означают: «белый виноград кристальной прозрачности». Так, в суре под названием «Человек» говорится об обаятельных юношах, сравниваемых с рассыпанным жемчугом, на самом же деле речь идет об «охлажденном винограде», имеется в виду охлажденное виноградное питье, которое с изысканной любезностью подают в Раю, тогда как души обреченные пьют в Аду растопленный металл. Боюсь, такая ревизия сделает Рай гораздо менее привлекательным для многих молодых людей. А что ты на это скажешь, будучи благопристойным молодым человеком?

Учитель с почти комичным оживлением пригибается еще ниже и опускает ноги на пол, так что его черные туфли исчезают, а губы и глаза раскрываются в ожидании.

Застигнутый врасплох, Ахмад говорит:

— О нет. Я жажду попасть в Рай. — Хотя пропасть внутри его продолжает расширяться.

— Тебя не просто тянет туда, — продолжает свое шейх Рашид, — как в какое-нибудь отдаленное место вроде Гавайев, это что-то такое, чего мы жаждем, жаждем горячо, верно?

— Да.

— Так что нас раздражает этот мир, такое тусклое и унылое подобие мира будущего?

— Да, точно.

— И даже если темноокие гурии являются лишь белыми виноградинами, это не уменьшает твоего влечения к Раю?

— О нет, сэр, не уменьшает, — отвечает Ахмад, а перед его мысленным взором проходят картины потустороннего мира. Если некоторые могли счесть эти провокационные настроения шейха Рашида сатирой и опасным флиртом с адским огнем, Ахмад всегда считал их вспомоществованием, вызывающим у ученика нужные видения и ощущения и тем самым обогащающим неглубокую и наивную веру. Но сегодня эта вспомогательная ирония чувствуется острее, и желудок у парня бунтует, и он хочет, чтобы урок поскорее закончился.

— Хорошо, — произносит учитель, и губы его сжимаются в узкую полоску кожи. — Я всегда считал, что гурии — это метафоры невообразимого блаженства, блаженства целомудренного и бесконечного, а не буквального соития с телесными женщинами — теплыми, округлыми, рабски покорными женщинами. Соитие, как все это испытали, является, конечно, самым проявлением быстротечности жизни, суетной радостью.

— Но... — пробормотал Ахмад, снова краснея.

— Но?..

— Но Рай — это же что-то реальное, реальное место.

— Конечно, милый мальчик... а как же? И однако же, возвращаясь накоротке к этому вопросу о совершенстве текста: неверные ученые утверждают, что даже в наиболее спокойных описаниях сур, относящихся

к  
периоду  
управления  
Пророком  
Мединой,

обнаруживаются странности. Не можешь ли ты мне прочесть, — я понимаю, тени удлинятся, весенний день за нашими окнами безнадежно умирает, — прочти мне, пожалуйста, четырнадцатый стих шестьдесят четвертой суры «Взаимное обманывание».

Ахмад неуклюже листает страницы своего истрепанного Корана и читает вслух:

— «Yā ayuhā 'lladhīna ātapū inna min azwājikum wa awlādikum 'aduwwan lakum fa 'hdharūhum, wa in tafū wa tasfahū wa taghfirū fa-inna 'llāha ghafūrun rahīm».

— Хорошо. Я хочу сказать: достаточно хорошо. Нам надо, конечно, больше работать над твоим произношением. Ты можешь, Ахмад, быстро сказать мне, что значит прочитанное тобой?

— Ух, тут сказано, что среди жен и детей твоих есть враги твои.

Берегись их. А если извинишь и простишь и будешь к ним

снисходителен, Бог всепрощающ и милосерден.

— Но это же твои жены и дети! При чем тут «враги»? И почему их надо прощать?

— Ну, возможно, потому, что они отвлекают вас от jihād, от борьбы за то, чтобы стать безгрешнее и ближе к Богу.

— Отлично! Какой же ты прекрасный ученик, Ахмад! Я и сам лучше не мог бы сказать «ta'fū wa tafahū wa taghfirū — 'afā и safaha»

— воздержись и вернись! Обойдись без этих женщин небожественной плоти, этого земного багажа, этих грязных пленниц фортуны! Отправляйся налегке прямо в Рай! Скажи мне, дорогой Ахмад, ты боишься войти в Рай?

— О нет, сэр. Чего мне бояться? Я жду этого, как все добрые мусульмане.

— Да. Конечно, они ждут. Мы ждем. Ты обрадовал мое сердце. Для следующего занятия, будь добр, приготовь «Милосердный» и «Падающее». Это суры под числами пятьдесят пять и пятьдесят шесть — они стоят рядом, это удобно. Ой, и еще, Ахмад...

— Да?

Весенний день за смотрящими вверх окнами перешел в вечер, на небе цвета индиго, обесцвеченном ртутными огнями центральной части Нью-Проспекта, видна лишь щепотка звезд. Ахмад пытается вспомнить, позволяет ли матери работа уже быть дома. Иначе, возможно, он найдет стаканчик йогурта в холодильнике или рискнет пойти в буфет сомнительной чистоты в «Секундочку».

— Я полагаю, ты не вернешься в эту церковь кафиров в центре города. — Шейх помедлил и заговорил, словно цитируя священный текст: — Может даже показаться, что нечестивые так и сияют, а дьяволы хорошо подражают ангелам. Держись Прямого Пути — ihdinā 's-sirāta 'l-mustaqim. Остерегайся любого, каким бы приятным он ни был, кто будет отвлекать тебя от чистоты Аллаха.

— Но ведь весь мир, — признается Ахмад, — является отвлечением.

— Так не должно быть. Сам Пророк был земным человеком — торговцем, мужем, отцом своих дочерей. Однако когда ему было за сорок, он стал тем сосудом, который выбрал Бог, чтобы сказать Свое последнее и окончательное слово.

Мобильный телефон, который живет где-то глубоко в просторных одеждах шейха, вдруг издал свою пронзительную, отчасти даже музыкальную мольбу, и Ахмад, воспользовавшись моментом, выскакивает в вечер, в мир со своим потоком стремящихся домой фар и тротуарами, где пахнет жареной пищей, а над головой висят ветки, белеющие цветами и липкими сережками.

Несмотря на всю заурядность церемонии выпуска и то, что он многократно в ней участвовал в Центральной школе, у Джека Леви чуть не выступают слезы. Все начинается с «Пышной и торжественной церемонии» и величавого прохода выпускников в развевающихся черных одеяниях и лихо сидящих на голове академических шапочках с квадратом наверху и заканчивается парадом по пять человек в ряд — бойким, веселым, приветствуемым родителями — на заднем дворе под музыку «Марш полковника Боги» и «Когда святые пройдут маршем».

Даже самый бунтарски настроенный и непокорный ученик, даже те, у кого на шляпе белой липкой лентой наклеено «Наконец свободен» или к шнуру с кисточкой приколоты бумажные цветы, проникаются атмосферой церемонии окончания учебы и затасканной благостью речей. «Служите Америке», — говорят им. «Займите свое место в мирных армиях демократического предпринимательства. Даже

пытаясь преуспеть, относитесь по-доброму к своим коллегам. Несмотря на все скандалы, связанные с недобросовестностью корпораций и коррупцией политических деятелей, чем ежедневно до тошноты приводят нас в уныние средства массовой информации, думайте об общем благе. Теперь для вас начинается реальная жизнь, — сообщают им. — Рай общественного образования закрыл садовую калитку». «Сад зубрежки, — размышляет Леви, — для тупых невежд, где злобных и невежественных больше, чем застенчивых и послушных, и тем не менее это сад, где произрастают сорняки надежды, наспех посаженный и плохо ухоженный рассадник того, чем хочет быть эта нация. Не обращай внимания на вооруженных полицейских, размещенных тут и там в конце аудитории, и на металлические детекторы у каждого незапертого и не находящегося на цепочке входа. Смотри вместо этого на выпускников, как, улыбаясь и волнуясь, они держатся, как аплодируют, не забывая никого, даже самых тупых и нерадивых, как проходят по сцене, потом под

авансценой в шотландском стиле, потом между клумбами цветов и пальмами в горшках, чтобы получить диплом из рук элегантного Нэта Джефферсона, главы школьной системы Нью-Проспекта, в то время как их фамилии произносит нараспев в микрофон нынешний директор школы крошечная Айрин Цуцурас. Разнообразию имен вторит разнообразие обуви, выглядывающей из-под подпрыгивающих подошв их одеяний, когда они проходят в истоптанных кроссовках, или выступают на высоких тонких каблуках, или идут, шаркая, в свободных сандалиях».

Джеку Леви начинает не хватать воздуха. Как стараются человеческие существа, как им хочется угодить! Евреи Европы, одевающиеся в свои лучшие одежды, чтобы пройти маршем в лагеря смерти. Ученики мужского и женского пола, ставшие вдруг мужчинами и женщинами,жимают натренированную руку Нэта Джефферсона, чего они раньше никогда не делали и никогда больше не будут делать. Широкоплечий черный администратор, мастер плавать по волнам местной политики, когда власть в итоге голосования перешла от белых к черным, а теперь к испаноязычным, освежает свою улыбку для каждого выпускника, выказывая, на взгляд Джека Леви, особую благосклонность к белым выпускникам, которые составляют здесь заметное большинство. «Благодарю за то, что оставались с нами, — как бы говорит его долгое теплое рукопожатие. — Мы сделаем Америку (Нью-Проспект) объектом работы Центральной школы». В середине, казалось, бесконечного списка Айрин читает:

— Ахмад Ашмави Маллой.

Юноша выходит, высокий, но не неуклюжий, элегантно, не переигрывая, исполняет свою роль, держась с достоинством, чтобы, подобно некоторым, не подыгрывать своим сторонникам в аудитории взмахами руки или хихиканьем. Сторонников у него мало — раздаются лишь редкие хлопки. Сидя в первом ряду между двумя другими преподавателями, Леви костяшками пальцев незаметно смахивает слезы, вдруг побежавшие вдоль обеих сторон его носа. С благословением выступает католический священник и — в качестве уступки мусульманам — имам. Раввин и пресвитерианский священник прочли молитвы в начале церемонии — оба, по мнению Джека Леви, чрезмерно долго. Имам в халате и тесном тюрбане

электрической белизны стоит у кафедры и гнусавит по-арабски, словно нанося удары кинжалом в затихшую аудиторию. Затем он, очевидно, дает английский перевод:

— Знающий сокровитое и явное! Великий! Высочайший! Бог — Создатель всего! Он — Единственный! Всепобеждающий! Он посылает дождь с небес, затем пускает водопады в той мере, в какой надо, и поток несет с собой вскипающую пену. И на металлах, которые плавят в огне, изготовляя украшения или орудия, возникает такая же накипь. Эта пена — она быстро исчезает, а то, что полезно человеку, остается на Земле. Тем, кто оканчивает сегодня школу, мы говорим: поднимитесь выше накипи, старайтесь приносить пользу на Земле. Тем, чья Прямая дорога ведет к опасности, мы повторяем слова Пророка: «Не говорите о тех, кто пал на Божьем пути, что они мертвы, — нет, они живы!» Леви внимательно смотрит на имама — маленький, не способный грешить человек, олицетворяющий систему веры, которая не так давно привела к смерти сотни людей, в том числе тех, что ездят на работу из северного Нью-Джерси. С высоких точек в Нью-Проспекте толпы смотрели на дым, валивший из двух башен всемирной торговли и оседавший над Бруклином, — единственное облако в этот ясный день. На память Леви приходит Израиль, находящийся под вечной угрозой войны, и немногие трогательно сохранившиеся в Европе синагоги, которые полиция вынуждена охранять день и ночь, и его первоначально доброе отношение к имаму испаряется — этот человек в белой одежде торчит как кость в горле происходящего события. У Леви не вызывает раздражения гнусавый голос отца Коркорэна, вгоняющего тройное благословение в крышку, закрывающую долгую церемонию: евреи и ирландцы на протяжении поколений вместе обитали в американских городах, и это поколение не его, а отца и деда Джека вынуждено было терпеть, когда Христа презрительно называли «Христос-убийца».

— Что ж, господа, с благополучным окончанием, — говорит учитель, сидящий справа. Это Эдам Бронсон, эмигрант из Барбадоса, который преподает математику бизнеса десятому и одиннадцатому классам. — Я всегда благодарю Господа, если школьный год окончился без убийств.

— Вы слишком много смотрите «Новости», — говорит ему Джек. — Мы не колумбийцы — это ведь было в Колорадо, на Диком

Западе. В Центральной школе сейчас безопаснее, чем когда я учился здесь. Банды черных имели самодельные пистолеты, и на входах не было замков безопасности или охранников. Считалось, что дежурные в коридорах обеспечивают безопасность. А им везло, если их не сбрасывали с лестницы.

— Я просто глазам своим не мог поверить, когда приехал сюда, — говорит Эдам со своим трудно понятным акцентом, в котором звучит музыка теплого острова, грохот далекого стального барабана, — полиция в коридорах и в кафетерии. На Барбадосе мы делили рассыпающиеся учебники и использовали обе стороны бумаги, каждый обрывок — так мы ценили образование. Нам и в голову не приходило бедокурить. А тут, в этом большом здании, требуются охранники, точно в тюрьме, и ученики только и знают, что разрушать. Не понимаю я эту ненависть американцев к приличию и порядку.

— Считайте это любовью к свободе. Свобода — это знание.

— Мои ученики не верят, что им когда-либо понадобится знание математики бизнеса. Они воображают, что компьютер все сделает за них. Они считают, что человеческий мозг находится в вечном отпуске и что отныне ему остается лишь воспринимать удовольствия.

Преподаватели строятся по двое для процессии, и Эдам, спаренный с учителем, сидящим через проход, идет впереди Леви, но оборачивается и продолжает разговор:

— Джек, скажите-ка. Есть кое-что, о чем мне неудобно кого-либо спрашивать. Кто такой Джи-Ло? Мои ученики все время ссылаются на него.

— Это она. Певица. Актриса, — громко произносит Джек, чтобы было слышно впереди. — Испаноязычная. Очень хороша собой. Похоже, с мощным задом. Больше ничего не могу сказать. В жизни наступает такое время, — поясняет он, чтобы уроженец Барбадоса не счел, что он решил оборвать разговор, — когда знаменитости уже не имеют для вас такого значения, как раньше.

Он только сейчас замечает, что учитель, с которым он был спарен во время гимна, — это женщина, мисс Макензи, которая преподает в двенадцатом классе английский, и зовут ее Каролина. Тощая, с квадратной челюстью, этакое здоровое животное, седеющие волосы подстрижены по-старомодному под пажа, челка на уровне бровей.

— Кэрри, — тепло обращается к ней Джек. — Что это я слышу: ты изучаешь «Секс» со своими учениками?

Она живет с другой женщиной в Парамусе, и Леви считает, что может подтрунить над ней, как если бы это был мужчина.

— Не говори гадостей, Джек, — говорит она без улыбки. — Это один из его мемуаров — тот, где в титуле есть слова «большой куш». Книга стояла у меня в списке для желающих, никто не обязан был ее читать.

— Да, но какого о ней мнения те, кто прочел?

— О, — ровным враждебным тоном сообщает она ему сквозь грохот, и шарканье ног, и музыку гимна, — они это воспринимают как должное. Они все это уже видели у себя дома.

Весь человеческий конгломерат, собравшийся на это событие — выпускники, преподаватели, родители, дедушки и бабушки, дяди и тети, племянницы и племянники, — вываливается из аудитории в передний зал, где в длинных шкафах, словно сокровища умерших фараонов, стоят на страже магического прошлого закупоренные трофеи спортсменов, затем выходят в широкие двери, распахнутые навстречу раннему июньскому солнцу и покрытому пылью озеру каменных глыб, и спускаются по широким ступеням фронтона, болтая и перекликаясь в этот триумфальный день. Когда-то эта величественная гранитная лестница выходила на просторную зеленую лужайку, которую окружали симметрично посаженные кусты, но требования автомобиля откусывали от нее, а потом и вовсе отрезали до этой черты, расширив Тилден-авеню (вызывающе так единогласно переименованную демократическим советом старейшин после того, как в 1877 году пост президента был украден избирательной комиссией, в которой господствовали республиканцы и которая сцепилась с Югом, стремившимся ликвидировать защиту военными с Севера своего негритянского населения), так что теперь нижние гранитные ступени выходят прямо на тротуар — тротуар, отделенный от заасфальтированной улицы узкой полоской дерна, который всего

две-три недели бывает зеленым, а потом летний зной и неосторожные шаги превращают весенние побеги в ровный ковер мертвой травы. За краем тротуара асфальтовый проспект, весь взъерошенный, словно наспех накрытая постель, со своими заделанными и переделанными ямами и черными, залитыми дегтем, пробоинами от непрерывно

едущих тяжелых машин и грузовиков, был перекрыт на час для проезда оранжевыми баррикадами, чтобы толпа, собравшаяся на церемонию, могла постоять, и насладиться обществом друг друга, и дожждаться недавних выпускников, которые должны вернуть в здание свои одежды и окончательно попрощаться.

Передвигаясь в этой толпе, не спеша домой, где ему предстоит начать лето в обществе жены, и помрачнев после милого разговора с Кэрри Макензи от сознания, что он не принадлежит к этому обществу вседозволенности, Джек Леви вдруг наталкивается на Терезу Маллой. Раскрасневшаяся, вся в веснушках, она в светлом льняном костюме, к мятому жакету которого приколота уже увядшая орхидея. Он торжественно приветствует ее:

— Поздравляю, мисс Маллой.

— Привет! — восклицает она в ответ и слегка касается его плеча, словно желая восстановить намечавшуюся в последнюю встречу интимность их отношений. И, задыхаясь, схватив первые пришедшие в голову слова, говорит: — Вам, должно быть, предстоит чудесное лето! Мысль о лете возвращает Леви в реальность.

— О-о... как всегда, как всегда, — говорит он ей. — Мы ничего особенного не делаем. Бет всего две-три недели свободна от библиотеки. А я пытаюсь заработать на булавки уроками. Наш сын живет в Нью-Мексико, и мы обычно ездим к нему в августе на недельку — там жарко, но не душно, как здесь. У Бет сестра живет в Вашингтоне, но там еще более душно, поэтому она обычно приезжает к нам, и мы выезжаем на недельку в горы — на ту или другую сторону делавэрских водопадов. Но нынче она так занята — вечно случается что-то экстренное, так что в это лето... — «Заткнись, Леви. Не заговаривай человека до смерти. Может, и хорошо, что „мы“ выскочило, напомнив этой женщине, что у него есть жена». Вообще-то он считает, что они из одной среды — обе белокожие и склонные к полноте, но Бет опередила ее лет на двадцать. — А вы? Вы с Ахмадом? Одета она достаточно степенно — в светло-желтом льняном костюме с белой блузкой, однако яркие дополнения наводят на мысль о свободомыслии: перед нами художница и мать. Тяжелые кольца с бирюзой оттягивают вниз ее крепкие, с короткими ногтями пальцы, а на руках, покрытых блестящим на солнце пушком, звенят золотые и коралловые браслеты. К удивлению, голова ее, кроме края волос на

ирландском белом покатом лбу, куда выбилось несколько непокорных рыжих волосинок, покрыта большой шелковой косынкой с абстрактными квадратами и яркими кольцами, завязанной под подбородком. Глядя в глаза Леви и увидев, как он уставился на ее деланно-скромно наброшенную яркую косынку, она смеется и поясняет:

— Ахмад хотел, чтобы я это надела. Он сказал: единственное, что он хочет видеть на своем выпуске, — это свою мать, которая не выглядела бы распутницей.

— О Господи! Но во всяком случае, эта косынка, как ни странно,

вам идет. А орхидея — это тоже была идея Ахмада?

— В общем — нет. Другие мальчики дарят орхидеи своим матерям, и Ахмад чувствовал бы себя неловко, если бы этого не сделал. В нем сидит этот конформизм.

Ее лицо с такими зелеными навывкате глазами, светлыми, как песколюб, обрамленное косынкой, словно выглядывает на Леви из-за угла, — его прикрытость заставляет думать, что под ним скрывается ослепительная нагота. Косынка на ее голове говорит о покорности, и это волнует Леви. Он придвигается к ней в толпе, словно беря ее под свою защиту. Она говорит ему:

— Я заметила еще несколько матерей в косынках, черных мусульманок, таких живописных во всем белом, и некоторых выпускниц-турчанок — когда я была девочкой, мы звали всех темнокожих мужчин «турками», но, конечно, они не все были турками. Я думала: «Могу поспорить, под косынкой самые рыжие волосы — у меня». Монашки были бы в восторге. Они и сказали, что я пренебрегаю своими чарами. Я тогда не знала, что такое чары и как можно ими пренебрегать. Мне казалось, они просто есть и все. Мои так называемые чары.

Она разделяет его стремление поболтать здесь, в этой возбужденной толпе. Он размеренно произносит, так и думая:

— Вы — хорошая мама, раз порадовали Ахмада.

С ее лица исчезает шаловливый налет.

— Он, право, так мало просил меня о чем-либо все эти годы, а теперь он уезжает. Он всегда выглядел таким одиноким. Он занялся Аллахом сам, без моей помощи. Даже меньше, чем помощи, — меня обижало то, что он так интересуется отцом, который ни шиша не

сделал для него. Для нас. Но, наверно, мальчику нужен отец, и если у него отца нет, он его выдумывает. Подойдет для уцененного Фрейда? Понимает ли она, что делает с ним, порождая в нем желание обладать ею? Бет никогда не пришло бы в голову вспомнить о Фрейде. Фрейде, который целое столетие поощрял людей к совокуплению.

Леви говорит:

— Ахмад такой красивый в этом одеянии. Мне жаль, что я слишком поздно познакомился с вашим сыном. Мне он нравится, хотя подозреваю, что это не взаимно.

— Вы ошибаетесь, Джек: он ценит ваше стремление расширить его кругозор. Возможно, со временем он сам это сделает. А сейчас он рвется получить лицензию на вождение грузовика. Он прошел письменный экзамен и через две недели будет проходить физический осмотр. Для округа Пассаик это происходит в Уэйне. Им надо удостовериться, что ты различаешь цвета и что у тебя есть периферическое зрение. У Ахмада красивые глаза — я всегда так считала. Чернильного цвета. У отца глаза были светлее — как ни странно, цвета пряника. Я говорю «странно», так как можно подумать, что у Омара более темные глаза, при том что у меня — светлые.

— А я вижу отблеск вашей зелени в глазах Ахмада.

Она пропускает мимо ушей его флиртующее замечание и продолжает:

— Но зрение у него не двадцать-двадцать. У Ахмада. Скорее двадцать-тридцать — астигматизм, но он всегда был слишком честолюбив, чтобы носить очки. Казалось, при его благочестии он не может быть тщеславным, а он такой. Возможно, это не тщеславие,



скорее, он думает, что Аллах даст вам очки, если Он хочет, чтобы вы носили их. В бейсболе ему трудно было увидеть мяч — это одна из причин, по которой он своим весенним спортом избрал бег.

Этот поток неожиданных подробностей о мальчике, который, по мнению Джека Леви, не слишком отличается от сотен других, с какими ему приходится каждый год иметь дело, усиливает зародившееся в нем подозрение, что эта женщина хочет снова увидеть его. И он говорит ей: — Я подозреваю, что ему не понадобятся эти каталоги колледжей, которые я оставил у вас месяц назад.

— Я надеюсь, что он еще сможет их найти: в его комнате жуткий беспорядок, кроме того угла, где он молится. Он должен был вернуть

их вам, Джек.

— No problema, señora[30].

Он замечает, что люди вокруг — в этой толкающейся, празднующей, но уже уменьшающейся толпе — посматривают в их направлении и не теснят их, чувствуя, что здесь что-то происходит. Он понимает, что чрезмерное оживление Терри бросает тень на него, поскольку он все время старается отвечать ей такой же улыбкой, какую видит на ее круглом, живом, усыпанном веснушками лице.

Большое облако с темной сердцевиной перекрывает солнечный свет, и все становится таким унылым — и каменное озеро, и перегороженная для проезда улица, и бравая, пестро одетая толпа родителей и родственников, и фасад Центральной школы с колоннадой у входа и зарешеченными окнами, такой высокий, как задник оперных декораций, превращающий исполнителей дуэта в карликов.

— Это невежливо со стороны Ахмада, — говорит его мать, — что он не вернул вам их в школе. А сейчас уже слишком поздно.

— Как я сказал: нет проблемы. Почему бы мне не зайти какнибудь и не забрать их? — спрашивает он. — Я предварительно позвоню, чтобы быть уверенным, что вы на месте.

Мальчиком, живя на Тотова-роуд, когда это был еще сельский район, если не считать новых домов-ранчо, и идя зимой в школу, Джек иногда, желая проверить себя на храбрость, шагал по заледенелому пруду, который был на его пути, а с тех пор давно осушен и застроен. Он был неглубокий, так что в нем не утонешь — сережки и покрытые травой холмики выдавали отсутствие глубины, — но провалился он сквозь лед, он промочил бы и перепачкал, а возможно, даже вообще испортил свои хорошие кожаные туфли для школы, что для семьи, чье финансовое положение было столь скромным, было бы катастрофой. За серебристым краем облака снова брызжет солнечный свет и сверкает на шелковой косынке Терри, а Джек, трепеща, прислушивается, не треснет ли лед.

### III

Звонит телефон. Бет Леви пытается выбраться из своего любимого кресла-качалки, прозванного Ленивым мальчишкой, обитого тускло-коричневым винилом, похожим на мятую воловью кожу, с дополнением в виде подставки под ноги, которую можно поднимать и опускать с помощью ручки; Бет сидела в нем и ела овсяное печенье с изюмом, в котором меньше калорий, чем в шоколадных чипсах или сэндвичах с кремом, и смотрела «Все мои дети» по телевидению, с тем чтобы в два часа переключиться на «Вертится-крутится шар земной». Она часто думала купить более длинный шнур, чтобы перенести

телефон к своей качалке и поставить его на пол на эту часть принадлежащего ей дня — в те дни, когда она не ходит в Библиотеку Клифтона, но она все забывает попросить Джека купить более длинный шнур в магазине, где продают телефоны, а он находится далеко, в торговом центре, что на дороге 23. Когда она была девочкой, вы просто звонили в компанию «АТ и Т» и к вам присылали мужчину в серой (или она была зеленой?) форме и черных ботинках, который за несколько долларов все вам делал. «АТ и Т» была тогда монополистом, и Бет знает, что это было плохо: если вы звонили за пределы города, вам насчитывали за каждую минуту разговора, а теперь она могла часами говорить с Марки или Эрм, и это почти ничего не стоило, но зато теперь и нет услуг по починке. Вы просто выбрасываете аппарат, как старый компьютер и вчерашнюю газету.

А кроме того, в определенном смысле она не хочет физически облегчать себе жизнь — ей нужна каждая унция физических усилий, какие приходится делать. Когда она была моложе и вышла замуж, она все утро проводила в движении — стелила постели, и пылесосила, и убирала со стола тарелки, но она так всему этому научилась, что может все сделать, почти не просыпаясь; она, как сомнамбула, передвигается по комнате, стелет постели и прибирается, — правда, больше не пылесосит, как бывало: она знает, что новые машины считаются более эффективными, но на конце шланга у нее никогда не бывает нужной щетки, и ей трудно открыть маленькое отделение в вакуумной части пылесоса, — такая головоломка составлять вместе части машины,

тогда как раньше эта штука стояла прямо, вы ее просто включали и пылесосили всю ширину ковра на манер косилки на лужайке, а впереди горел такой славный огонек, как у снегоочистителя ночью. Она почти не замечала усталости, работая по дому. Но тогда у нее было меньше веса, легче было двигаться, а теперь это ее крест, ее умерщвление плоти, как говорили люди религиозные. Многие ее коллеги в Библиотеке Клифтона и все молодые люди, что приходят в нее и уходят, держат мобильные телефоны в сумочках или пристегивают их к ремням, но Джек говорит: это сплошное жульничество, они все время увеличивают плату, совсем как за кабельное телевидение, какое ей хотелось иметь, а ему — нет. Так называемая электронная революция, если послушать Джека, принесла кучу программ, которые без труда ежемесячно вытягивают из нас деньги за ненужные нам услуги, а в кабельном телевидении картинка, безусловно, яснее — никаких побочных изображений, никакой воббуляции, никакой дрожи — и выбора несравнимо больше, да Джек сам иной раз вечером включает Исторический канал. И хотя он утверждает, что книги куда лучше и глубже, он почти никогда не дочитывает до конца ни одной. А что касается мобильных телефонов, так он напрямик заявил ей, что не хочет, чтобы его все время беспокоили, особенно во время беседы с учениками, — если у нее что-то случится со здоровьем, пусть звонит 911, а не ему. Не очень-то это чутко звучит. Есть кое-что — и она это знает, — побуждающее его желать ее смерти. Тогда на его плечах станет двумя сотнями сорока фунтами меньше. С другой стороны, она знает, что он никогда ее не бросит: тут скажется его еврейское чувство ответственности и сентиментальная преданность — должно быть, тоже еврейская. Если ты был гоним и тебя поносили на протяжении двух тысяч лет, преданность любимым — хорошая тактика для выживания.

А евреи действительно люди особые — тут Библия права. На работе, в библиотеке, от них исходят все шутки и все идеи. Пока они с Джеком не встретились в Ратгерсе, электрический ток никогда не пробегал между нею и кем-либо еще. Другие женщины, с которыми он общался, включая его мать, были, должно быть, очень умные. Настоящие еврейки-интеллектуалки. Он считал ее забавной, такой раскрепощенной и беспечной и, хотя ни разу этого не сказал, наивной. Он говорил, что она выросла под обаянием лютеранского Бога

Папочки-Мишки. Джек содрал покров с ее нервов и накинулся на нее; он ввинтился в нее, более стройный тогда и уверенный в себе, прирожденный, как выяснилось, учитель, бойкий, скорый, считавший, что может стать писателем-хохмачом для Джека Бенни или в моде тогда был Милтон Берл?

Кто знает, где он сейчас в этот невысказанно душный, жаркий летний день, тогда как она с трудом передвигается. Уж лучше бы ей быть на работе, где по крайней мере хороший кондиционер, а тот, что торчит из окна их спальни, только грохочет, и Джек всегда ворчит, когда тратит электричество тот, что внизу. Мужчины — они гребцы, участвующие в жизни общества. А она всегда держалась тихоней, особенно рядом с Эрмионой, без усталости болтающей о своих теориях и идеалах. Родители сводят ее с ума, говорила она, вечно твердо соглашаясь со всем, что преподносят профсоюзы, и демократы, и «Сэтердей ивнинг пост», тогда как Элизабет вполне устраивала их решительная удобная пассивность. Ее всегда влекло в тихие места, в парки, на кладбища и в библиотеки до того, как они стали шумными — в иных даже тихо звучит музыка, как в ресторанах; половину из того, что спрашивали люди, составляли пленки, а теперь DVD. Девочкой ей нравилось жить на Плезант-стрит, совсем недалеко от парка Оубери, где столько зелени, а немного дальше находится дендрарий возле Чу — вокруг приливный берег, похожий на большую зеленую лунку, окружает тебя, и Бет казалось, что Рай находится на покачивающихся верхушках этих высоких-высоких деревьев, платанов, обнажающих при малейшем ветерке свою белую подкорку, и мнится, будто там живые души, и ты понимаешь, почему первобытные люди поклонялись когда-то деревьям. В другом направлении троллейбус, ходивший по Джермантаун-авеню, что на расстоянии квартала от дома, вез тебя в поистине бесконечный парк Фейрмонт, который перерезала река Виссахикон, — троллейбус останавливался у Лютеранской теологической семинарии с ее славными старыми каменными зданиями и такими молодыми, красивыми и увлеченными семинаристами; их можно было увидеть на аллеях, в тени, тогда не было всех этих гитар, женщин-священников и разговоров об однополых браках. Молодежь в библиотеке разговаривает так, точно находится у себя в гостиной; то же происходит и в кино, никто не соблюдает приличий — телевидение разрушило все. Когда они с

Джеком летают в Нью-Мексико повидать Марки в Альбукерке, часто наблюдают, как многие пассажиры сидят в самолете в шортах или в чем-то вроде пижам — это так неуважительно по отношению к другим пассажирам: благодаря телевидению люди теперь всюду чувствуют себя как дома, не думают о том, как они выглядят, и женщины, не менее толстые, чем она, носят шорты — должно быть, они никогда не смотрятся в зеркало.

Работая четыре дня в неделю в библиотеке, Бет не всегда может смотреть сериалы, которые идут среди дня, и следить за всеми перипетиями сюжета, но действие — а теперь переплетают три или четыре сюжета — разворачивается так медленно, что она не чувствует, будто что-то пропустила. У нее вошло в привычку за ленчем взять сэндвич, или салат, или подогретые в микроволновке остатки позавчерашней еды — Джек, похоже, никогда теперь не доедает того, что у него на тарелке, — а на десерт кусок сладкой ватрушки или несколько печений, овсяного с изюмом; если на нее нападает желание быть целомудренной — усесться в кресле и дать себя убаюкать всем этим молодым актерам и актрисам, обычно двум или трем одновременно в этих декорациях, слишком просторных, где все слишком новое, так что не похоже на обычную комнату, да и в воздухе чувствуется эхо сцены и звучит эта трескучая музыка, которую все они используют, не органная, как в старых радиосериалах, а синтезированная — так это, кажется, называется, — и звучит она порой почти как арфа, а порой как ксилофон со скрипками, всё на цыпочках, чтобы создать напряжение. Музыка усугубляет драматичность признания или конфронтации, когда актеры, снятые крупным планом, смотрят, замерев, друг на друга, в застывших глазах их печаль или неприязнь — маленькие мостики, которые они постоянно переходят

в  
бесконечном  
круговороте  
своих

взаимоотношений. «Мне, право, плевать на благополучие Кендалла...» «Ты, конечно же, знала, что Райан никогда не хотел иметь детей: он страшился проклятия своей семьи...» «Я больше не властна над своей жизнью. Я больше не знаю, кто я или что я думаю...» «Я вижу это по твоим глазам: все любят победителя...» «Ты должна достаточно любить себя, чтобы уйти от этого человека. Отдай его своей матери, если она того хочет: они — два сапога пара...» «Я правда глубоко ненавижу себя...» «Я чувствую себя заблудившимся в пустыне...» «Я

никогда в жизни не платил за секс и не собираюсь теперь начинать...» А потом менее злой, испуганный голос произносит, обращаясь прямо к зрителю: «Женские выкрутасы могут привести к трениям. Создатели „Монистата“ понимают эту интимную проблему и предлагают новый, беспрецедентный продукт».

Бет кажется, что молодые актрисы говорят как-то по-новому, закругляя слова в конце фраз, отсылая их назад в горло, словно чтобы прополоскать, и выглядят они более естественно — или менее неестественно и деланно, — чем молодые мужчины, которые больше похожи на актеров, чем женщины — на актрис; мужчины больше похожи на Кена, партнера куклы Барби противоположного пола, чем девушки — на Барби. Если же на экране трое, то обычно это две женщины, подсекающие друг друга из-за парня, который стоит, смущенно поеживаясь, с застывшей физиономией, а если на экране четверо, то один мужчина будет постарше, с красиво седеющей головой, подобно голове Прежнего в рекламе «Греческой формулы», и перепалка станет усугубляться, пока набирающая силу потусторонняя музыка не придет на выручку, давая понять, что настало время для

другой связки «сообщений». «И все это жизнь, — с изумлением думает Бет, — это состязание вплоть до убийства, когда секс, и ревность, и жажда наживы подгоняют к этому людей, вроде бы обычных людей в типичном пенсильванском городке Пайн-Вэлли». Она сама из Пенсильвании и никогда не слышала о таком месте. Как же она упустила столько в жизни? «Вся моя жизнь вроде вне моей досягаемости», — сказал как-то один из героев пьесы «Все мои дети», — возможно, Эрин. Или Кристал. Эта ремарка вонзилась в Бет как стрела. Любящие родители; счастливый, хотя и не вполне традиционный брак; чудесный единственный ребенок; интеллектуально интересная, физически нетяжелая работа — выдавать книги и искать нужное в Интернете, мир устроил так, чтобы она была мягкой и полной, застрахованной от страсти и опасности возникновения искры, которая вспыхивает, как только люди касаются друг друга. «Райан, я так хочу помочь тебе, я готова сделать что угодно — да я бы отравила твою мать, если б ты попросил». Никто ничего подобного не говорит Бет; самым экстремальным, что случилось с ней, был тот случай, когда ее родители отказались прийти на ее гражданское бракосочетание с евреем.

Мужчины-юноши, к которым обращены эти пылкие слова, обычно медлят с ответом. Наступает неземная, полная тишина в провале между обменом репликами. Бет часто боится, что они забудут текст, но они после такой долгой паузы произносят следующую реплику. В противоположность вечерним программам: полицейским фильмам, комедиям, «Новостям» с четверьмя участниками, треплющимися, сидя за столом (дикторами — мужчиной и женщиной, энергичным спортивным репортером и объектом их юмора и добродушных нареканий слегка нелепым метеорологом), — действие дневных мыльных опер разворачивается на фоне глубокой полнейшей тишины — тишины, какую не могут перекрыть все эротические заявления, напряженно высказанные признания, лживые заверения и кипящая неприязнь, как и неземная музыка и внезапное включение завершающей нелепой поп-песни. Молчание от ужаса сковывает их всех словно магнитами, какие притягивают дверцу холодильника, — актеров в их гулких комнатах с тремя стенами и Бет в ее широченном кресле, которая злится на себя за то, что не положила на тарелку достаточно овсяного печенья, а теперь еще и телефон, не переставая, звонит, так что она вынуждена покинуть свой идеально обитый, уютный остров ленивого мальчишки, в то время как Дэвид, невероятно красивый кардиолог, зловеще обвиняет Марию, роскошного хирурга — специалиста по операциям мозга, чей муж-журналист, лауреат Пулитцеровской премии Эдмунд был убит в более раннем эпизоде, который Бет, к сожалению, пропустила.

Она поднимается постепенно — сначала нажимает на рычаг, чтобы опустить подставку для ног, и, преодолевая наклон кресла, спускает ноги на пол, а сама обеими руками вцепляется в левую ручку кресла, чтобы подтянуться, и наконец с громким возгласом переносит свой вес на колени, которые медленно, мучительно выпрямляются, а она переводит дух. В начале этого процесса она намеревалась

переставить пустую тарелку с ручки кресла на столик, но забыла убрать с колен телевизионный пульт, и он упал на пол. Она видит его там — на светло-зеленом ковре лежит маленькая прямоугольная панель с перенумерованными кнопками среди пятен от кофе и пищи. Джек предупреждал ее, что на таком ковре видна будет грязь, но светлые ковры во всю комнату в тот год были в моде, сказал продавец. «Такой ковер придает приятный современный вид комнате, — заверил

он ее. — Он расширяет пространство». Всем известно, что на восточных коврах не видно пятен, но разве они с Джеком смогут когда-либо позволить себе восточный ковер? На бульваре Рейгана есть место, где можно купить их по сходной цене, но они с Джеком никогда не ездят в том направлении вместе — там покупатели в основном черные. Да и то, что ковры были в употреблении — ты ведь не знаешь, что пролили на него предыдущие владельцы, и это неприятно, — как ковры в гостинице. Бет даже и подумать не может о том, чтобы повернуться и, нагнувшись, подобрать пульт, — чувство равновесия у нее с годами ухудшилось, — да и звонят, должно быть, по важному делу, раз не вешают трубку. Некоторое время у них был автоответчик, но было столько сумасшедших звонков от родителей, чьи дети не смогли поступить в колледжи, какие советовал Джек, что они отключили механизм. «Если я тут, я с ними слажу, — сказал Джек. — Люди не бывают такими мерзкими, когда слышат живой голос на другом конце провода».

Бет делает еще шаг, оставляя тех, что на телевидении, вариться в собственном соку, и, проковыляв к столу у стены, снимает трубку. В новой системе телефон стоит прямо в своем гнезде и на маленькой панели под отверстиями, из которых идет звук, должно появиться имя и номер звонящего. На нем значится: «ВНЕ РАЙОНА», так что это либо Марки, либо ее сестра из Вашингтона, либо какой-нибудь торгаш, звонящий неизвестно откуда, — может, даже из Индии.

— Алло?

Дырочки на другом конце трубки не находятся на уровне ее рта, как это было со старыми телефонами, простыми трубками из настоящего черного бакелита, которые лежали в гнезде лицом вниз, и она повышает голос, потому что не доверяет аппарату.

— Бет, это Эрмиона. — Голос Эрм всегда звучит нарочито резко, деловито, словно она стремится устыдить более молодую, ленивую, самоизбалованную сестру. — Что ты так долго не подходила? Я уже собиралась повесить трубку.

— Что ж, жаль, что не повесила.

— Не очень любезно так говорить.

— Я не такая, как ты, Эрм. Я не быстра на ноги.

— Кто это там у тебя разговаривает? Там кто-то есть? — В разговоре Эрмиона перескакивает с одного на другое. Однако ее

прямота на грани грубости — приятный остаток манеры голландцев, живших во времена ее детства в Пенсильвании. Это напоминает Бет о родном доме, о северо-западной части Филадельфии с ее влажной зеленью и троллейбусами, и продуктовыми лавками на углу, где продают хлеб Майера и Фрейхофера.

— Это телевизор. Я поискала эту штуку с кнопками, чтобы выключить его... — она не хочет признаваться в том, что слишком ленива и неуклюжа и не смогла нагнуться, чтобы поднять его, — и не

могла найти эту чертову штуку.

— Так походи найди ее. Она не может быть далеко. А я могу подождать. Мы же не можем разговаривать при такой трескотне. А что, собственно, ты смотрела посреди дня?

Бет, не отвечая, кладет трубку. «Говорит точно мать», — думает она, тяжело передвигаясь к тому месту, где на светло-зеленом ковре, застилающем весь пол от стены до стены, лежит пульт — по виду и на ощупь забавно одинаковый с телефоном, матово-черный и набитый проводами, этакая пара разных сестер. Продавец сказал, что пульт из селадона. Со стоном, вызванным усилением, схватившись за ручку кресла одной рукой и потянувшись вниз другой, что пробуждает в ее мало тренированных мускулах ощущение, будто она выполняет экзерсис *arabesque penchée*[31], выученный на уроках балета в восьми или девятилетнем возрасте в студии мисс Димитровой над кафетерием в центре города, на Брод-стрит, она поднимает пульт и направляет его на телеэкран, где по седьмому каналу заканчивается под дребезжащую зловещую музыку «Вертится-крутится шар земной». Бет узнает Крейга и Дженнифер, оживленно что-то обсуждающих, и, уже выключая телевизор, думает: «Интересно, о чем они говорят?» А они менее чем за секунду превращаются в маленькую звездочку.

На уроках балета она была более гибкой и многообещающей из сестер — у Эрмионы, говорила мисс Димитрова в печальной манере русских белогвардейцев, нет *ballon*[32]. «Легче, легче! — кричала она так, что на ее тощей шее натягивались жилы. — *Vous avez besoin de légèreté!*[33] Представьте себе, что вы — *des oiseaux*[34]! Вы — существа воздушные!»

Эрмиона, до нелепости высокая для своего возраста и уже — что было ясно — предрасположенная к полноте, была тогда тяжела на

ногу, а Бет, *en faisant des pointes*[35], чувствовала себя птицей и кружилась, вытянув тощие руки.

— Ты задыхаешься, — осуждающе говорит Эрмиона Бет, когда та возвращается к телефону и со стоном опускается на маленький твердый стул, принесенный от кухонного стола, куда его поставили, когда Марк перестал питаться с родителями. У этого стула, репродукции мебели «Шейкер» в кедре, такое узкое сиденье, что Бет приходится нацеливать на него свой зад; несколько лет тому назад она попала на него лишь наполовину, и стул, покачнувшись, сбросил ее на пол. Она могла сломать себе копчик, если бы, по словам Джека, не была так хорошо упакована. Но сначала это его не позабавило. Он в ужасе бросился к ней, и когда стало ясно, что она не расшиблась, выглядел разочарованным. Эрмиона резко спрашивает: — Ты не смотрела специальный выпуск, нет?

— По телевизору? Нет... А был?

— Нет, но... — ее нерешительность полна многозначительности, как паузы в мильной опере, — произошли утечки. Кое-что преждевременно выплывает наружу.

— А что же выплыло? — спрашивает Бет, зная, что полное невежество — это способ развязать язык Эрмионе при ее жажде главенствовать над сестрой.

— Да ничего, дорогая. Я, конечно, не могу сказать это тебе. — Но, не в силах выдержать молчания Бет, она произносит: — Идет болтовня по Интернету. Мы считаем, что-то готовится.

— О Господи! — покорно включается Бет. — А как министр это

воспринимает?

— Бедный святой человек. Он такой совестливый — ведь вся страна у него на плечах. Честно, я боюсь, это может убить его. У него, знаешь ли, высокое давление.

— В телевизоре он выглядит вполне здоровым. Я, правда, иногда думаю: не мог бы он иначе подстричься? А то вид у него такой воинственный. Арабы и либералы сразу занимают оборонительную позицию.

Бет никак не может выбросить из головы мысль о том, что хорошо бы съесть еще одно овсяное печенье с изюмом — оно так и растаяло бы у нее во рту, а изюминки слюна вынесла бы на ее язык, и она покатала бы их, прежде чем раскусить. В свое время она садилась у

телефона с сигаретой; тогда главный хирург стал говорить ей, что это плохо для здоровья, и она бросила курить, но за первый год набрала тридцать фунтов. Ну не все ли равно правительству, что люди умирают? Они же не принадлежат ему. Она считает, они должны чувствовать облегчение от того, что народу стало меньше. Но рак легких — ну конечно — сильно опустошил медицинское страхование и обошелся экономике в миллионы продуктивных рабочих часов.

— Я подозреваю, — пытается помочь делу Бет, — многое из того, что говорят, — это просто треп из озорства учеников средних школ и колледжей. Некоторые из них — я это знаю — называют себя магометанами, просто чтобы досадить родителям. В школе есть мальчик, чьим наставником был Джек. Он считает себя мусульманином, потому что мусульманином был его бездельник отец, и игнорирует свою работающую католичку-ирландку мать, с которой живет. Представляешь, что сказали бы наши родители, если бы мы привели в дом мусульман в качестве будущих мужей!

— Ну, ты сделала нечто аналогичное, — говорит ей Эрмиона, отплачивая за критику прически.

— Бедный Джек, — продолжает Бет, не обращая внимания на оскорбление, — как он старается вытащить этого мальчика из когтей мечети! Они — как фанатики-баптисты, только еще хуже, потому что им все равно, если кто-то умрет. — Прирожденная сторонница миролюбия — возможно, все младшие сестры такие, — она обращается к излюбленному предмету разговора Эрмионы: — Скажи мне, что его сейчас так тревожит. Министра.

— Порты, — последовал уже готовый ответ. — Сотни кораблей с контейнерами ежедневно приходят и уходят из наших американских портов, и никто не знает, что везет десятая часть их. А они могут привозить к нам атомное оружие, маркированное как аргентинская воловья кожа или что-то еще. Бразильский кофе — да кто уверен, что это кофе? Или взять хотя бы эти огромные танкеры, в которых не просто нефть, а скажем, жидкий пропан. А именно так перевозят пропан — в жидком виде. Или подумать только, что произойдет в Джерси-Сити или под мостом Бэйонн, если они доберутся туда всего с несколькими фунтами семтекса или тротила. Это же будет большущий пожар — тысячи погибнут. Или возьми нью-йоркскую подземку — ты посмотри на Мадрид. Посмотри, что было в Токио несколько лет

назад. При капитализме все нараспашку — так и должно быть, чтобы система работала. А представь себе несколько человек со штурмовым оружием в каком-нибудь торговом центре в Америке. Или в магазинах



«Сакс» или «Блумингдейл». Помнишь старый «Уонамейкер»? С какой радостью ходили мы туда детьми? Мы словно оказывались в раю — особенно на эскалаторах и в отделе игрушек на верхнем этаже. Все это ушло. Никогда больше мы не сможем быть счастливы — мы, американцы.

Бет жалеет Эрмиону, которая принимает все так близко к сердцу, и говорит:

— Ой, да разве большинство людей не живут по-прежнему изо дня в день? В жизни всегда таится опасность. Оспа, войны. Ураганы в Канзасе. А люди продолжают жить. И ты живешь, пока тебя не остановят, а тогда ты уже ничего не будешь сознавать.

— В том-то и дело, именно в этом, Бетти, они и стараются остановить нас. Всюду, где угодно, — достаточно маленькой бомбы, нескольких ружей. Открытое общество так беззащитно. Все, чего достиг современный свободный мир, столь хрупко.

Только Эрмиона по-прежнему звала ее Бетти, и только когда была в дурном настроении. Джек и ее друзья по колледжу звали ее Бет, а после того как она вышла замуж, даже родители пытались переключиться на другое имя. Желая ликвидировать некоторый отход от темы, Эрмиона стремится угодить ей, завербовать ее в число тех, кто, как она, обожает министра.

— И ему, и этим экспертам приходится день и ночь думать о возможности наихудших сценариев. Возьми, к примеру, компьютеры. Мы включили их в нашу систему, так что теперь все от них зависят — не только библиотеки, а и промышленность, и банки, и брокеры, и авиакомпания, и атомные станции... да я могу перечислять без конца.

— Я в этом не сомневаюсь.

А Эрмиона, не уловив сарказма, продолжает:

— Ведь может произойти «кибернетическая атака», как они ее называют. Есть такие «червячки», которые проникают через теплозащитный кожух двигателя и насаждают там «яблочки», как они их называют, передающие, в какую систему они попали, и парализующие все, ликвидируя таблицы рассылки материалов и действуя через выходы, замораживают не только биржу и светофоры,

но все вообще — электростанции, больницы, сам Интернет, — можешь такое себе представить? «Червячки» запрограммированы распространяться и распространяться, пока даже телевидение, которое ты смотришь, не замрет или будет показывать по всем каналам только Осаму бен Ладена.

— Эрм, лапочка, с тех пор как мы жили в Филадельфии, я ни от кого не слышала слова «замрет». Разве эти «червячки» и «вирусы» не распространяются все время и источником их не оказывается какойнибудь несчастный не приспособленный к жизни юнец, который сидит в своей грязной комнатухе в Бангкоке или Бронксе? Они на какое-то время устраивают переполох, но не приводят к концу света. Со временем этих молодчиков вылавливают и сажают в тюрьму. Ты забываешь о существовании всех умных мужчин и женщин, которые изобрели этих червячков или как их там называют. Они-то уж наверняка могут обогнать нескольких фанатиков-арабов — эти ведь не изобрели компьютера, как мы.

— Нет, но они — чего ты, возможно, не знаешь — изобрели нулевую точку. И им не надо изобретать компьютер, чтобы стереть нас с лица земли. Министр называет это «кибернетической войной». И мы

— нравится тебе это или нет — вступили в нее. «Червячки» уже бегают вокруг — министру приходится ежедневно просматривать сотни сообщений об атаках.

— Кибернетических атак?

— Совершенно верно. Ты считаешь это забавным. Я это чувствую по твоему голосу, но это не так. Все очень серьезно, Бетти. Это шейкеровское кресло начинает причинять боль. У них, наверно, была другая форма тела, у этих квакеров и пуритан, — другое представление об удобстве и потребностях.

— Я не считаю это забавным, Эрм. Конечно, очень скверные вещи могут произойти, да уже и происходили, но... — Она забывает, что должно следовать за «но». Она думает о том, чтобы пройти с мобильником на кухню и залезть в ящик с печеньем. Она любит именно это печенье, которое продают в единственном старомодном угловом магазинчике, сохранившемся на Одиннадцатой улице. Джек покупает там это печенье для нее. Интересно, когда же вернется Джек: его наставнические обязанности стали занимать куда больше времени,

чем прежде. — Но я что-то не слышала, чтобы в последнее время было много кибернетических атак.

— Ну, поблагодари за это нашего министра. Он получает сообщения о них даже среди ночи. Это, право же, старит его. У него над ушами появилась седина, а под глазами — впадины. У меня просто руки опускаются.

— Эрмиона, разве у него нет жены? И несметного числа детей? Я видела их в газете — они шли в церковь на Пасху.

— Да, конечно, есть. Я это знаю. И знаю свое место. У нас чисто официальные отношения. А поскольку ты меня провоцируешь — только это очень конфиденциально, — больше всего сообщений мы получаем из Нью-Джерси. Из Тусона, района Баффало и севера НьюДжерси. Министр очень крепко держит рот на замке — он вынужден так поступать, — но есть имамы (надеюсь, я правильно произнесла), за которыми явно надо следить. Все они ведут страшную пропаганду против Америки, а некоторые идут и дальше. Я имею в виду: призывают к акциям против государства.

— Ну, по крайней мере этим занимаются имамы. А вот если раввины такое начнут, Джеку придется их поддержать. Правда, он никогда не ходит в храм. Может, чувствовал бы себя счастливее, если б ходил.

Эрмиона взрывается:

— Право, я иной раз не могу понять, как воспринимает тебя Джек

— ты же ни к чему не относишься серьезно.

— Это-то частично и привлекло его во мне, — говорит ей Бет. —

Он подвержен депрессии, и ему нравится то, что я такая легкая на подъем.

Наступает пауза — Бет чувствует, что сестра старается удержаться от возражения: теперь-то она вовсе не легкая.

— Что ж. — Эрмиона глубоко вздыхает там, в Вашингтоне. —

Отпускаю тебя к твоей мыльной опере. На моем другом телефоне загорелся красный огонек — он требует внимания.

— Хорошо было поговорить с тобой, — лжет Бет.

Старшая сестра заняла место матери, не давая ей забыть, сколько у нее недостатков. Бет позволила себе, как говорят, «распуститься». Из глубоких складок между катышами жира, где собираются темные

дробинки пота, в нос ей ударяет запах, — в ванне плоть ее всплывает

на воде словно гигантские пузыри, кажущиеся чуть ли не жидкими в своем покачивании и способности держаться на плаву. Как же это с ней произошло? Девочкой она ела все, что нравилось: ей никогда не казалось, что она ест больше других, да и сейчас не кажется, — просто пища задерживается в ней дольше. Она читала, что у некоторых людей клетки больше, чем у других. Разный метаболизм. Возможно, все из-за того, что она живет законопаченная в этом доме и жила так же в доме до этого — на Восемнадцатой улице, и в доме до того дома, который был на полмили ближе к центру, где они жили, пока это место не стало уж слишком плохим, — законопаченная человеком, который бросил ее, хотя с виду этого не скажешь. Каждый день он ходит в эту свою школу, зарабатывая на жизнь, — кто же может винить его за это? Когда она была молодой женой, Бет сочувствовала ему, но с годами поняла, как он все драматизирует: то, что уходит зимой до рассвета и возвращается домой после наступления темноты, свои сверхурочные обязанности, свои проблемы с учениками, срочные встречи с ненормальными родителями. Он приходил домой в отчаянии от того, что не в состоянии решить все проблемы, что столько несчастных живут в Нью-Проспекте без всякой цели, и теперь это отражается на детях. «Бет, им на все наплевать. Они никогда не знали, что существует социальный строй. Они не могут себе представить, что жизнь не ограничивается очередной дракой, выпивкой, схваткой с полицией или с банком, или с иммиграционной службой. Бедные дети, им никогда не довелось насладиться детством. Ты видишь, как они переходят в девятый класс с остатками надежды, с отголоском того рвения, каким они горели во втором классе, с верой, что если будешь знать правила и делать уроки, то будешь вознагражден, а ко времени окончания школы, если они ее оканчивают, мы все это вышибаем из них. Кто это — мы? Америка. Хотя, наверное, трудно сказать, где в точности все пошло не так. Мой дед считал, что капитализм обречен, что ему предначертано становиться все более и более деспотичным, пока пролетариат не бросится на баррикады и не создаст рабочий рай. Но этого не произошло: капиталисты оказались слишком умными или пролетарии слишком тупыми. Стремясь обезопасить себя, первые изменили ярлык „капитализм“ на „свободную инициативу“, но все равно многое осталось от „пес-поедает-пса“. Слишком много проигравших, а выигрывающие выигрывают слишком много. Но если не позволить

псам драться, они весь день будут спать в своей конуре. Я вижу главную проблему в том, что общество пытается быть порядочным, а порядочность не свойственна большинству людей. Никак не свойственна. Нам надо снова собирать охочих до работы, чтобы иметь стопроцентную занятость и уменьшить количество голодающих». Затем Джек приходит домой подавленный, потому что ему начинает надоедать борьба с неразрешимыми проблемами, и его попытки решить их становятся рутинной, трюкачеством, трудом, мошенническим трудом. «Что меня действительно раздражает, — говорил он, — так это то, что они отказываются понимать, как плохо им живется. Они считают, что живут неплохо — вот ведь купили новую пеструю дрянь за полцены или последнюю новую гипержестокую компьютерную игру, или новый страстный диск, который у всех должен быть, или обрели нелепую новую веру, которая

отравит ваш мозг и вернет его в каменный век. И вы всерьез задумываетесь, заслуживают ли люди жить на свете и не правы ли те, кто устраивает массовые убийства в Руанде, и Судане, и Ираке». А она, дав себе растолстеть, лишила себя возможности подбадривать его, как бывало. Он-то этого никогда не скажет. Он никогда не оскорбит ее. Возможно, это говорит в нем еврейское начало — чуткость, сознание ответственности, в действительности же чувство превосходства, когда человек хранит свои неприятности в себе, рано встает и подходит к окну, вместо того чтобы разбудить ее, оставаясь в постели. Они прожили хорошую жизнь вместе, решает Бет и выталкивает себя с маленького жесткого шейкеровского деревянного стула, держась рукой за спинку, чтобы не перевернуть его своим весом. Хорошенькое это было бы зрелище, если бы она лежала на полу со сломанным копчиком и была бы не в состоянии даже одернуть для приличия халат, когда появятся медработники. Но хватит: пора снимать халат и отправляться за покупками. А то у них кончилось необходимое: мыло, отбеливающий порошок для стирки, бумажные полотенца, туалетная бумага, майонез. Печенье и закуски. Она не может просить Джека покупать все это — ему и так приходится забирать еду для микроволновки в «Правильном магазине» или в этом китайском заведении, когда она работает в библиотеке до шести. И еще еду для кошки. Кстати, где Кармела? Кошку недостаточно гладят: она весь день уныло спит под диваном, а ночью

бегает как ошалелая. В известном смысле нехорошо было ее кастрировать, но если этого не сделать, котят будет полон дом. Они с Джеком прожили хорошую жизнь, говорит себе Бет, зарабатывая на жизнь «игрой на карандашиках» — ударяя сейчас по клавиатуре компьютера, они по-доброму относились к людям и помогали им. Такого в старые времена не позволяли себе американцы, надрывавшиеся, работая на заводах, когда в городах еще что-то производили; люди нынче боятся арабов, но это японцы и китайцы, и мексиканцы, и гватемальцы, и все остальные, работающие в этих местах за низкую заработную плату, которые приканчивают нас, не давая работать нашим рабочим. Мы пришли в эту страну и загнали индейцев в резервации, и построили небоскребов и скоростных шоссе, и теперь все хотят урвать кусок нашего внутреннего рынка подобно тому, как акулы набросились на кита у Хемингуэя, а на самом деле это был марлинь. Точно так же. И Эрмионе тоже повезло: получила хорошую работу в Вашингтоне у одного из главных игроков администрации, но это же нелепо так относиться к своему начальнику — послушать ее, так он наш общий спаситель. Когда закупорены гормоны, у человека появляется менталитет старой девы, как у монахинь и священников, которые становятся такими жестокими и распутными и не верят ничему из того, что проповедуют, судя по тому, как они ведут себя в отношении этих несчастных доверчивых детишек, которые стараются быть добрыми католиками. А выйдя замуж, узнаешь, что проделывают мужчины, как от них пахнет и как они себя ведут, — все это по крайней мере нормально: это вызывает разочарование и приканчивает нелепые романтические представления. Направившись к лестнице и своей спальне, чтобы переодеться для выхода на улицу (но во что? — вот проблема: ничто ведь не скроет лишних ста фунтов веса, ничто не поможет ей снова выглядеть на улице щеголихой), Бет думает, что надо, пожалуй, заглянуть на кухню,

хотя она только что съела ленч, — посмотреть, нет ли в холодильнике чего-нибудь пожевать. Словно желая подавить этот импульс, она снова бухается на Ленивого мальчишку и поднимает подножку, чтобы не ломило щиколотки. «Водяночные», — называет их доктор, а ведь было время, когда Джек мог обхватить их большим и средним пальцами. Не успев замереть в объятиях кресла, Бет понимает, что хочет в туалет.

Ну, не обращай на это внимания, и потребность пройдет — жизненный опыт научил ее этому.

А теперь — куда девался этот ТВ пульт? Она взяла его и выключила телевизор, а дальше — в памяти провал. Просто страшно, как часто у нее бывают такие провалы. Она ощупывает оба подлокотника и, с трудом перегнувшись, вторично за день вспомнив мисс Димитрову и ее упражнения на вытяжку, смотрит на сероватозеленый ковер, который продал ей тот мужчина. Должно быть, пульт лежал на подлокотнике, а потом соскользнул в щель рядом с подушкой, когда она плюхнулась обратно, вместо того чтобы подняться наверх и переодеться. Пальцами правой руки она обследует узкую щель — винил под воловью кожу из старых дней Дикого Запада, которые, наверно, вовсе не были такими уж чудесными для тех, кто тогда жил, а затем левой рукой — щель на другой стороне, и пальцы натываются на него — прохладный матовый корпус пульта переключения каналов. Все обошлось бы куда легче, если бы Бет не мешало ее тело, так плотно прижавшее подушку к креслу, что она боялась сломать ноготь о шов или обо что-то металлическое. А то в этих щелях скапливаются и шпильки, и монеты, и даже иголки и булавки. Мать вечно что-то шила или латала на этом старом, накрытом пледом кресле, чтобы воспользоваться светом у окна с широким деревянным подоконником, швейцарскими занавесками в крапинку, лотком с геранями и видом на такую пышную зелень, что земля в некоторых местах оставалась влажной до середины дня. Бет направляет пульт на телевизор, щелкает на второй канал — Си-би-эс, и вызванные к жизни электроны медленно собираются, и появляются звук и картинка. Звучащая фоном музыка к фильму «Вертится-крутится шар земной» немного более оркестрована, менее разодрана, чем поп-музыка к фильму «Все мои дети», где завывания ветра в лесу и басовые ноты струнных сочетаются с какими-то призрачными звуками, похожими на стук копыт, замирающий вдали. Судя по будоражащей музыке и выражениям лиц молодых актера и актрисы — злость, сдвинутые брови, даже испуг, — Бет может сказать, что они только что говорили о чем-то кардинально важном — согласованном расставании или убийстве, но она это пропустила, пропустила момент, когда повернулся шар земной. Она чуть не расплакалась.

Но жизнь — странная штука: как она приходит к тебе на выручку. Откуда ни возьмись появляется Кармела и прыгает к ней на колени. — Где ты была, моя крошка? — восклицает Бет звонким, полным экстаза голосом. — Мама так по тебе скучала!

Однако в следующую минуту она нетерпеливо сдвигает кошку с колен, опускает ее на мягкое теплое брюшко помурлыкать и пытается снова подняться с Ленивого мальчишки. Внезапно возникает целая куча дел.

Через две недели после выпуска из Центральной школы Ахмад сдал в экзаменационном бюро в Уэйне экзамен на получение лицензии

на право вождения коммерческих грузов. Его мать, позволявшая ему во многих отношениях самому справляться со всем, сопровождала его в своем старом коричневом фургоне «субару», на котором она ездила в больницу и возила свои полотна в магазин подарков в Риджвуде и на разные другие выставки, включая различные любительские выставки в церквях и школах. Соль, какой зимой посыпают дороги, разъела нижние края шасси, а из-за ее небрежного вождения и быстро открываемых на стоянках и в спиралевидных гаражах дверей других машин пострадали бока и крылья «субару». Переднее правое крыло, пострадавшее из-за недоразумения, возникшего у светофора на четырехполосном шоссе, было залеплено шпаклевкой «Бондо» одним из приятелей матери, значительно более молодым, чем она, скульптором-любителем, изготовлявшим

всякую

дрянь

и

перебравшимся в Тьюбак, штат Аризона, прежде чем заделку можно было отшлифовать и покрасить. Поэтому крыло осталось недоделанным, цвета замазки, а в других местах — главным образом на складном верхе и на крыше, открытых для любой погоды, — краска из коричневой превратилась в персиковую. Ахмаду кажется, что мать афиширует свою бедность и свою неспособность войти в ряды среднего класса, словно неудачи являются частью жизни художника и свободы личности, столь ценимой неверными американцами. Обилием своих цыганских браслетов и странной манерой одеваться — к примеру, в фабрично продырявленные джинсы и кожаную куртку фиолетового цвета, что были на ней в этот день, — она смущает его всякий раз, как они появляются вместе на людях.

В тот день в Уэйне она флиртовала с немолодым мужчиной, этим жалким государственным чиновником, принимавшим экзамен. Она сказала:

— Понять не могу, почему он считает, что хочет водить грузовик.

Эту идею заложил в него имам — не его мать, а имам. Милый мальчик считает себя мусульманином.

Мужчину, сидевшего за письменным столом в районном центре обслуживания в Уэйне, казалось, смутили эти излияния матери.

— Это может дать ему постоянный заработок, — произнес он, подумав.

Ахмад заметил, что слова с трудом вылетают из уст чиновника, словно он растрчивает некий ценный и истощающийся запас их. Лицо этого человека, укороченное слегка согбенной позой — а он сидел, согнувшись под мигающими флюоресцентными трубками, — было чуть деформировано, словно однажды исказилось под влиянием нехорошего чувства, да так и застыло. Это было безнадежное существо, на которое изливала свой флирт его мать, оскорбляя чувство достоинства сына. Этот человек был едва жив, увязнув в паучьей паутине инструкций, и не в состоянии был понять, что Ахмад, который по годам уже мог иметь водительские права третьего класса, еще не был по-настоящему взрослым мужчиной и не мог отказаться от матери. Осознав лишь, что женщина неприлично себя ведет и, возможно, подтрунивает над ним, мужчина вырвал из руки Ахмада заполненную форму о физическом состоянии и, велев Ахмаду сунуть

лицо в ящик, заставил читать, закрывая по очереди то один глаз, то другой, буквы разного цвета и различать цвета — красный, зеленый и отличный от них обоих янтарно-желтый. Машина измерила его пригодность водить другую машину, а у чиновника, проводившего испытание, лицо исказилось от злости, так как, выполняя изо дня в день одну и ту же работу, он сам превратился в машину, легковосполнимый элемент

в

механизме

беспощадного

материалистического Запада. Это ислам, неоднократно говорил шейх Рашид, сохранил науку и простые механизмы греков, когда вся христианская Европа в своем варварстве забыла об этом. В сегодняшнем мире героями сопротивления ислама Большому Сатане являются бывшие врачи и инженеры, умеющие пользоваться такими механизмами, как компьютеры, самолеты и придорожные бомбы.

Ислам — в противоположность христианству — не боится научной правды. Аллах создал физический мир, и все его устройства, используемые для святых целей, священны. Раздумывая таким образом, Ахмад получил права на вождение грузовика. Для получения прав водителя III класса не требовалось показывать свое умение на дороге.

Шейх Рашид доволен. Он говорит Ахмаду:

— Внешний вид бывает обманчив. Хотя я знаю, что наша мечеть кажется юным глазам внешне убогой и ветхой, она соткана из крепких нитей и построена на истинах, глубоко сидящих в душах людей. У мечети есть друзья — друзья не только могущественные, но и верующие. Глава семьи Чехаб на днях говорил мне, что его процветающей компании нужен молодой водитель грузовика, у которого нет нечистых привычек и который твердо держится нашей веры.

— У меня всего лишь права третьего класса, — говорит ему Ахмад, отступая на шаг от слишком легкого и быстрого, как ему кажется, вступления в мир взрослых. — Я не могу выезжать за пределы штата или возить опасные материалы.

Дни, прошедшие со времени выпуска, он жил с матерью, наслаждаясь бездельем, отрабатывая неупорядоченные часы в ярко освещенной «Секундочке», добросовестно готовя каждый день салат, ходя в кино на фильм, а то и на два, удивляясь затратам Голливуда на боеприпасы и красоте взрывов и бегая по улицам в своих старых спортивных шортах, иногда даже добегая до района домов барачного типа, где он в то воскресенье гулял с Джорилин. Он никогда не видит ее — только девчонок такого же цвета кожи, которые неторопливо прогуливаются, как она, зная, что на них смотрят. Пробегая по заброшенным кварталам, он вспоминает разговор, который как-то неопределенно вел с ним мистер Леви о колледже, и его не менее туманное перечисление предметов — «наука, искусство, история». Наставник приходил к ним на квартиру раз или два, но — хотя был дружелюбен с Ахмадом — быстро уходил, словно забыв, зачем пришел. Не слишком вслушиваясь в ответ, он спросил Ахмада о его планах и намерен ли он остаться здесь или уехать, посмотреть мир, как положено молодому человеку. Это прозвучало странно в устах мистера

Леви, который всю жизнь прожил в Нью-Проспекте, за исключением

времени обучения в колледже и пребывания в армии, что американцы обязаны были делать. Хотя в то время шла война американцев против жаждавшего самоопределения Вьетнама, обреченная на провал, мистера Леви никогда не посылали за пределы Соединенных Штатов — он занимался канцелярской работой и чувствовал себя виноватым, потому что, хотя война и была ошибкой, она давала возможность проявить храбрость и доказать любовь к своей стране. Ахмаду это известно, потому что мать стала теперь говорить о мистере Леви: каким он кажется славным, несмотря на то, что не очень-то счастлив — школьная администрация недооценивает его, да и для жены и сына он не имеет большого значения. Последнее время мать стала необычно разговорчивой и любознательной; она больше интересуется Ахмадом, чего он не ожидал: если он уходит, спрашивает, когда он вернется, и иногда бывает раздосадована, если он отвечает:

— Когда-нибудь.

— И когда же конкретно это может быть?

— Мать! Отвяжись. Скоро. Я, возможно, загляну в библиотеку.

— Не дать тебе денег на кино?

— У меня есть деньги, и я только что видел пару фильмов: один с Томом Крузом, а другой с Мэттом Дэймоном. Оба фильма о профессиональных убийцах. Шейх Рашид прав: фильмы порочны и глупы. Они создают представление об Аде.

— О Господи, каким мы стали святошей! Неужели у тебя нет друзей? Разве у мальчиков твоего возраста нет подружек?

— Мам, я не голубой, если ты на это намекаешь.

— Откуда ты знаешь?

Это шокировало его.

— Знаю.

— Ну, а я знаю только, — сказала она, согнутыми пальцами левой руки быстро отбрасывая со лба волосы и тем самым как бы признавая нечистоплотность этого разговора и кладя ему конец, — что никогда не знаю, когда ты объявишься.

А сейчас шейх Рашид почти таким же раздраженным тоном говорит:

— Они и не хотят, чтобы ты выезжал из штата. И не хотят, чтобы ты возил опасные материалы. Они хотят, чтобы ты развозил мебель. Фирма Чехабов «Превосходная домашняя мебель» находится на

бульваре Рейгана. Ты наверняка заметил ее или слышал, как я упоминал о семье Чехабов.

— Чехабов?

Ахмад порой опасается, что, думая все время о стоящем рядом с ним Боге — стоящем так близко, словно они единое неразрывное целое, стоящем «ближе к нему, чем вена на шее», как сказано в Коране, — он замечает меньше подробностей мирской жизни, чем другие люди, неверные.

— Хабиб и Морис, — поясняет имам, нетерпеливо так отчеканивая слова, словно щелкает ножницами, обрезая бороду. — Они — ливанцы, не марониты, не друзья. Они приехали в страну молодыми людьми в шестидесятые годы, когда похоже было, что Ливан может стать сателлитом сионистов. Они привезли с собой некий капитал и вложили его в «Превосходную домашнюю мебель». Идея



была продавать черным недорогую мебель, новую и бывшую в употреблении. Предприятие оказалось успешным. Сын Хабиба, которого неофициально зовут Чарли, продает товар и делает поставки, но они хотят, чтобы он играл в конторе более солидную роль, поскольку Морис отошел от дел и уехал во Флориду — он бывает на фирме лишь два-три летних месяца, а у Хабиба диабет, который забирает у него все больше сил. Чарли — как же это говорят? — введет тебя в курс дела. Он понравится тебе, Ахмад. Он законченный американец.

Серые, как у женщин, глаза йеменца превращаются в щелочки от внутреннего смеха. Он ведь считает Ахмада американцем. Как бы он ни старался и сколько бы ни изучал Коран, ничто не изменит национальность его матери и отсутствие отца. Отсутствие отцов, их влияния на то, чтобы люди были лояльны отчужденному дому, является одной из черт этого разлагающегося и лишенного корней общества. Шейх Рашид — худой и тонкий, как кинжал, с сидящим в нем опасным лукавством, порой давал понять, что Коран, возможно, и не существовал вечно до Рая, куда Пророк за одну ночь примчался на сверхъестественном коне Бураке, — он не предлагал себя Ахмаду в качестве отца: он смотрит на Ахмада по-братски и одновременно сардонически, с капелькой враждебности.

Но он прав: Ахмаду действительно нравится Чарли Чехаба, крупный высокий мужчина тридцати с лишним лет, с изрезанным

глубокими морщинами смуглым лицом и широким подвижным ртом. — Ахмад, — говорит он с одинаковым ударением на оба слога, растягивая второе «а», как в слове «Багдад». И спрашивает: — Так что ты больше всего любишь? — И, не ожидая ответа, продолжает: — Приветствую тебя в нашей так называемой «Превосходной». Мой папа и дядя не совсем знали английский, когда придумали такое название — они считали, что все у них и будет превосходным.

На его лице, когда он говорит, отражаются сложные движения ума: презрение, умаление собственной личности, подозрительность и (с приподнятыми бровями) добродушное сознание того, что и он, и его слушатель каким-то образом скомпрометировали себя.

— Да знали мы английский, — возражает стоящий рядом отец. —

Мы научились английскому в американской школе в Бейруте.

«Превосходный» означает «классный». Как и «новый» в НьюПроспекте. Это не значит, что проспект сейчас новый, но он был

новым тогда. Если бы мы назвали компанию «Чехабская мебель», люди стали бы спрашивать: «А что значит „чехабская“?» — Он словно отхаркивает, произнося «ч», напоминая Ахмаду этим звуком уроки по Корану.

Чарли сантиметров на тридцать выше отца и легко обвивает рукой голову старшего человека с более светлой кожей и ласково прижимается к нему, любовно обнимая. В этом положении голова мистера Чехаба-старшего выглядит как огромное яйцо, без волос на макушке, с более тонкой кожей, чем у сына, и с лицом как резиновая маска. Лицо у отца опухшее и словно с прозрачной кожей — возможно, это от диабета, о котором упоминал шейх Рашид. Бледная кожа мистера Чехаба прозрачна, но вид у него не больной: хотя он старше, чем, скажем, мистер Леви, а выглядит моложе, он полный, восторженный, готовый развлечься, даже если развлечение исходит от его сына. Он обращается к Ахмаду:

— Америка. Не понимаю я этой ненависти. Я приехал сюда молодым мужчиной, уже женатым, но мою жену пришлось оставить там — приехал с братом, — и нигде не было ни ненависти, ни стрельбы, как в моей стране, здесь все живут в своем племени. Христиане, евреи, арабы — никому нет дела до других; черные, белые, какие-то средние — все ладят друг с другом. Если у тебя есть что-то хорошее для продажи, люди купят. Если ты можешь предложить

работу, найдутся люди, которые ее выполнят. На поверхности — все ясно. И бизнесом заниматься легко. Сначала никаких беспокойств. Мы в Старом Свете считали, что цены надо устанавливать высокие, а потом уступать и снижать. Но никто этого не понимает — даже бедный заң, пришедший купить диван или кресло, платит цену, написанную на ярлыке, совсем как в продуктовом магазине. Но приходят немногие. Мы понимаем и ставим на мебель ценники с указанием цены, какую ожидаем получить — более низкую цену, — и народа приходит больше. Я говорю Морису: «Это честная и дружественная нам страна. У нас не будет проблем».

Чарли выпускает отца из объятий, смотрит Ахмаду в глаза, так как новый служащий одного с ним роста, только на тридцать фунтов легче, и подмигивает.

— Папа, — произносит он с хриплым вздохом долготерпения. — Тут есть проблемы. Заң не даны никакие права — они вынуждены бороться за них. Их линчевали и не разрешали заходить в рестораны, у них даже отдельные питьевые фонтанчики, они вынуждены обращаться в Верховный суд, чтобы их считали людьми. В Америке нет ничего бесплатного, за все надо драться. Нет ни *ummah*[36], ни *shari'a*[37]. Пусть этот парень расскажет тебе — он только что окончил школу. Всё — война, верно? Посмотри, что делает Америка за границей, — воюет. Они навязали Палестине еврейскую страну, впихнули ее прямо в горло Ближнего Востока, а теперь вломились в Ирак, чтобы превратить его в маленькое США и получить нефть.

— Не верь ему, — говорит Ахмаду Хабиб Чехаб. — Он распространяет эту пропаганду, а сам знает, что здесь хорошо. И он хороший малый. Видишь, он улыбается.

А Чарли не только улыбается — он хохочет, откинув голову, так что видно подковообразное полукружие его верхней челюсти и зернистый мускул языка, похожего на широкого червя. Его подвижные губы складываются в самодовольную ухмылку; глаза под густыми бровями настороженно изучают Ахмада.

— Что ты по поводу всего этого думаешь, Недоумок? Имам говорит нам, что ты очень верующий.

— Я стараюсь идти по Прямому пути, — признается Ахмад. — В нашей стране это нелегко. Тут слишком много путей, слишком много

продается ненужных вещей. Они хвастают своей свободой, но бесцельная свобода становится своего рода тюрьмой.

Отец перебивает его, громким голосом заявляя:

— Ты же никогда не знал тюрьмы. В этой стране люди не боятся тюрьмы. Не как в Старом Свете. Не как в Саудовской Аравии, не как было прежде в Ираке.

Чарли успокаивающе произносит:

— Папа, в тюрьме США — самое большое в мире народонаселение.

— Не больше, чем в России. Не больше, чем в Китае, хотя мы этого и не знаем.

— И все равно достаточно большое — подходит к двум миллионам. Молодым черным женщинам не хватает парней, чтобы развлечься. Господи, они же все сидят в тюрьмах.

— Тюрьмы — они для преступников. Три-четыре раза в год они вламываются в наш магазин. И если не находят денег, крушат мебель и всюду гадят. Мерзость!

— Папа, они же бедняки. Для них мы — богачи.

— Твой приятель Саддам Хусейн — вот он знает тюрьмы.

Коммунисты — они знают тюрьмы. А в этой стране средний человек ничего не знает о тюрьмах. У среднего человека нет страха. Он работает. Он соблюдает законы. А законы легковыполнимы. Не воруй. Не убивай. Не спи с чужой женой.

Несколько соучеников Ахмада в Центральной школе нарушили закон и были приговорены судом для несовершеннолетних за употребление наркотиков, за взлом и проникновение и за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Заправские злоумышленники считали суд и тюрьму частью нормальной жизни и не испытывали страха — они уже смирились с этим. Но намерение Ахмада сообщить об этом подавляет Чарли, который говорит с умным видом человека, одновременно стремящегося к миру и жаждущего поставить в разговоре точку:

— Папа, а как насчет нашего маленького концентрационного лагеря в Гуантанамо-Бэй? Эти несчастные даже не могут иметь адвокатов. Они даже не могут иметь имамов, которые не являются осведомителями.

— Это вражеские солдаты, — угрюмо произносит Хабиб Чехаб, стремясь окончить дискуссию, но не в состоянии сдаться. — Они опасные люди. Они хотят уничтожить Америку. Они говорят это репортерам, хотя мы их лучше кормим, чем когда-либо кормил Талибан. Они считают то, что произошло одиннадцатого сентября, большой шуткой. Для них — это война. Это джихад. Они сами так говорят. Чего они ожидают — что американцы лягут плашмя им под ноги и не станут обороняться? Да бен Ладен — и тот считается с тем, что ему будет нанесен ответный удар.

— Джихад вовсе не означает войны, — вставляет Ахмад слегка ломающимся от стеснения голосом. — Он означает борьбу за то, чтобы идти по пути Аллаха. Джихад может означать внутреннюю борьбу.

Старший Чехаб смотрит на него с новым интересом. Глаза у него не такие темно-карие, как у сына, — они как золотистые камушки, лежащие в водянистых белках.

— Ты хороший мальчик, — торжественно произносит он.

Чарли обхватывает сильной рукой тощие плечи Ахмада, как бы скрепляя солидарность троицы.

— Он не всем такое говорит, — признается он молодому новобранцу.

Разговор этот происходит в глубине здания, где за перегородкой стоят несколько стальных письменных столов, а за ними — пара дверей с матовыми стеклами, ведущих в контору. Все остальное пространство отдано под демонстрационный зал — кошмарное нагромождение стульев, сервировочных столов, кофейных столиков,

настольных ламп, напольных ламп, диванов, кресел, обеденных столов и стульев, скамеечек для ног, сервантов, люстр, висящих словно лианы в джунглях, настенных светильников в разнообразном металлическом и эмалированном оформлении, больших и малых зеркал, как голых, так и в рамах, украшенных позолоченными или посеребренными листьями и пышными цветами, и изображениями лент и орлов в профиль, с распростертыми крыльями и сцепленными когтями; американские орлы смотрят на Ахмада над его испуганным отражением — на стройного юношу смешанных кровей в белой рубашке и черных джинсах.

— На нижнем этаже, — говорит толстый коротышка отец с блестящим горбатым носом и мешками смуглой кожи под золотистыми глазами, — у нас мебель для улицы — для лужайки и балкона, плетеная и складная, и даже есть алюминиевые кабинки, где можно укрыться на заднем дворе от комаров, когда семья хочет побыть на воздухе. А наверху у нас мебель для спален — кровати и ночные столики, и бюро, и туалетные столики для дам, шкафы, когда недостаточно стеновых шкафов, шезлонги, где дама может сидеть, вытянув ноги, мягкие подставки для ног и табуреты тоже для отдыха, маленькие лампы-ночники — для того, чем занимаются в спальне. Возможно, заметив, как покраснел Ахмад, Чарли резко прерывает:

— Вещи, бывшие в употреблении, новые — мы не делаем большой разницы. На ценнике указана история вещи и ее состояние. Мебель — это не то что машина: у нее нет кучи секретов. Что видишь, то и получаешь. Что же до нас с тобой, то все свыше ста долларов мы доставляем бесплатно в любую часть штата. Людям это нравится. И не потому, что к нам заглядывает много покупателей с Кейп-Мей, но людям нравится, когда они могут за что-то не платить.

— И еще ковры, — говорит Хабиб Чехаб. — Люди хотят восточные ковры, словно ливанские поступают из Армении, из Ирана. Мы держим коллекцию внизу, и те, что лежат на полу, можно купить — мы их вычистим. На бульваре Рейгана есть специальные магазины ковров, но люди считают, что с нами можно торговаться.

— Они верят нам, папа, — говорит Чарли. — У нас доброе имя. Ахмад ощущает, как от этой массы вещей, необходимых для жизни, исходит аура смерти, которой насыщены подушки, и ковры, и льняные абажуры, аура органической природы человечества, жалких шести или около того позиций ее тела и его потребностей, отраженных в отчаянном разнообразии стилей и материалов того, что находится между уставленными зеркалами стенами, но в итоге служит повседневному нагромождению, изнашивается и наскучивает в закрытом пространстве, навечно отмеренном полами и потолками, где в молчаливой духоте и безнадежности протекают жизни без Бога в качестве близкого друга. Это зрелище возрождает в нем воспоминание, похороненное в складках памяти детства: ложное счастье от хождения по магазинам, соблазнительное призрачное изобилие того, что сделано человеком. Он поднимался с матерью на эскалаторах и шагал по

пропахшим духами проходам между прилавками последнего, обанкрочивающегося универсального магазина в центре города или, смущенный несоответствием ее веснушчатого лица со своей смуглой кожей, спешил, чтобы не отстать от ее энергичной поступи, по покрытой гудроном стоянке для машин в обширные, наскоро

сколоченные в стиле «больших коробок» ангары, где упаковки с товарами громоздились до обнаженных балок. Во время этих вылазок с целью найти замену какому-то не подлежащему ремонту предмету домашнего обихода или купить растущему мальчику новую одежду, или — до того как ислам отвратил его от этого, — вожделенную электронную игру, которая устареет в будущем сезоне, мать и сына со всех сторон осаждали привлекательные оригинальные вещи, которые были им не нужны и которые они не могли позволить себе, тогда как другие американцы, казалось, без труда приобретали их, а они не в состоянии были столько выжать из жалованья безмужней помощницы медсестры. Ахмад приобщался к американскому изобилию, лизнув его оборотную сторону. «Дьяволы» — вот чем были эти яркие пакеты, эти стойки с ныне модными легкими платьями и костюмами, эти полки со смертоносными рекламами, подбивающими массы покупать, потреблять, пока у мира еще есть ресурсы для потребления, для пожирания из кормушки до той минуты, когда смерть навеки захлопнет их алчные рты. Этому вовлечению нуждающихся в долги наступал предел со смертью, она была тем прилавком, на котором звенели сокращающиеся в цене доллары. Спешите, покупайте сейчас, потому что в загробной жизни чистые и простые радости являются пустой басней.

В «Секундочке», конечно, продают и вещи, но главным образом там стоят пакеты и коробки с соленой, сладкой, вредоносной едой, а также мухобойки и карандаши с ненужными резинками, изготовленные в Китае, а здесь, в этом большом демонстрационном зале, Ахмад чувствует себя приобщенным к армии торговли, и, несмотря на близость к Богу, чьей всего лишь тенью являются все материальные вещи, он взволнован. Ведь и сам Пророк был торговцем. «Не устают человек призывать добро» — сказано в сорок первой суре. Среди добра должно быть и производство во всем мире. Ахмад молод: у него полно времени, рассуждает он, чтобы получить прощение за материализм, если прощение потребуется. Бог ближе к нему, чем вена

на шее, и Он знает, каково жаждать комфорта, иначе Он не сделал бы грядущую жизнь такой комфортабельной: в Раю есть и ковры, и диваны, как утверждает Коран.

Ахмада ведут посмотреть на грузовик — его будущий грузовик. Чарли ведет его за столы, потом по коридору, скупо освещенному через слуховое окно, усеянное упавшими ветками, листьями и крылатыми семенами. В коридоре стоит бачок с охлажденной водой, висит календарь, перенумерованные квадратики которого исписаны датами поставок, и, как со временем поймет Ахмад, грязные табельные часы, а на стене — полка для карточек, на которых служащие отмечают время прихода и ухода.

Чарли открывает дверь, и там стоит грузовик, задом к погрузочной платформе из толстых досок под выступающей крышей. Грузовик — высокая оранжевая коробка, оба конца которой укреплены металлическими полосами, — поражает Ахмада, видящего такое впервые, а погрузочная платформа кажется ему большим тупоголовым животным, слишком близко подошедшим к платформе и упершимся в нее носом, словно в поисках еды. На его оранжевом боку, не таком ярком из-за дорожной грязи, скошенная синяя надпись с обведенным золотом словом «Превосходная», а под ним черными крупными буквами вывеска «МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДОМА» и более мелкими — адрес и

номер телефона. На задних колесах грузовика — двойные шины. С боков торчат большие зеркала в хромированной раме. Кабина плотно, без просвета, притаранена к основному корпусу. Машина большая, но удобная.

— Это надежный старый зверь, — говорит Чарли. — Она прошла сто десять тысяч миль и не имеет серьезных проблем. Садись и познакомься с ней. Не прыгай — пользуйся этими ступеньками. Меньше всего нам надо, чтобы ты в первый же рабочий день сломал себе щиколотку.

У Ахмада такое чувство, что все вокруг уже знакомо ему. В будущем он хорошо все узнает: погрузочную платформу, стоянку для машин с потрескавшимся асфальтом, нагреваемым летней жарой, окружающие низкие кирпичные строения и задворки сгрудившихся домишек барачного типа, в одном из углов — ржавеющий «дампстер», принадлежавший давно погребенному предприятию, приглушенный шум транспорта, мчащегося по четырехполосному бульвару с грохотом

океанской волны. Это место всегда будет каким-то магическим, каким-то мирным, неземным, обладающим странным магнетическим качеством некоего высокого вольтажа. Это место, овеянное дыханием Бога.

Ахмад спускается по четырем ступеням из толстых досок и оказывается на одном уровне с грузовиком. На дверце водителя жетон возвещает: «Форд-тритон-Е-350 сверхмощный».

Чарли открывает дверцу и говорит:

— Это твое место, Недоумок. Залезай.

В кабине стоит теплый дух мужских тел и затхлый запах сигаретного дыма, холодного кофе и мясных итальянских сэндвичей, съеденных на ходу. Ахмад часами изучал брошюры с правилами дорожного движения, где столько говорилось о двойном выжимании сцепления и торможении при помощи коробки скоростей на опасных спусках из-за отсутствия рычага переключения скоростей в полу, и теперь с удивлением спрашивает:

— А как мы переключаем скорости?

— Мы их не переключаем, — говорит ему Чарли; на лице его появляется недовольное выражение, но голос звучит достаточно нейтрально. — Это автоматическая коробка. Как в вашей семейной машине.

У матери Ахмада — «субару», которой они стыдятся.

Его новый друг чувствует, что он смущен, и успокаивающе говорит:

— Переключение скоростей — это только лишняя морока. Один малый, которого мы взяли водителем два года назад, сломал коробку скоростей, воткнув заднюю скорость, когда спускался с горы.

— Но на крутых спусках разве не следует переходить на пониженную передачу? Вместо того чтобы жать на тормоз, продавливая педали.

— Валяй, ты можешь тормозить, переключая скорости. Но в этой части Нью-Джерси не так много холмов. Это не Западная Виргиния. Чарли знает штаты — он человек бывалый. Он обходит кабину и, вытянув, как обезьяна, руки, легким прыжком залезает на пассажирское сиденье. У Ахмада такое чувство, будто кто-то, легко прыгнув, лег с ним в постель. Чарли извлекает наполовину красную пачку сигарет из кармашка рубашки из жесткой грубой ткани, похожей

на хлопчатобумажную, только не голубого цвета, а как у военных, зеленого, и ловким щелчком выбрасывает из нее на дюйм несколько сигарет с коричневым кончиком.

Он спрашивает Ахмада:

— Курнешь, чтоб успокоить нервы?

— Спасибо, нет, сэр. Я не курю.

— В самом деле? Это мудро. Будешь жить вечно, Недоумок. И можешь обходиться без «сэра». «Чарли» сойдет. О'кей, посмотрим, как ты поведешь эту махину.

— Прямо сейчас?

Чарли фыркает, выпустив облачко дыма, которое краем глаза видит Ахмад.

— Ты предпочел бы сделать это на будущей неделе? А для чего же ты сюда пришел? Да не волнуйся так. Это же плевое дело. Полные идиоты, поверь, все время этим занимаются. Это не ракетная наука. Сейчас половина девятого утра — слишком рано, считает Ахмад, для крещения. Но если Пророк доверил его тело бесстрашному коню Бураку, Ахмад может залезть на высокое черное сиденье, потрескавшееся и все в пятнах от тех, кто его занимал, и повести эту оранжевую махину-коробку на колесах. Мотор, включенный поворотом ключа, басовито гудит, словно горячее гущи бензина и состоит из кусков.

— Топливо дизельное? — спрашивает Ахмад.

Чарли выдыхает еще большее облако — дым выходит из самой глубины его легких.

— Ты что, шутишь, парень? Ты когда-нибудь ездил на дизеле?

Дизель провоняет все тут, и двигатель разогревается страшно долго. Ты не можешь просто сесть и жать на газ до упора. Кстати, об одном следует помнить: на крыле нет бокового зеркальца. Так что не паникуй, когда глянешь по привычке, а там ничего нет. Пользуйся боковыми зеркалами. Еще одно: запомни, что на все требуется больше времени — на то, чтобы остановиться, и на то, чтобы поехать. У светофоров не пытайся победить в гонках и удрать. Машина похожа на пожилую даму: не подталкивай ее, но и не недооценивай. Отведешь на секунду взгляд с дороги, и она может тебя убить. Но я не хочу тебя пугать. О'кей, устроим ей испытание. Поехали. Подожди: не забудь сдать назад. А то мы уже не раз налетали на платформу. Тот самый

водитель, о котором я говорил прежде. Знаешь, что я за годы узнал?

Нет ничего такого, чего дураки не совершили бы. Сдай назад, развернись на сто двадцать градусов, выезжай с участка прямо вперед — это будет Тринадцатая улица — и поезжай по Рейгану. Свернуть налево ты не сможешь: там бетонный отбойник, но, как я уже сказал, нет ничего такого, чего не совершил бы дурак.

Чарли еще говорит, а Ахмад уже сдает назад, пятится, аккуратно делает полуразворот и, включив скорость, выезжает с участка. Он обнаруживает, что, сидя так высоко над землей, он словно плывет и глядит вниз на крыши машин. Выезжая на бульвар, он срезает угол, и задние колеса переезжают через край тротуара, но он почти не чувствует этого. Он словно переместился в другое измерение, на другой уровень. А Чарли тушит сигарету о приборную доску и так этим занят, что не замечает, как подскочил грузовик.

После того как Ахмад проехал несколько кварталов, он привык

кидать взгляд влево, на зеркало обратного вида, а потом через окно для пассажира — на правое зеркало. Оранжевые, окаймленные хромом отражения боков «Превосходного» больше не вызывают у него тревоги — они стали частью его, как плечи и руки, которые появляются в его периферическом зрении, когда он идет по улице. Во сне он с детства иногда летает по коридорам или идет по тротуару в нескольких футах над землей, а иногда просыпается с эрекцией или — что еще позорнее — с большим мокрым пятном на внутренней стороне ширинки своих пижамных брюк. Он тщетно искал в Коране совета касательно секса. Там говорилось о нечистоте, но только у женщин — во время менструации, когда они кормят грудью младенца. Во второй суре он нашел таинственные слова: «Ваши жены — нива для вас, ходите на вашу ниву, когда пожелаете, и уготовывайте для самих себя, и бойтесь Аллаха, и знайте, что вы его встретите». А в предыдущем стихе он прочитал, что женщины — грязные. «Отдаляйтесь от женщин и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, приходите к ним, как приказал вам Аллах. Истинно Аллах любит обращающихся и любит очищающихся»[38]. Ахмад чувствует себя чистым в грузовике, отрезанным от испорченного мира, где улицы полны собачьего помета и где летят куски пластика и бумаги; он чувствует себя чистым и свободным, а позади воздушным змеем летит за ним — как он видит в боковом зеркале — оранжевая коробка.

— Не перебирай вправо, — неожиданно резко предупреждает его Чарли, и в голосе его звучит тревога.

Ахмад снижает скорость, не осознав, что обгоняет машины слева, на полосе, ближайшей к разделителю, прочному ряду джерсийских барьеров.

— Почему их называют «джерсийскими барьерами»? — спрашивает он. — А как их называют в Мэриленде?

— Не уводи разговор в сторону, Недоумок. Когда ведешь грузовик, нельзя сидеть и раздумывать. В твоих руках жизнь и смерть, не говоря уж о стоимости ремонта, которая взорвет страховку, если ты напортачишь. Никаких сосисок и болтовни по мобильникам, как это делают в автомобилях. У тебя машина больше — значит, и работать ты должен лучше.

— В самом деле? — Ахмад делает попытку подтрунить над более старшим спутником, своим братом американским ливанцем, заставить его сбросить свою мрачную серьезность. — Разве автомобили не должны уступать мне дорогу?

Чарли не понимает, что Ахмад подтрунивает над ним. Он не спускает глаз с дороги, глядя сквозь ветровое стекло, и говорит:

— Не валяй дурака, парень: они же не могут. Это все равно как с животными. Крысы и кролики не равня львам и слонам. Ты не ставишь Ирак на один уровень с США. Раз ты больше, значит, должен быть и лучше.

Эта политическая нотка кажется Ахмаду странной, слегка неуместной. Но он в одной упряжке с Чарли и, покорно смирившись, продолжает ехать.

— Иисусе, — произносит Джек Леви. — Вот это жизнь! Я уже и забыл о таком и не ожидал, что кто-то напомнит мне.

Так осторожно, не называя в данных обстоятельствах жену, он воздаст должное той, что в свое время приобщала его к жизни.

Рядом с ним Тереза Маллой, обнаженная, кивает:



— Верно, — но тут же добавляет для самозащиты: — но ненадолго.

Ее круглое лицо с глазами слегка навывкате залилось румянцем, так что веснушки слились с цветом щек — светло-бежевые на розовом фоне.

— Что именно? — спрашивает Джек.

А ей вовсе не хочется, чтобы он согласился с тем, что она так беспечно его отбрасывает. Щеки ее из розовых становятся красными — ее больно уколот его вопрос, понимание своей незащитности в этой тупиковой аванюре с еще одним женатым любовником. Он никогда не бросит свою толстуху Бет, да и хочет ли она этого? Он на двадцать три года старше ее, а ей нужен мужчина, который был бы с ней до конца ее жизни.

Лето в Нью-Джерси достигло своей июльской непрекращающейся жары, но их разгоряченным любовью телам воздух кажется прохладным, и любовники натягивают верхнюю простыню, смятую и влажную от того, что она была под ними. Джек садится, упершись в подушки, обнажив вялые мускулы и седую поросль на груди, а Терри с прелестной богемной нескромностью не стала так высоко подтягивать свой край простыни, чтобы он мог любоваться ее грудями, белыми, как мыло, там, где солнце никогда не касается их, и снова взвесить их на руке, если пожелает. Он любит полноту — правда, она может стать излишней. Запах растворителя красок и льняного масла нагоняет здесь, в постели любовницы, на Джека сон. Как сказала Терри, она стала делать более крупные и более яркие работы. Когда в процессе секса она сидит у него на коленях, убажывая его вставший член, у него возникает впечатление, что краски с ее стен текут под его руками по ее бокам, ее длинным ребристым белым бокам ирландки. А вот Бет он не может представить себе грузно сидящей на его члене или широко разбросавшей в стороны ноги, — они больше не сливаются в разных позах, за исключением того, когда спят, но даже и тогда ее огромный зад отпихивает его, словно у них в постели лежит ревнивый ребенок. — Дело в том, — продолжает Джек, почувствовав, что Терри молчит из-за какой-то бестактности с его стороны, — что пока отношения продолжаются, не имеет значения, вечны они или нет; Мать-Природа говорит: «Не все ли равно?» А чувство такое, что это навеки. Я обожаю твои груди — говорил я тебе это недавно? — Они начали повисать. Ты бы видел их, когда мне было восемнадцать. Они были даже больше и стояли торчком. — Терри, пожалуйста. Не возбуждай меня снова. Мне надо идти. У Бет тоже, вспомнил он, груди были как перевернутые чаши размером с плоски для каши на завтрак и соски твердые, как

брусничка во рту.

— Куда теперь, Джек? — Голос Терри звучит устало. Любовница знает, что ее мужчина — вран, тогда как жена лишь догадывается.

— К моим обязанностям наставника. Это действительно так — на другой конец города. Машина у меня, а она нужна будет ей через полтора часа, чтобы ехать в библиотеку.

Он сам не уверен, будучи в состоянии посторгазма, когда в голове пустота, насколько то, что он сказал, — правда. Но он знает, что Бет в какое-то время нужна машина.

Услышав неуверенность в его тоне, Терри жалуется:

— Джек, ты вечно куда-то спешишь. От меня что, плохо пахнет или что-то еще?

Это жестоко, потому что от Бет действительно исходит дурной запах — кислый дух от ее глубоких складок заполняет ночью постель и усугубляет его ночное беспокойство и страх.

— Ни в коем разе, — произносит он, переняв жаргон от студентов. — Даже от... — И умолкает, боясь пережать.

— ...от моего влагалища. Так и скажи.

— Даже от него нет запаха, — признает он. — Особенно от него.

Ты — сладкая. Ты моя сахарная слива.

По правде говоря, он боится слишком долго утыкаться лицом в ее промежность из страха, что Бет почувствует запах другой женщины, когда они целуются на ночь — вернее, лишь дотрагиваются губами друг до друга, но за тридцать шесть лет брака это уже вошло у них в привычку.

— Опиши мое влагалище, Джек. Я хочу услышать. Расслабься.

— Прошу тебя, Терри. Это же нелепо.

— Почему, чопорный святоша? Ах ты, этакий еврейский ханжа.

Что такого нелепого в моем влагалище?

— Ничего, ничего, — соглашается он, уничтоженный ее доводами. — Оно у тебя идеальное, роскошное...

— Оно? Что это? К чему относятся все эти милые эпитеты?

Идеальное и роскошное.

— К твоему влагалищу.

— Отлично. Продолжай.

Возможно, она придирается потому, что он использует ее влагалище, как и ее саму, без должного внимания, без учета всей

картины: запаха, случайных обстоятельств, боли одиночества, когда он выходит из нее, понимания, что он ее употребляет и употребляет безглаголиво.

— Оно влажное, — продолжает он, — и мохнатое, и мягкое внутри, как цветок, и растягивается...

— Ах, значит, — говорит она, — растягивается. Интересно. И оно любит... скажи мне, что оно любит.

— Оно любит, когда его целуют и лизут, и с ним играют, и в него входят... не заставляй меня продолжать, Терри. Это убивает меня. Я без ума от тебя, ты это знаешь. Ты — самая славная...

— Не говори мне... — со злостью произносит она и, откинув простыню, выпрыгивает из постели, тряхнув задом, который, как она сказала про другое, начал повисать. На ее ягодицах появились складки.

Словно чувствуя взгляд Джека на своей спине, она поворачивается в дверном проеме в ванную, тряхнув небольшой прядью цвета кедр, — Джек чувствует, с каким вызовом она выставляет напоказ все свое мягкое тело — белый хлеб без корочки, — как бы призывая его проявить доброту, с чем он недостаточно охотно согласился. При виде ее — обнаженной и такой женственной, такой чувствительной и неуклюжей — у него высыхает рот, он чувствует, как из него выходит воздух его обычно закрытой, добропорядочной жизни. Терри заканчивает за него начатую им фразу: — ...самая славная с тех пор, как Бет стала толстой свиньей. Ты рад предаваться со мной сексуальным радостям, но ты не хочешь произнести слово «секс» из боязни, что она может каким-то образом это услышать. Раньше ты обладал мной и тотчас сбежал, боясь, что Ахмад может вернуться в

любую минуту, а теперь, когда он весь день на работе, у тебя всегда есть объяснение, почему ты не можешь задержаться ни на минуту. «Наслаждайся мной» — вот все, о чем я когда-либо просила, но нет, у евреев должно быть чувство вины — это их способ показать, какие они особенные, насколько они выше всех остальных, Господь гневается только на них с их вонючим бесценным заветом. Меня тошнит от тебя, Джек Леви!

Она захлопывает дверь в ванную, но дверь задевает шерстяной ванный коврик и не сразу закрывается, так что он видит при свете, со злостью включенном, как трясется ее ирландский зад, которого никогда не целовало солнце пустыни.

Помрачнев, Джек продолжает лежать — ему хочется одеться, но он понимает, что это будет лишь доказательством ее правоты. Появившись наконец из ванной, где под душем она смыла с себя его, Терри подбирает с пола белье и не спеша надевает его. Ее груди болтаются, когда она нагибается, и именно их она первым делом накрывает, убирая в чашечки бюстгалтера, с гримасой закидывая руки за спину, чтобы сцепить застежку. Затем она продевает ноги в трусики, держась, чтобы не покачнуться, вытянутой красивой твердой рукой за крышку бюро, на котором выстроились масляные краски художника. Сначала одной рукой, потом обеими она подтягивает нейлон, — кудрявая волосня кедрового цвета выскакивает на миг из своего плена над эластичным поясом, словно шапка пены на нетерпеливо налитом пиве. Бюстгалтер у нее черный, а стеганые трусики — сиреневые. Их эластичный пояс находится низко, обнажая выпуклость ее живота, как у самых смелых битников, — правда, она надевает обычные старые джинсы с высокой талией и пятном-двумя краски спереди. Рифленая фуфайка и пара парусиновых сандалий — и она будет полностью оснащена, готовая к встрече с улицей и ее возможностями. Какойнибудь другой мужчина может украсть ее. Всякий раз, как Джек видит ее нагой, он опасается, что это в последний раз. Его охватывает отчаяние — настолько сильное, что хочется закричать.

— Не надевай ты всего этого на себя. Вернись в постель, Терри, прошу тебя.

— У тебя же нет времени.

— У меня есть время. Я только что вспомнил, что мои наставнические обязанности начинаются только в три. Парень в любом случае пропащий — он из Фейр-Лоун, его родители считают, что я могу натаскать их сына для поступления в Принстон. А я не могу. Ну так как?

— М-м... может, на секундочку. Только прижаться к тебе. Терпеть не могу, когда мы ссоримся. Между нами не должно быть ничего такого, чтобы ссориться.

— Мы ссоримся, — поясняет он ей, — потому что дорожим друг другом. Если бы мы не дорожили, мы бы и не ссорились. Она расстегивает крючок на джинсах, вобрав в себя живот и вытаращив глаза, так что на секунду выглядит комически, и быстро ныряет под смятую простыню в своем черно-сиреновом белье. В таком

виде в ней есть что-то от беспечной шлюхи типа малолеткипотаскушки, вроде некоторых отчаянных девчонок в Центральной школе, и член Джека исподволь начинает пульсировать. Он старается не обращать на это внимания, обнимает ее за плечи — нижние волосы

на ее шее все еще влажны от душа — и целомудренно, по-товарищески притягивает к себе.

— Как дела у Ахмада? — спрашивает он.

Терри устало отвечает, чувствуя резкий переход от блудницы к матери:

— По-моему, дела у него идут отлично. Ему нравятся люди, у которых он работает: отец и сын — ливанцы, которые держатся с ним как добрый-злой полисмены. Ахмад обожает грузовик.

— Грузовик?

— Это мог быть любой грузовик, но в данном случае — это его грузовик. Каждое утро он проверяет, как накачаны шины, проверяет тормоза, все эти жидкости. Он рассказывает мне про них — про моторное масло, охлаждение для радиатора, жидкость для мытья ветрового стекла, батареи, рулевое управление с усилителем, автоматическую коробку передач... По-моему, это все. Он проверяет, хорошо ли стягивают ремни, и уж и не знаю что еще. Он говорит, что механики на станциях обслуживания, когда занимаются плановыми проверками, слишком торопятся и не делают это как следует. У грузовика есть даже имя — «Превосходный». От «Превосходная домашняя мебель». Хозяева считали, что он и будет превосходным.

— Что ж, — признает Джек, — это почти так. И это остроумно.

Эрекция возвращается, пока он лежит, думая о Терри как о матери и профессионале, помощнице медсестры и абстрактном художнике, интеллигентном многостороннем человеке, которого он был бы рад знать, даже если бы она не была противоположного пола. Но его мысли потекли в другом направлении под влиянием ее шелковистого белья, сиреневого и черного, и ее легкой, беспечной манеры отдаваться ему — весь этот ее опыт, все эти любовники, какие были у нее за пятнадцать лет, прошедших с тех пор, как отец Ахмада, не сумев разгадать загадку Америки, сбежал. Даже и тогда она, девушка, выросшая в католической семье, ничего не имела против того, чтобы объединиться с подонком-мусульманином. Она была дикаркой, вне правил. Терри-бля. Священный Терр-ор.

Он спрашивает ее:

— Кто рассказал тебе о евреях и их завете?

— Не знаю. Кто-то, кого я когда-то знала.

— Знала в каком смысле?

— Знала — и все. Послушай, Джек, разве мы не договорились?

Ты меня не спрашиваешь, и я тебе не рассказываю. Меня бросили, и я жила одна в лучшие годы, какие бывают у женщины. Теперь мне сорок. Не ворчи по поводу моего прошлого.

— Я, конечно, не забиваю этим себе голову. Но как мы уже говорили,

когда

человек

тебе

небезразличен,

появляется

собственнический инстинкт.

— Разве мы это говорили друг другу? Я что-то такого не слышала.

Я слышала только, что ты думаешь о Бет. Несчастной Бет.

— Не такая она уж и несчастная в своей библиотеке. Она сидит за столом справок и разбирается в Интернете куда лучше меня.

— По тому, что ты говоришь, она просто чудо.

— Нет, но она — личность.

— Великолепно. А кто не личность? Ты хочешь сказать, что я — не личность?

Ирландский характер заставляет вас ценить лютеран. Его член чувствует перемену в Терезе и начинает снова сникать.

— Мы все — личности, — успокаивает он ее. — Особенно ты.

Что же до завета, то перед тобой еврей, который никогда с этим не считался. Мой отец ненавидел религию, и единственные заветы, о которых я слышал, соблюдались по соседству, куда не пускали евреев.

А как у Ахмада с религиозностью в эти дни?

Она немного расслабляется и падает на подушку. Его взгляд опускается на дюйм в глубину ее черного бюстгальтера. Усыпанная веснушками кожа верхней половины ее груди похожа в какой-то мере на креп, потому что из года в год подвергается вредному влиянию солнца, в противоположность белой, как мыло, полосе с внутренней стороны бюстгальтера. Джек думает: «Значит, другой еврей был здесь до меня». А кто еще? Египтяне, китайцы — одному Богу известно кто. Многие из ее знакомых-художников — мальчишки вдвое моложе ее. Для них она была бы любовницей-матерью. Возможно, потому ее мальчик с причудами, если у него есть причуды.

Она говорит:

— Трудно сказать. Он никогда об этом много не говорит.

Малышом он выглядел таким хрупким и испуганным, когда я высаживала его у мечети и он должен был один подниматься по лестнице. А когда я спрашивала потом, как все прошло, он говорил: «Отлично» — и умолкал. Даже краснел. Было что-то такое, чем он не мог со мной поделиться. А теперь, когда Ахмад работает, он сказал мне, что ему трудно всегда быть в мечети в пятницу, к тому же этот Чарли, который постоянно с ним, похоже, не очень соблюдает обряды. Но знаешь, в общем, Ахмад стал более раскованным — то, как он со мной разговаривает, более уверенно, по-мужски, смотрит мне в глаза. Он доволен собой — ведь он зарабатывает, и... не знаю, возможно, я все это вообразила — более открыт для новых идей, не замкнут в эту свою, с моей точки зрения, ограниченную и нетерпимую веру. Он получает свежее вливание.

— А подружка у него есть? — спрашивает Джек Леви, благодарный Терри за то, что она перешла на тему, не имевшую отношения к его собственным слабостям.

— Насколько мне известно — нет, — говорит она.

Джеку нравится этот ее ирландский рот, который она забывает закрыть, когда задумывается, приподняв верхнюю губу с маленьким прыщичком посередине.

— Я думаю, я бы знала. Он приходит домой усталый, я кормлю его, он читает Коран или в последнее время, чтобы было о чем поговорить с Чарли, — газету из-за этой идиотской войны с террором и ложится у себя в комнате спать. На его простынях... — она жалеет, что подняла эту тему, и тем не менее продолжает: — нет пятен. — И добавляет: — Так не всегда было.

— А откуда ты узнала бы, что у него есть девушка? — не отступается Джек.

— О-о, он заговорил бы об этом, хотя бы для того, чтобы вызвать у меня раздражение. Он всегда ненавидел моих партнеров. Ему

хотелось бы уходить из дома по вечерам, но он этого не делает.

— Это выглядит не вполне нормально. Он красивый мальчик. А не может он быть голубым?

Вопрос не расстраивает ее: она об этом уже думала.

— Я могу ошибаться, но, по-моему, я бы это знала. Учитель Ахмада в мечети, этот шейх Рашид — жутковатый тип, но Ахмад это

понимает. Он уважает его, но не доверяет ему.

— Ты говоришь, что знакома с этим человеком?

— Я видела его раз или два, когда заезжала за Ахмадом или подвозила его. Со мной он держался очень спокойно и пристойно. Однако я чувствовала ненависть. Я была для него куском мяса — нечистого мяса.

Нечистое мясо. У Джека вновь возникает эрекция. Он позволяет себе минуту-другую сосредоточиться на этом обстоятельстве, прежде чем поделиться с Терри этим, возможно, не к месту возникшим фактом. Он уже забыл, что получает удовольствие просто от того, что это существует — твердый, крепкий, назойливо напоминающий о себе стержень, исполненный самомнения, маленький, недавно заново возродившийся центр твоего существа, создающий впечатление, что ты — больше, чем на самом деле.

— А эта работа Ахмада, — возобновляет Джек разговор. — Он проводит на ней много часов?

— По-разному, — говорит Терри. Ее тело — пожалуй, в ответ на то, что излучает его тело, — выдает смесь дразнящих запахов, главным образом запах мыла с загорелкой. Разговор о сыне перестает интересовать ее. — Он освобождается, как только доставляет мебель. В иные дни рано, по большей части — поздно. Иногда им приходится ездить в такую даль, как Кэмден или Атлантик-Сити.

— Непросто это — доставлять мебель.

— Они не только развозят мебель, но и забирают ее. У них очень много мебели, бывшей в употреблении. Они оценивают имущество и увозят его. У них есть своего рода сеть покупателей — какую роль играет тут ислам, я не знаю. Большинство их клиентов живут вокруг Нью-Проспекта — это семьи черных. Некоторые их дома, говорит Ахмад, на удивление симпатичные. Ему нравится видеть разные районы, разный образ жизни.

— Нравится смотреть на мир, — со вздохом произносит Джек. — Сначала посмотреть Нью-Джерси. Я это посмотрел, а вот до остального мира не дошел. А теперь, мисс, у нас с тобой появилась проблема.

Выпуклые, цвета бледного берилла глаза Терезы Маллой расширяются в легком испуге.

— Проблема?

Джек приподнимает простыню и показывает ей, что произошло ниже его талии. Он надеется, что достаточно разделил с ней жизненные проблемы, так что теперь она должна разделить это с ним. Она смотрит и, высунув кончик языка, загибает его и дотрагивается до пухлой середины верхней губы.

— Это не проблема, — решает она. — No problema, señor[39].

Чарли Чехаб часто ездит с Ахмадом, даже когда Ахмад может сам справиться с погрузкой и разгрузкой мебели. Поднимая и подтаскивая тяжести, юноша стал сильнее. Он попросил, чтобы чеки — почти

пятьсот долларов в неделю, вдвое больше того, что платили ему из расчета почасовых в «Секундочке», — выписывались на имя Ахмада Ашмави — фамилию отца, хотя он по-прежнему живет с матерью. Поскольку на его страховке и водительских правах всюду стоит фамилия Маллой, мать пошла с ним в банк, в одно из этих новых зданий из стекла в центре города, чтобы объяснить ситуацию и открыть отдельный счет. Такой она теперь стала: не противится ему, — правда и прежде никогда особенно не противилась. Его мать, как он теперь, оглядываясь назад, понимает, — типичная американка, у которой нет ни сильных убеждений, ни храбрости и уверенности, какие они приносят. Она — жертва американской религии свободы, свободы прежде всего, хотя свободы в чем и для какой цели — это растворяется в воздухе. А в воздухе разрываются бомбы — пустой воздух является идеальным символом американской свободы. Здесь нет имтаһ, — Чарли и шейх Рашид утверждают оба, — нет всеобъемлющего божественного закона, который повелевает людям богатым и бедным стоять согнувшись, плечом к плечу, нет кодекса самопожертвования, нет исходящего от души подчинения, какое лежит в основе ислама, в самом его имени. Вместо этого существует разнообразие несовместимых индивидуальных поисков своей сути под лозунгами: «Не упusti ни одного дня», и «Всяк за себя», и «Бог за тех, кто помогает себе», иначе говоря: «Бога нет, Судного дня нет — помогай сам себе». Двойной смысл выражения «помогай сам себе» — что значит «полагайся на себя» и «хватай, что можешь» — забавляет шейха, который, проведя двадцать лет среди неверных, гордится свободным владением их языком. Ахмад иногда вынужден бороться с подозрением, что его учитель живет в полуреальном мире чистых слов

и больше всего любит Священный Коран за его язык, хранилище скорописи, чьим содержимым являются слоги, экстатический поток «л» и «а» и гортанных звуков в горле, наслаждение криками и мужеством воинов-всадников в развевающейся одежде под безоблачными небесами аравийских пустынь.

Мать кажется Ахмаду немолодой женщиной, а в душе девчонкой, игриво занимающейся искусством и любовью; в последнее время она ожила и чем-то озабочена — сын приписывает это появлению нового любовника, хотя этот — в противоположность предыдущим — не появляется в квартире и не оспаривает у Ахмада главенствующую роль в доме. «Она хоть и твоя мать, а обладаю ею я», — говорила манера держаться ее любовников, и это тоже было слишком американским, этот перевес сексуальных отношений над семейными узами.

Американцы ненавидят свою семью и бегут из нее. Даже родители способствуют этому, приветствуя признаки независимости у ребенка и не обращая внимания на непослушание. Здесь не существует связующей любви, какую Пророк питал к своей дочери Фатиме: «Фатима — часть меня: всякий, кто причиняет ей боль, — причиняет боль Богу». Ахмад не питает ненависти к своей матери: для ненависти она слишком разбрасывается, слишком отвлекает ее жажда счастья. Хотя они по-прежнему живут вместе в этой квартире, пропахшей сладкими и кислыми запахами масляных красок, мать имеет столь же малое отношение к тому, каким видит его днем мир, как пижама, пропитанная потом, в которой он спит ночью и которую сбрасывает перед душем, помогающим ему вступить чистым в утро рабочего дня и шагать целую милю на работу. Были годы, когда их тела стесняло

ограниченное пространство этой квартиры. Мать считала нормальным появляться перед сыном в белье или в летней ночной рубашке, сквозь которую тенью проступают очертания ее полового органа. На летней улице она появляется в бюстгальтере и мини-юбке, в блузках, незастегнутых сверху, и в низко посаженных джинсах, обтягивающих наиболее округлые части ее тела. Когда Ахмад осуждает ее манеру одеваться, считая это неприличным и провоцирующим, она смеется и поддразнивает его, словно он флиртует с ней. Только в больнице, в светло-зеленом операционном костюме, пристойно мешковатом, надетом поверх ее нескромного уличного наряда, соответствует она содержащемуся в двадцать четвертой суре предписанию Пророка:

женщина должна набросить покрывала на груди и показывать свои украшения только своим мужьям и отцам, и сыновьям, и братьям, и слугам, и евнухам, и особенно, как сказано в Книге: «детям, которые не постигли наготы женщины»[40]. Когда Ахмаду было лет десять, а то и меньше, он не раз — из-за отсутствия няни — ждал мать в СентФрэнсисе и с радостью видел, как она появлялась, покрасневшая от работы, в своих операционных брюках и кроссовках, без браслетов, чей звон мог нарушить тишину. Сложный момент наступил, когда в пятнадцать лет он стал выше ее и над его верхней губой появилась темная щеточка: ей еще не было сорока, она все еще глупо надеялась заловить какого-нибудь мужчину, вытащить богатого доктора из его гарема миловидных помощниц, а юноша-сын изобличал ее в том, что она уже женщина средних лет.

С точки зрения Ахмада, она выглядела моложе и держалась не так, как должна бы была его мать. В странах Средиземноморья и Ближнего Востока женщины покрываются морщинами и горделиво теряют форму — спутать мать с подругой невозможно. Слава Аллаху, Ахмад никогда не мечтал переспать с матерью, никогда не раздевал ее в закоулках своего мозга, где Сатана воплощает греховные желания в сны и мечты. По правде говоря, если бы юноша и позволял себе подумать о матери в таком плане, — она женщина не его типа. Ее кожа, испещренная розовыми пятнами и усеянная веснушками, выглядит неестественно белой, как у прокаженной, а у него за годы пребывания в Центральной школе развился вкус к более темному цвету кожи — цвета какао, и карамели, и шоколада — и к манящей тайне черных глаз, которые на первый взгляд кажутся непроницаемыми, а потом в глубине их появляется багровый цвет сливы или сверкающий коричневатый цвет сиропа, — такие глаза, про которые в Коране сказано: «большие черные глаза, расположенные близко от ушей». Книга обещает: «И даны им будут черноокие гурии, девственные, как таящиеся в раковине жемчужины, в награду за их деяния». Ахмад считает, что отец совершил ошибку, женившись на его матери, какой он никогда не совершит.

Чарли женат на ливанке, которую Ахмад редко видит — она приходит в магазин к закрытию, по окончании своего рабочего дня, а работает она в юридической конторе, где заполняет формуляры тем, кто сам не может это сделать, и где готовят бумаги в правительства

города и штата, а также в федеральное правительство, поскольку каждое требует свою долю от всех граждан. Есть что-то мужеподобное в ее манере одеваться по-западному и носить брючные костюмы, и только оливковая кожа и широкие, невыщипанные брови отличают ее



от кафров. Волосы густым ореолом в несколько футов стоят вокруг ее головы, а на фотографии, которую Чарли держит на своем столе, они спрятаны под большой косынкой, и она с улыбкой смотрит на вас поверх головок двух маленьких детей. Чарли никогда не говорит о ней, хотя вообще о женщинах говорит часто, особенно о тех, что появляются в рекламах на телевидении.

— Ты видел ту, что на рекламе левитры для парней, у которых не встает?

— Я редко смотрю телевизор, — говорит ему Ахмад. — Теперь, когда я уже не ребенок, это не интересует меня.

— А должно, иначе откуда ты можешь узнать, что правящие в этой стране корпорации делают с нами? Та, что выступает в рекламе левитры, представляется мне идеальной бабенкой, которая мурлыкает, рассказывая о своем «малыше», как он любит, чтобы его эрекции были «что надо», — правда, она не произносит «эрекции»; но вся реклама об этом: как члены должны быть достаточно твердыми: дисфункция эрекции — это самая большая беда, с какой столкнулись изготовители лекарств со времени появления валиума; а как эта девка смотрит в пространство, и глаза у нее затуманиваются, и ты видишь — видишь глазами женщины — этот большой вставший член, твердый как камень, и она так забавно вытягивает рот, — а у нее роскошный рот, — и крошечные мускулы губ как бы шевелятся, так что ты понимаешь: она это изображает, думает, что сосет, — а у нее для этого идеальный рот, и затем с видом таким таинственным, и самоуверенным, и сексуально удовлетворенным она поворачивается к парню — мужской модели, который в реальной жизни, наверное, голубой — и быстро — так что не успеешь моргнуть — говорит: «Вы только посмотрите на это!» — и касается его щеки, где появилась ямочка, пока он застенчиво слушал, как она расхваливала его. Просто удивительно, как, черт побери, они сумели снять такое, сколько сделали видеоклипов, прежде чем она все придумала или сценарист, создавший текст для рекламы, придумал и заранее все написал, а выглядит все так спонтанно, просто удивительно, как они сумели сделать ее такой сексуально

привлекательной.

Право

же,

она

выглядит

сексуально

удовлетворенной, как бывают, знаешь ли, женщины! И дело не в том, что ее сняли в мягком фокусе.

Вот это, немного печально думает Ахмад, мужской разговор, какой он — в своей строгой белой рубашке и черных джинсах — краем зацепил в школе и какой в более умеренном и пристойном виде мог бы вести с ним Омар Ашмави, если бы подождал и выступил в роли отца. Ахмад благодарен Чарли за то, что он включил его в клуб мужской дружбы. Ведь Чарли на пятнадцать — а то и больше — лет старше Ахмада и женат, хотя и не похоже, и он, казалось, решил, что Ахмаду известно все, что знает он, а если нет, то Ахмад хочет это узнать. А юноше легче разговаривать с Чарли, сидя к нему боком, глядя вперед через ветровое стекло грузовика и держа руки на руле, чем лицом к лицу. И он говорит ему, покраснев от собственного благочестия:

— Я не считаю, что телевидение способствует чистоте мыслей.  
— Черт возьми, нет. Да проснись ты: оно и не предназначено для этого. Большинство из того, что они дают, — просто дрянь, заполняющая пробелы между рекламой. Вот чем мне хотелось бы заниматься, если б на мне не висел папин магазин, который надо удерживать на плаву. Брат занимался бизнесом вместе с ним, а сейчас сидит во Флориде и сосет нашу кровь, забирая свою часть. Я же хотел бы заниматься рекламой. Планировать, собирать все воедино — нанимать режиссера, подбирать актеров, декорации, сценарий — для таких вещей нужен сценарий, а потом оглушивать публику, совать им это в рот, чтоб у них мозги помутились. Выбросить из себя все нутро им в нутро, говоря, что без этого они жить не смогут. Что еще дают нам эти магнаты средств массовой информации? Новости — это душещипательные истории, созданные женщинами-репортерами, например Дайаной Соер, — о несчастных афганских детях, буу-хоохоо, — или же это прямая пропаганда: Буш сетует на то, что Путин превращается в Сталина, а ведь мы еще хуже, чем был когда-либо бедный старый, метавший грома и молнии Кремль. Коммунисты просто хотели промыть вам мозги. А новые властители — международные корпорации — хотят вымыть из вас мозги и всё. Они хотят превратить вас в машины потребления — в общество типа клетки для живности. Вся эта система развлечения, Недоумок, —

дерьмо, такое же дерьмо, как то, какое зомбировало массы во времена Депрессии, только тогда мы выстаивали в очереди и платили четвертак за фильм, а сейчас вы получаете это бесплатно, при том что рекламодатели платят миллион за минуту ради того, чтобы забить вам голову.

Ахмад, продолжая вести машину, пытается согласиться:

— Это не Прямой путь.

— Ты что, смеешься? Это Дорога из Желтого кирпича, высланная коварными намерениями.

«Ко-вар-ны-ми», — повторяет про себя Ахмад, вспоминая, когда ему в последний раз читали наставления. Боковым зрением он видит, как изо рта Чарли, спешащего высказаться, вылетает струйка слюны.

— Спорт, — выбрасывает из себя Чарли. — Они платят триллионы за права передавать по телевидению спорт. Это реальность, не будучи реальной. Деньги погубили профессиональные лиги: никто больше не держится за свою команду, спортсмены перебегают из одной в другую за дополнительные пятнадцать миллионов, хотя уже не в состоянии сосчитать имеющиеся деньги. Раньше существовала верность команде и своему региону, а идиоты, сидящие на трибуне, понятия не имеют, чего они лишаются. Они считают, что всегда так было: алчные игроки и каждый год новые рекорды. Барри Бондс — он лучше Рута, лучше Ди Маджио, но кому может нравиться этот грубый бодряк мерзавец? Фанаты нынче понятия не имеют, что такое любить кого-то. Их это не интересует. Спорт превратился в видеоигры, а игроки — в голограммы. Ты слушаешь эти радио-ток-шоу, и хочется сказать этим Круглоголовым, или Остроголовым, или каким-то там еще, которые без конца фонтанируют: «Извольте наслаждаться этой чертовой жизнью». Бедняги зазубривают всю эту статистику так, будто получают жалованье академика Рода. А так называемые комедии, которые преподносят нам каналы, — Иисусе Христе, да кто над ними смеется? Это же помои. А Лино и Леттермен — еще большие помои. А

вот реклама — это фантастика. Это как яйца Фаберже. Когда кто-то в нашей стране хочет продать вам что-то, он действительно расстегивается на все пуговицы. Он напрягается изо всех сил. Ты видишь одну и ту же рекламу двадцать раз и понимаешь, что каждая секунда на вес золота. Реклама полна того, что физики называют «информацией». Ты бы знал, например, если бы не смотрел рекламы,

что американцы — больные люди, что полно страдающих несварением желудка и импотенцией, и лысых, и тех, что вечно мочатся в трусы и страдают от геморроя? Я знаю, ты скажешь, что никогда ее не смотришь, но, право же, ты не должен пропускать рекламу фирмы «Экс-Лакс» с этой обаяшкой девчонкой с длинными прямыми волосами и длинными зубами аристократки, которая, глядя в камеру, говорит тебе — именно тебе, — который сидит там с пакетом жареной картошки, что у нее слабость к плохой еде, — это у нее-то, тощей как жердь, оказывается, слабость к плохой еде! — и ей приходится иногда бороться с запорами? Сколько ей лет? Лет двадцать пять — не больше, и она крепкая, как Лэнс Армстронг[41], и ты можешь побиться об заклад, что она не пропустила ни одного дня без опорожнения, но генеральный директор «Экс-Лакса» хочет, чтобы старушки не стыдились, что у них забита толстая кишка. «Смотрите, — говорит им генеральный директор „Экс-Лакса“, — даже такая шустрая аристократка не всегда может покакать или удержаться от того, чтобы на поле для гольфа не намочить штаны, или чтобы геморрой не испортил ей дня, так что, бабуля, ты не старое дерьмо на помойке — ты сидишь в одной лодке с этими молодыми гламурными кошечками!» — Это общество, которое боится стареть, — соглашается Ахмад, слегка тормозя из опасения, что зеленый свет вдали может перейти на красный, когда грузовик подъедет туда. — Неверные не умеют умирать.

— Нет, — говорит Чарли, и в его голосе, неумолчно звучавшем, появляется настороженность. — А кто умеет?

— Верующие, — говорит Ахмад, отвечая на вопрос. — Они знают, что Рай ждет правозверных. — И, глядя сквозь высокое грязное ветровое стекло «Превосходного» на щебенку в нефтяных пятнах, и на красные хвостовые огни, и ослепляющие вспышки отраженного солнца, которые заполняют летний день на дороге для грузовиков в Нью-Джерси, он цитирует Коран: — «Господь дает тебе жизнь, потом подводит к смерти; потом призовет тебя в День воскресения — в этом нет сомнения».

— Правильно, — говорит Чарли. — Отлично сказано. Никаких сомнений. Появись у меня хорошая для этого причина, я был бы рад не упустить случая. А ты — ты еще слишком молод. У тебя еще вся жизнь впереди.

— Да нет, — говорит Ахмад.

В том, как Чарли это пробурчал, он не услышал дрожи сомнения, шелковистого мерцания иронии, какое он подмечает в голосе шейха Рашида. Чарли — человек светский, но ислам составляет немалую часть этого света. Ливанцы не такие утонченные и двуликие, как йеменцы, или такие красивые и скрытные, как египтяне. И Ахмад застенчиво поясняет:

— Я ведь уже прожил дольше многих мучеников Ирана и Ирака. Но Чарли никак не может покончить с разговором о женщинах,

которых он видит в телерекламах.

— А теперь, — говорит он, — наркокартели нагребли столько денег на виагре и подобном ей зелье, которое они продают женщинам в качестве так называемого воздействия на секс. Есть реклама — ты, возможно, ее не видел: ее не часто дают, — в которой показана женщина, на вид разумная и некрасивая, похожая на школьную учительницу или управляющую какой-нибудь технической компанией среднего класса, отнюдь не высшего, слегка насупленная, так что ты понимаешь: что-то в ее жизни не удалось, и фоном звучит музыка, эдакая минорная, ноющая, а затем ты вдруг видишь, как эта женщина плывет в прозрачной одежде, босая — ей и надо быть босой, потому что, всмотревшись, ты видишь, что она идет, оставляя рябь, по воде, недалеко от берега, где всего два дюйма глубины, но она все равно не погружается в воду, теперь у нее новая прическа, и она лучше загримирована, и лицо у нее затуманенное, как у этой невероятной девки, про которую я говорил, что сосала член, — по-моему, у них есть такое средство, которое они прыскают в глаза этим женщинам, чтобы они расширились, — и тут появляется причина, по которой все это происходило: логотип так называемого «Нового воздействия на гормоны». Тебе дают понять, что она трахалась. И до одурения трахалась сама с собой, пережив не один оргазм. Лет десять — пятнадцать назад они никогда не позволили бы себе такого — показать, что женщины этого хотят, очень хотят, что секс расслабляет и способствует красоте. А как обстоит дело с тобой, Недоумок? В последнее время наяриваешь как следует?

— Что делаю как следует?

Внимание Ахмада, очевидно, было отвлечено. Они съехали с шоссе в Бейуэй и очутились в безликом центре городка, где было

много запаркованных в два ряда машин, что суживало проезд для «Превосходного».

— Джунгли, — с отчаянием произносит Чарли, втягивая в себя воздух, когда оранжевый грузовик проезжает, едва не задев, мимо загромоздившего дорогу школьного автобуса, из которого выглядывают маленькие личики. — Кошечки, — объявляет он. Увидев, что Ахмад вспыхнул, но не откликнулся, Чарли заявляет решительным тоном: — Надо нам тебя спарить.

Городки северной части Нью-Джерси достаточно одинаковы — витрины магазинчиков, и тротуары, и счетчики парковки, и неоновые надписи, и быстро проносящиеся мимо пятна зелени, — чтобы даже в движущейся машине создалось впечатление, будто ты стоишь на месте. Территории, по которым они с Чарли проезжают, летом пахнущие размякшим гудроном и пролитым моторным маслом, луком и сыром, запахами, выплеснувшимися на улицу из маленьких закусовых, похожи друг на друга, пока грузовик не оказывается южнее Саут-Амбоя или выезда с шоссе Джерси на Сейирвилл. Однако по мере того как один городок сменяется другим, Ахмад приходит к выводу, что нет двух одинаковых и у каждого есть свои социальные различия. В одних местах большие дома стоят в тени, вдали от дороги на лужайках с сочной травой, огражденных квадратно подстриженными кустами, похожими на охрану. «Превосходный» редко доставляет что-либо в такие дома, но проезжает мимо них по пути к домам гетто — без намека на палисадник, — к которым прямо с тротуара ведут входные лестницы. Здесь живут те, кто ждет

доставки, — семьи с более темной кожей, громкими голосами и телевизорами, звучащими из задних комнат, вдали от чужих глаз, словно члены семьи забиваются в наиболее отдаленную от прихожей комнату. Иногда встречаются признаки того, что тут исповедуют ислам: маты для молитвы, женщины в чадре, в рамках — изображения двенадцати имамов, включая безликого Скрытого имама, что означает: это дом шиитов. В таких домах Ахмад чувствует себя неуютно, как и в городских кварталах, где лавочки рекламируют свои товары на смеси арабского и английского, а на вновь созданных мечетях вместо полумесяца стоит крест от секуляризованной протестантской церкви. Он не любит постоять и поболтать, как Чарли, продираясь сквозь диалект арабского, на каком с ним говорят, смехом и жестами

восполняя провалы в понимании. Ахмад чувствует, что его горделивой изоляции и добровольно избранной индивидуальности угрожают эти массы заурядных людей, тяжело живущих мужчин и некрасивых практичных женщин, присоединившихся к исламу из ленивого желания проявить свою этническую принадлежность. Хотя он не был единственным мусульманином в Центральной школе, других подобных ему больше не было, — не было детей от смешанных браков и, однако же, истинно верующих — верующих потому, что они избрали эту религию, а не просто унаследовали ее от отца, присутствующего и укрепляющего эту верность. Ахмад был уроженцем этой страны и в своих поездках по Нью-Джерси меньше интересовался районами, населенными разбавленными уроженцами Ближнего

Востока,  
чем

окружающей  
американской

действительностью, беспорядочно распространяемой закваской, к чему он чувствует легкую жалость, как к неудавшемуся эксперименту. Эта хрупкая, непродуманно созданная нация имеет свою историю, запечатленную в грандиозном Городском совете Нью-Проспекта и в озере из камня, оставленного разработчиками, на противоположном берегу которого стоит школа с зарешеченными окнами и закопченная церковь черных. В центре каждого города имеются реликвии девятнадцатого века — городские здания из шероховатых коричневых камней или красноватых кирпичей с выступающими карнизами и закругленными арками входов, изысканно украшенные здания, горделиво пережившие менее прочные постройки двадцатого века. Эти более старые, более крепкие здания говорят об ушедшем процветании промышленности. Об изобилии мануфактур, машиностроения и железных дорог, достигнутом ценою жизни трудовым народом, об эпохе консолидации внутри страны, когда привечали иммигрантов со всего мира. Все это покоится на предшествующем столетии, которое и позволило преуспеть последующим. Оранжевый грузовик с грохотом проезжает мимо маленьких чугунных дощечек и высоких монументов, сооруженных в память о восстании, перешедшем в революцию — тогда сражения прокатились от Форт-Ли до Ред-Бэнка, оставив тысячи парней лежать под этой травой.

Чарли Чехаб, человек, в котором немало всего намешано, знает поразительно много об этом давнем конфликте.

— Здесь, в Нью-Джерси, революция захлебнулась. На ЛонгАйленде был полный провал; в городе Нью-Йорке — еще больший.

Отступления, отступления. Болезни и дезертирство. Перед самой зимой семьдесят шестого — семьдесят седьмого годов британцы продвинулись от Форт-Ли до Ньюарка, затем до Брансуика, и Принстона, и Трентона с такой легкостью, с какой нож режет масло. Вашингтон с армией в лохмотьях пробирался через Делавэр. Многие солдаты — хочешь верь, хочешь нет — шли босиком. Босиком, а ведь близилась зима. Нас поджаривали. Из Филадельфии все пытались уехать, кроме тори, которые сидели и ждали прибытия своих дружковкрасномундирников. А в Новой Англии британский флот без боя захватил Ньюпорт и Род-Айленд. Это был конец.

— Да, а почему, собственно, нет? — спросил Ахмад, удивляясь, что Чарли с таким энтузиазмом рассказывает ему эту патриотическую историю.

— Ну, — говорит он, — по нескольким причинам. Происходили ведь и некоторые хорошие вещи. Континентальный конгресс проснулся и перестал пытаться руководить войной. Они сказали: «О'кей, пусть Джордж[42] этим занимается».

— Отсюда пошла эта фраза?

— Хороший вопрос. Я не думаю. Второй начальник — американский генерал, самодовольный глупец по имени Чарльз Ли, — Форт-Ли носит его имя, великое за это спасибо, — дал себя захватить в таверне в Баскинг-Ридж, оставив Вашингтона одного у руля. В этот момент Вашингтон был рад, что имеет хоть какую-то армию. Дело в том, что после захвата Лонг-Айленда британцы ослабили свой напор. Они дали Континентальной армии отступить и пройти через Делавэр. Это было ошибкой, потому что, как тебя, должно быть, учили в школе — черт побери, чему они учат вас в школе, Недоумок? — Вашингтон с отрядом смельчаков-голодранцев, борцов за свободу, прошел в Рождество через Делавэр и разбил наголову гессенских солдат, которые несли гарнизонную службу в Трентоне, взяв при этом кучу пленных. Больше того, когда Корнуоллис привел крупные силы из Нью-Йорка и считал, что держит в кольце американцев к югу от Трентона, Вашингтон выбрался через леса, обошел Барренс и болото Большого Медведя и двинулся на север — к Принстону! Все это было проделано солдатами в лохмотьях, не спавшими по несколько дней!

Люди тогда были крепче. Они не боялись умереть. Когда Вашингтон к югу от Принстона натолкнулся на британские силы, они взяли в плен американского генерала по имени Мерсер, его обозвали чертовым повстанцем и приказали просить пощады; генерал сказал, что он не повстанец, и отказался просить пощады, — его закололи штыками насмерть. Они вовсе не были такими славными малыми, эти британцы, как их показывают в театре «Мастерпис». Когда положение в Принстоне обернулось хуже некуда, Вашингтон на белом коне — честное слово, действительно на белом коне — повел своих солдат в гущу огня британцев, и обстановка круто переменилась; он помчался вслед за отступавшими красномундирниками, крича: «Отличная охота на лисиц, ребята!»

— А он оказался жестоким, — сказал Ахмад.

Чарли издал характерный для американцев звук носом — аахм, означающий отрицание, и сказал:

— Да не таким уж. Война — жестокая штука, но не обязательно

жестоки люди, которые ее ведут. Вашингтон был джентльменом. Когда сражение под Принстоном закончилось, он подошел к раненому британскому солдату и похвалил за храбрость в бою. В Филадельфии он защитил пленных гессенцев от разъяренных толп, которые убили бы их. Видишь ли, гессенцы, как большинство европейских профессиональных солдат, были приучены проявлять милосердие только в определенных обстоятельствах, а в противном случае не брать пленных — так они и поступили с нами на Лонг-Айленде, где устроили жестокую резню, — и они были настолько поражены человеческим отношением к ним, что добрая четверть солдат, когда война кончилась, остались тут. Они пережились на пенсильванских голландках. И стали американцами.

— Похоже, вы очень влюблены в Джорджа Вашингтона.

— Что ж, а почему бы и нет? — Чарли помолчал, словно соображая, не расставил ли ему Ахмад западню. — Нельзя относиться иначе к нему, если тебе дорог Нью-Джерси. Он ведь здесь заслужил свои шпоры. Большая его заслуга в том, что он постоянно учился. Впервые, он научился ладить с жителями Новой Англии. С точки зрения виргинского плантатора, жители Новой Англии были нечесаными анархистами; они набрали в свои ряды черных и краснокожих индейцев, точно это были белые люди, и сажали их на свои

китобойные суда. А сам, если уж на то пошло, держал у себя в качестве пособника большого черного самца, фамилия которого тоже была Ли, но он не был родственником Роберта Ли. Когда война кончилась, Вашингтон дал ему свободу в благодарность за служение Революции. Он научился плохо относиться к рабству. К концу жизни он стал поощрять набор в армию черных, а вначале был против этого. Ты знаешь слово «прагматичный»?

— Конечно.

— Таким был Джорджи. Он научился жить по принципу: брать что есть и сражаться в партизанском стиле: ударил-спрятался, ударил-спрятался. Он отступал, но никогда не сдавался. Он был Хо Ши Мином своего времени. Мы же были как Хамас. Мы были Алькаидой. Британцы хотели, — спешит добавить Чарли, увидев, что Ахмад втягивает в себя воздух, словно готовясь прервать его, — чтобы НьюДжерси стал как бы образцом умиротворения, — старались привлечь на свою сторону сердца и умы, ты слышал об этом. Они увидели, что их поведение на Лонг-Айленде ничего не дало, породило еще большее сопротивление, и старались быть здесь добрыми, завоевать сердца колонистов и вернуть их матери-родине. А Вашингтон в Трентоне дал понять британцам: «Такова реальность. Никакое доброе отношение ничего не изменит».

— Доброе отношение ничего не изменит, — повторяет Ахмад. —

Так можно назвать телесериал, который вы поставите.

Чарли не реагирует на шутку. Он продает товар. И потому продолжает:

— Вашингтон показал миру, что можно сделать против превосходящих сил противника, против сверхдержавы. Он показал — и тут следует вспомнить о Вьетнаме и Ираке, — что в войне между империалистом-окупантом и народом, живущим в данной стране, победит в конечном счете народ. Народ знает территорию. У него больше поставлено на карту. Ему некуда идти. В Нью-Джерси действовала ведь не только Континентальная армия — там была и

местная милиция, маленькие группы местных жителей внезапно нападали по всему Нью-Джерси; действуя самостоятельно, они уничтожали британских солдат по одному и исчезали, растворяясь в сельской местности, — иными словами, играли не по правилам, существовавшим у другой стороны. Нападение на гессенцев было

тоже внезапным — в метель, во время праздника, когда даже солдаты не должны трудиться. Вашингтон говорил: «Эй, это наша война». Насчет Вэлли-Фордж — о Вэлли-Фордж пишут все, а ведь не одну зиму после этого Вашингтон стоял лагерем в Нью-Джерси: в Мидлбруке, что в горах Уотчун, и в Морристауне. Первая зима в Морристауне была самой холодной за весь век. Армия вырубилась шестьсот акров дубов и орехового дерева для строительства хижин и для отопления их. В ту зиму выпало столько снега, что невозможно было подвозить провиант, и армия была на грани голода.

— При нынешнем состоянии мира, — вставляет Ахмад, чтобы шагнуть в ногу с Чарли, — возможно, было бы лучше, если бы они умерли с голоду. Тогда Соединенные Штаты могли бы стать чем-то вроде Канады, мирной и разумной страной, хоть и неверующей. От удивления Чарли разражается смехом, который переходит в хриплый носовой звук.

— Мечтай, мечтай, Недоумок. В стране слишком много энергии, чтобы быть мирной и разумной. Противостоящие друг другу потоки энергии — вот что допускает конституция. И вот что у нас есть. — Он передвигается на сиденье и вытряхивает из пачки сигарету «Мальборо». Дым застилает его лицо; он, щурясь, смотрит в ветровое стекло и, судя по всему, размышляет над тем, что сказал своему молодому водителю. — В следующий раз, когда мы поедем на юг по Девятой трассе, надо будет завернуть на Монмаутское поле битвы. Американцы отступили, но противостояли британцам достаточно долго, тем самым показав французам, что их стоит поддерживать. А также испанцам и голландцам. Вся Европа стремилась подрезать Англии крылья. Как сейчас Соединенным Штатам. По иронии судьбы Людовик Шестнадцатый потратил столько денег, поддерживая нас, что стал выкачивать из французов ужас какие налоги — они не вытерпели, взбунтовались и отрубили ему голову. Одна революция привела к другой. Такое бывает. — Чарли издает тяжкий вздох и более серьезным голосом, как бы исподтишка, словно не уверенный в том, что Ахмаду следует его слушать, произносит: — История, знаешь ли, — это не то, что было и прошло. Она творится сейчас. Революция никогда не прекращается. Отрубишь ей голову, вырастут две.

— Гидра, — говорит Ахмад, чтобы показать, что он не совсем невежда.

Этот образ встречается в проповедях шейха Рашида как иллюстрация тщетности крестового похода Америки против ислама, а Ахмад, когда мать поздно вставала, встретился с образом Гидры в детских фильмах по телевидению — в мультипликациях, транслируемых утром по субботам. В гостиной только он и телевизор — электронный ящик, неистово и развязно изрыгающий икоту, и хлопки, и треск, и возбужденные пронзительные голоса актеров, оживляющих рисованный фильм, а его аудитория — ребенок, сидящий совсем тихо, замерев, уменьшив звук, чтобы дать матери выспаться после вчерашнего позднего свидания. Гидра была комическим



существом — все ее головы на извилистых шеях болтали друг с другом.

— Эти революции в прошлом, — доверительно продолжает Чарли, — могут многому научить наш джихад. — Поскольку Ахмад не реагирует, это побуждает собеседника быстро испытующе спросить: — Ты за джихад?

— А как я могу быть против? Пророк призывает к этому в Книге. — И Ахмад цитирует: — «Мохаммед — пророк Аллаха. Те, кто следует ему, беспощадны к неверным, но милостивы друг к другу». Тем не менее джихад кажется чем-то очень далеким. Развозя современную мебель и забирая мебель, которая была современной для ее покойных владельцев, они с Чарли проезжают мимо душных трясинок пиццерий и маникюрных салонов, процветающих торговых точек и бензоколонок, «Белых замков» и автоматов, «Хрустящего крахмала» и «Чудо-стирки», «Покрышек и шин», и «877-ЗУБЫ-14», мотеля «Звездный», и помещений главных контор Банка Америки и Уничтожения метроинформации, свидетелей Иеговы и Храма новых христиан, — все эти надписи, головокружительно мелькая, кричат о своем намерении завлечь всех, кто скученно живет там, где когда-то были пастбища и работали фабрики на водяных двигателях. Здания для муниципальных нужд, с толстыми стенами, рассчитанные на вечность, по-прежнему стоят, став музеями, или жилыми домами, или городскими организациями. Повсюду реют американские флаги, иные до того потрепанные и выцветшие, что их явно забыли снять с флагштоков. Надежды мира какое-то время были сконцентрированы здесь, но это время прошло. Сквозь высокое ветровое стекло «Превосходного» Ахмад видит группки людей мужского и женского

пола своего возраста, собирающихся для трепа и безделья — безделья с примесью угрозы: женщины с коричневой кожей, оголенные, в коротеньких шортах и тугих эластичных бюстгалтелях, и мужчины в майках и нелепо болтающихся шортах, с серьгами и в шерстяных шапочках, вырядившиеся словно для того, чтобы изображать клоунов. И сквозь блестящее от солнца пыльное ветровое стекло на Ахмада нападает своего рода ужас перед тяжестью жизни, которую предстоит прожить. Эти обреченные животные, сгрудившиеся, испуская запах совокупления и беды, тем не менее утешаются тем, что они в стаде, и каждый питает какую-то надежду или имеет план на будущее, думает о работе, о своем предназначении, о надежде пробиться хотя бы в ряды наркоторговцев или сутенеров. Тогда как у него, у Ахмада, обладающего, по словам мистера Леви, немалыми способностями, нет плана: Бог, слитый с ним наподобие невидимого двойника, его второго «я», — это Бог не предприимчивости, а покорности. Хотя Ахмад старается молиться пять раз в день, хотя только в прямоугольной пещере грузовика с его кипами одеял и упаковочных ящиков или на гравийной площадке за придорожным местом для еды он может на пять минут расстелить свой мат, чтобы очиститься, Всемиловейший и Сострадающий до сих пор не указал ему

Прямого пути для избрания. Такое впечатление, будто Ахмаду в дивном оцепенении его преданности Аллаху ампутировали будущее. Когда в длинных переходах, пожирая многие мили, он признается в своем беспокойстве Чарли, обычно такому разговорчивому и хорошо информированному, тот, похоже, увиливает и неловко себя чувствует.

— Ну, меньше чем через три года ты получишь водительские права класса «А» и сможешь перевозить за пределы штата любой груз — hazmat[43], оборудование для трейлеров. Будешь хорошо зарабатывать.

— Но для чего? Чтобы потреблять потребительские товары, как ты говоришь? Чтобы кормить и одевать мое тело, которое со временем развалится и станет никому не нужным?

— Можно на это и так смотреть. «Жизнь высасывает все из тебя, и ты умираешь». Но разве такой взгляд не лишает тебя многого?

— Чего? «Жены и детей», как говорят люди?

— Что ж, правда, жена и дети отбрасывают на заднее сиденье многое из этих больших многозначительных экзистенциалистских

вопросов.

— У вас вот есть жена и дети, однако вы редко говорите со мной о них.

— А что я могу сказать? Я их люблю. Кстати, как насчет любви, Недоумок? Неужели она неизвестна тебе? Как я сказал, надо тебя спарить.

— Это доброе желание с вашей стороны, но без брака это будет против моих убеждений.

— Да перестань. Пророк и сам не был монахом. Он же сказал, что мужчина может иметь четырех жен. Девушка, которую мы тебе добудем, не будет хорошей мусульманкой, это будет шлюха. Встреча с тобой не будет иметь для нее значения и не должна иметь значение для тебя. Она так и останется грязной неверной, переспишь ты с ней или нет.

— Я не хочу грязи.

— А чего, черт побери, ты хочешь, Ахмад? Забудь о сексе — извини, что я заговорил об этом. А как насчет того, чтобы просто быть живым? Дышать воздухом, смотреть на облака? Разве это не лучше смерти?

Внезапно хлынувший при безоблачном небе летний дождь — свинцово-серый шквал налетел, перекрыв солнечный свет, — усеял каплями ветровое стекло; от прикосновения руки Ахмада деловито захлопали «дворники». Тот, что со стороны водителя, оставляет радужную арку из нестертой влаги — в его резиновой лопасти явно образовалась дырка: Ахмад запоминает, что надо его заменить.

— Бывает по-разному, — говорит он Чарли. — Только неверные отчаянно боятся смерти.

— А как насчет дневных удовольствий? Ты же любишь, Недоумок, жизнь, не отрицай. То, как ты рано приходишь каждое утро на работу — тебе не терпится увидеть, что у нас намечено. На нашем грузовике работали и другие ребята — они ни черта не видели, им было на все наплевать, они — мертвецы с открытыми глазами. Им хотелось лишь побыстрее остановиться у какого-нибудь места с паршивой едой, и съесть тонну, и посрать, а когда рабочий день окончен, отправиться куда-нибудь и напиться с друзьями. А у тебя — у тебя есть потенциал.

— Мне это говорили. Но если я люблю жизнь, как вы говорите, то люблю ее как дар Господа. Он решил дать ее, он может решить и забрать ее.

— Ладно, о'кей. Как пожелает Господь. А пока наслаждайся ездой.

— Я и наслаждаюсь.

— Молодец.

Однажды в июле, на обратном пути в магазин, Чарли велит ему свернуть в Джерси-Сити через складской район, изобилующий проволочными изгородями и блестящими мотками проволоки и проржавевшими рельсами заброшенных отводных дорог для товарных поездов. Они проезжают мимо новых высоких, стеклянных многоквартирных домов, построенных на месте старых складов, и подъезжают к парку на мысу, откуда совсем близко видна Статуя Свободы и Нижний Манхэттен. Двое мужчин — Ахмад в черных джинсах, Чарли в свободной оливковой рубашке и желтых рабочих сапогах — привлекают подозрительные взгляды пожилых туристов-христиан на цементной смотровой площадке, где все они стоят. Дети, только что побывавшие в закрытом Научном центре «Либерти», шныряют по площадке и прыгают на низкой чугунной ограде, которая охраняет спуск к воде. С Верхнего залива налетают бриз и тучи брызг словно сверкающая мошкара. Всемирно известная статуя, меднозеленая от воды, кажется отсюда не такой высокой, а Нижний Манхэттен выдвигается вперед, как великолепный оцетинившийся свиной пятачок.

— Приятно не видеть больше этих башен, — замечает Чарли.

Поскольку Ахмад, слишком погруженный в созерцание, не откликается, Чарли поясняет: — Они были такие уродливые, непропорциональные. Им было там не место.

Ахмад говорит:

— Их видно было даже из Нью-Проспекта, с холма над водопадами.

— Половина штата могла видеть эти чертовы штуки. Многие из тех, кто погиб в них, жили в Нью-Джерси.

— Мне было жалко их. Особенно тех, кто прыгал из башен. Это же ужасно: люди оказались в такой губительной жаре, что предпочли прыгать на верную смерть. Подумать только, как кружилась у них голова, когда они смотрели вниз, прежде чем прыгнуть.

Чарли поспешно говорит, словно читая текст:

— Эти люди работали в финансовой сфере в интересах американской империи — империи, которая поддерживает Израиль и каждый день несет смерть палестинцам, чеченцам, афганцам и иракцам. На войне надо сдерживать жалость.

— Многие были просто охранниками и официантками.

— И по-своему служили империи.

— Были среди них и мусульмане.

— Ахмад, ты должен думать об этом как о войне. А война — не такая приятная штука. Ущерб причиняется и побочно. Те гессенцы, которых Джордж Вашингтон разбудил и расстрелял, были наверняка славными немецкими парнями, которые посылали свое жалованье домой, матери. Империя так ловко высасывает кровь из своих подданных, что они даже не понимают, почему умирают, почему у них нет сил. Окружающие нас враги — дети и толстяки в шортах,

бросающие на нас свои грязные взгляды, ты заметил? — не считают себя угнетателями и убийцами. Они считают себя невиновными людьми, занятыми своей личной жизнью. Все невиновны: они невиновны, люди, выпрыгнувшие из башен, были невиновны, Джордж У. Буш невиновен — он просто излечившийся пьяница из Техаса, который любит свою славную женушку и шалых дочек. Однако вся эта невиновность каким-то образом рождает зло. Западные державы крадут нашу нефть, отнимают у нас землю...

— Они отнимают у нас Бога, — поспешно вставляет Ахмад, прерывая своего ментора.

Чарли секунду смотрит в одну точку, затем медленно соглашается, словно это не приходило ему прежде в голову:

— Да. Пожалуй. Они отбирают у мусульман их традиции и самосознание, способность гордиться собой, на что имеют право все люди.

Это не совсем то, что сказал Ахмад, и прозвучало это немного фальшиво, немного принужденно и далеко от живого Бога, который стоит рядом с Ахмадом так близко, как солнечное тепло, греющее его шею. А Чарли стоит напротив него, сдвинув густые брови и сжав подвижные губы с каким-то мучительным упорством, — в нем появилась солдатская непреклонность, перечеркнувшая веселого компаньона по поездке, какого обычно видит боковым зрением Ахмад.

Лицо Чарли, не побрившегося утром, со сдвинутыми над переносицей бровями, никак не гармонирует с дивным днем — небо безоблачно, если не считать пушистых облаков, разбросанных далеко над ЛонгАйлендом, и такое скопление озона в зените, будто там колодец с мягкими стенками, полный голубого огня; нагромождение башен в Нижнем Манхэттене, кажущихся единой сверкающей массой, ровное гудение катеров и покачивающиеся в заливе яхты, крики и разговоры толпы туристов, создающие вокруг них безобидный водоворот звуков. «Такая красота, — думает Ахмад, — должна что-то означать, это намек от Аллаха, предвестие Рая».

Чарли спрашивает его:

— Так ты будешь сражаться против них?

Ахмад пропустил, кто подразумевается под «ними», но говорит:

— Да, — словно отвечая на переключке.

Чарли, похоже, повторяется:

— Будешь сражаться, не жалея жизни?

— То есть?

Чарли настаивает, брови его насупливаются.

— Готов ты отдать жизнь?

Солнце ласкает шею Ахмада.

— Конечно, — говорит он, стараясь смягчить разговор взмахом правой руки. — Если Господу будет угодно.

Слегка фальшивый и грозный Чарли исчезает, и вместо него появляется добродушный болтун, суррогатный старший брат, который, осклабясь, отодвигает в прошлое их разговор, откладывает его.

— Я так и думал, — говорит он. — Недоумок, ты храбрый малый.

Порой, по мере того как проходит лето и август приносит с собой более поздние восходы солнца и ранние сумерки, Ахмаду, считающемуся достаточно сведущим, достаточно достойным доверия членом команды, работающей на «Превосходном», разрешают, имея в грузовике низкую платформу на колесиках, справиться самому с

дневными поставками. Он и двое черных низкооплачиваемых — Чарли называет их «мускулами» — к десяти часам загружают грузовик, и Ахмад отбывает со списком адресов, пачкой накладных и своим набором цветных карт Хэгстрема из графства Сассекс в НьюДжерси вниз до Кейп-Мей. Однажды поставки включают старомодную

вещь — набитую конским волосом кожаную оттоманку, которую надо доставить в город на Верхнем берегу, южнее Эшбери-парка; это будет самая дальняя поездка за день и последняя. Ахмад едет по шоссе Садового штата, мимо трассы 18, объезжает восточную стену Депо военно-морской амуниции США и выезжает на 195-е шоссе в направлении на восток, в Кэмп-Эванс. Выбирая менее значительные дороги, проложенные по затянутым туманом низинам, он ведет свой грузовик к океану; в воздухе усиливается запах соли и даже появляется звук — размеренное дыхание прибой.

Берег полон архитектурных чудес — зданий в виде слонов или банок с печеньем, ветряных мельниц и оштукатуренных маяков. Это старый штат, и на его кладбищах, как не раз похвалялся Чарли, можно увидеть памятники в виде гигантской туфли, или электрической лампочки, или любимого «мерседеса»; здесь, в сосновых рощах и вдоль горных дорог, стоит целый ряд домов, в которых, говорят, есть привидения, и приютов для умалишенных, — все это мелькает в уме Ахмада, по мере того как угасает день. Фары «Превосходного» высвечивают тесные ряды приморских домиков с хилыми палисадниками, где песок слегка порос травой. Мотели и ночные заведения обозначают себя неоновыми вывесками — их плохая подводка издает в сумерках шипящий звук. Нарядные дома, построенные для отдыха больших состоятельных семей со множеством слуг, превратились в пристанища, где сдаются комнаты, спальня с завтраком и свободные номера. Даже в августе это не шумный курорт. На улице, похожей на главную, один или два ресторана забиты досками — они все еще рекламируют своих устриц, и моллюсков, и крабов, и омаров, но уже не подают их.

С выцветших деревянных тротуаров группки людей смотрят на его высокий квадратный оранжевый грузовик, словно появление его является событием, — они стоят в купальниках, с банными полотенцами и в драных шортах и футболках с гедонистскими надписями и остротами, словно беженцы, которым не дали времени собрать вещи, прежде чем они пустились в бег. Среди них есть дети в шляпах из пенопласта, а те, которые могли бы быть их бабушками и дедушками, забыв о достоинстве, напрашиваются на насмешки в обтягивающих разноцветных, пестрых одеяниях. Загорелые и перекормленные, иные из них с добродушной издевкой

над собой надели такие же, как и на внуках, карнавальные шляпы из пенопласта, высокие и полосатые, как в книжках доктора Сейсса, или в виде акул с раскрытым ртом, или омаров с вытянутой большущей красной рукой-клешней. Дьяволы. У мужчин висят огромные животы, а у женщин чудовищные зады болезненно колышутся, когда они вышагивают по дощатым тротуарам в разбухших кроссовках. Эти американские старики, находящиеся в нескольких шагах от смерти, плюют на внешний вид и одеваются как малыши, начинающие ходить. В поисках адреса, стоящего на последней для того дня накладной, Ахмад ведет грузовик по переплетению улиц назад от пляжа. Тут нет

ни обочин, ни тротуаров. Из-под краев рассыпающейся щебенки торчит спаленная солнцем трава. Маленькие, крытые черепицей домики теснятся друг к другу — их, слегка подремонтировав, сдают на сезон; почти в половине из них видны признаки жизни — горит свет, мигает телеэкран. Некоторые дворы усеяны яркими пляжными игрушками; на затянутых сеткой верандах стоят в ожидании выхода в океан доски для серфинга и надувные «Несси» и «Спондж Бобы». Номер 292, Уилсон-Уэй. Коттедж внешне выглядит необитаемым, и окна фронтона скрыты венецианскими ставнями, поэтому Ахмад вздрагивает, когда входная дверь открывается через несколько секунд после того, как он нажал на зазвеневший дверной колокольчик. За дверью с проволочной сеткой стоит высокий мужчина с узкой головой, которая кажется еще уже от его близко посаженных глаз и коротко стриженных черных волос. В противоположность толпам на берегу, на нем не годящаяся для солнца одежда — серые брюки и рубашка с длинными рукавами неопределенного цвета вроде нефтяного пятна, застегнутая на запястьях и у горла. Взгляд у него недружелюбный. Тело натянуто как струна; живот на удивление плоский.

— Мистер... — Ахмад заглядывает в накладную, — ...Карини? У меня доставка от «Превосходной домашней мебели» из НьюПроспекта. — Он снова заглядывает в накладную. — Оттоманка в многоцветно раскрашенной коже.

— Из Нью-Проспекта, — повторяет мужчина с плоским животом. — Нет Чарли?

Ахмад понимает не сразу.

— М-м... грузовик теперь вожу я. Чарли занят в офисе, изучает работу в офисе. Отец его болен диабетом.

Ахмад опасается, что эти излишние фразы не будут поняты, и краснеет в темноте.

А высокий мужчина поворачивается и повторяет: — НьюПроспект, — для тех, кто находится в комнате.

Ахмад видит, что там — трое, все мужчины. Один из них маленький, полный и старше двух других, которые ненамного старше Ахмада. Все они одеты не по-курортному, а как бы для физической работы — сидят на арендованной мебели и ждут, когда можно приступить к работе. Они бормочут в ответ что-то одобрителное — Ахмаду кажется, что он слышит слова: *fulūs*[44] и *kāfir*[45]; высокий замечает, что он вслушивается и резко спрашивает:

— *Enta btehki 'arabī?*[46]

Ахмад вспыхивает и говорит ему:

— *La' — ana aasif. Inglizi*[47].

Удовлетворившись таким ответом и немного расслабься, мужчина говорит:

— Внеси ее, пожалуйста. Мы весь день ее ждем.

У «Превосходной домашней мебели» не так много в продаже оттоманок — они, как и здание Городского совета в Нью-Проспекте, принадлежат к эпохе украшательства. Упакованная в толстый прозрачный полиэтилен дня защиты покрывающей ее тонкой цветной кожи, сшитой в виде абстрактных шестигранников, оттоманка, уже бывшая в употреблении, но хорошо сохранившаяся, представляет собой достаточно прочный мягкий цилиндр, способный выдержать вес сидящего человека, и достаточно мягкий, чтобы приятно было вытянуть на ней ноги, словно сидишь в кресле. Она не такая тяжелая и

слегка поскрипывает, когда Ахмад несет ее из грузовика по ползучему сорняку в зал, где при свете всего лишь слабой настольной лампы сидят четверо мужчин. Ни один из них не предлагает ему помощь.

— Ставь на пол и о'кей, — говорят ему.

Ахмад опускает оттоманку.

— Она будет здесь очень мило смотреться, — говорит он, чтобы нарушить царящую в комнате тишину, и распрямляется. —

Распишитесь здесь, пожалуйста, мистер Карини!

— Карини нет здесь. Я расписываюсь за Карини.

— Никто из вас не мистер Карини?

На лицах троих мужчин быстро мелькает улыбка — будто они не поняли заданный вопрос.

— Я подписываю за Карини, — настаивает лидер группы. — Я коллега Карини.

Без дальнейших возражений Ахмад кладет накладную на приставной столик, где стоит тусклая лампа, и показывает карандашом, где подписать. Безымянный стройный мужчина подписывает. Подпись абсолютно неразборчива, замечает Ахмад, и впервые обнаруживает, что кто-то из Чехабов — отец или сын — нацарапал на накладной «Б.О.», то есть «без оплаты», что значительно меньше минимальных ста долларов за бесплатную доставку.

Как только Ахмад закрывает за собой дверь с проволочной сеткой, в зале коттеджа загораются огни, и, шагая по песчаной лужайке к своему грузовику, он слышит оживленный разговор по-арабски и смех. Ахмад залезает на сиденье водителя и включает мотор, чтобы они слышали, что он уезжает. Он едет по Уилсон-уэй до первого перекрестка и, свернув направо, останавливается перед незаселенным с виду коттеджем. Быстро, тихо, с трудом дыша, Ахмад идет назад по тропе, протоптанной в траве вместо тротуара. На жалкой маленькой улочке нет ни машины, ни единого человека. Он подходит к боковому окну зала дома № 292 — там, где его может прикрыть чахлый куст гортензии с засохшими зелеными цветочками, и осторожно всматривается.

С оттоманки снят защитный полиэтилен, и она поставлена на выложенный изразцами кофейный столик перед обитым потертой шотландкой диваном. С помощью складного колющего ножа размером с серебряный доллар лидер перерезал нитки на одном из треугольников, составляющих шестиконечную звезду на краснозеленом лепестке в кожаном венке наверху. Как только этот треугольник стал достаточно большим клапаном, тонкая рука лидера пролезла внутрь и вытащила, зажав между двух длинных пальцев, множество зеленых американских долларов. Ахмад не может распознать сквозь умирающий куст гортензии их достоинство, но, судя потому, как уважительно мужчины считали и раскладывали банкноты на кафельном столике, это были крупные купюры.

#### IV

Морис — дядя Чарли и брат Хабиба Чехаба — редко приезжает из Флориды, однако жара и влажность, царящие в Майами в июле и августе, вынуждают его уехать на эти месяцы на север. Временами он днюет и ночует в доме Хабиба в Помптон-Лейксе и порой появляется в «Превосходной домашней мебели», где Ахмад и видит его — мужчину, похожего на брата, только более крупного и более сухого, носящего

шелковые костюмы, белые кожаные туфли и слишком явно старательно подобранные сорочки и галстуки. При первой встрече он официально обменивается с Ахмадом рукопожатием, и у юноши возникает неприятное ощущение, что глаза, более настороженные, чем у Хабиба, более золотистые и менее быстро начинающие вспыхивать смешинками, оценивают его. Оказывается, Морис – младший брат, а держится более самоуверенно, чем старший. Ахмада, единственного ребенка, заинтересовывает проблема братства – его преимущества и недостатки, как на тебе отражается то, что у тебя есть в известном смысле двойник. Награди его Бог братом, Ахмад, возможно, чувствовал бы себя менее одиноко и меньше надеялся бы на Бога, который всегда с ним – в его пульсе и мыслях. Всякий раз, как они с Морисом встречаются в магазине, крупный гладкий мужчина в светлой одежде с легкой улыбкой кивает Ахмаду, как бы говоря: «Я тебя знаю, молодой человек. У меня есть твой номер».

Замеченные Ахмадом доллары, которые он доставил четверем мужчинам в коттедже на Верхнем Берегу, остались в его памяти как нечто сверхъестественное, некая бесформенная громада, которая по своей необъяснимой воле смеет проникать в наши жизни. Он не знает, посмеет ли признаться в своем открытии Чарли. Знал ли Чарли о содержимом оттоманки? Сколько еще доставленной ими и привезенной в магазин мебели было вот так же набито внутри? И для чего? Он чувствует привкус тайны в событиях, о которых сообщают газеты, заголовки, говорящие о политическом насилии за границей и насилии дома, которые он едва пробегает глазами, сообщения в вечерних «Новостях», которые он проскакивает, щелчками меняя каналы на устаревшем «Адмирале», телевизоре матери.

Ахмад занялся поисками по телевидению следов Бога в этом обществе неверных. Он смотрит конкурсы красоты, где белозубые девушки со светящейся кожей вместе с одной-двумя цветными состязаются в умении очаровать распорядителя своим пением или танцами и часто, хоть и поспешно, выражают благодарность Господу за дарованные таланты, которые они намерены посвятить – после того как кончится время пения в купальных костюмах – служению своим братьям в благородных профессиях врачей, педагогов, агрономов или в самом святом призвании – в качестве матери семейства. Ахмад обнаруживает сугубо христианский канал, на котором выступают басовитые мужчины средних лет в костюмах необычных цветов с широкими откидными лацканами, которые, прекратив свою страстную риторику («Готовы ли вы принять Христа?» – спрашивают они и «Впустили ли вы Иисуса в свое сердце?»), вдруг принимаются флиртовать с женщинами среднего возраста в своей аудитории или, щелкнув пальцами, переходят снова на песню. Христианское пение интересует Ахмада, больше всего его занимают хористы в переливающихся одеждах, чернокожие толстухи, прыгающие и раскачивающиеся с такой страстью, что порой она кажется искусственно вызванной, а в другой раз, когда хористы поют и поют, кажется воспламененной изнутри. Женщины высоко поднимают руки в тон голосам и хлопают ими, раскачиваясь, заражая даже небольшое число присутствующих белых, – это одна из сфер деятельности американцев, наряду со спортом и преступлениями, где бесспорно преобладают темнокожие. Ахмад знает из замечаний, которые сухо, с улыбочкой сделал шейх Рашид, об озарениях и



экстазах суфи[48], чем в давние времена болел ислам, но не находит даже слабого намека на это в исламских каналах, принадлежащих станциям, вещающим из Манхэттена и Джерси-Сити: они передают лишь пять призывов к молитве из большой мечети Мохаммеда Али в Цитадели Саладина да серьезные выступления очкастых профессоров и мулл об одолевшей нынешний Запад ярости против ислама и проповеди имама в тюрбане, сидящего за голым столом, что безо всяких картинок воспроизводит стоящая в студии камера. Эту тему поднимает Чарли. Однажды, сидя в кабине грузовика, когда они ехали по необычно пустынному месту на севере НьюДжерси, между большим кладбищем и еще сохранившимся куском

луговин, где рогозы и тростники блестящими листьями торчат из отвратительной воды, он спросил:

— Что-то гложет тебя, Недоумок? Каким-то ты стал тихоней в последнее время.

— Разве я не всегда тихоня?

— Да, но теперь это что-то другое. Вначале это было молчание человека, который говорит: «Покажи мне», — а теперь это скорее: «Что происходит?»

У Ахмада не так много в мире друзей, чтобы он мог рискнуть потерять одного из них. Он понимает: отступать некуда — слишком мало у него в загашнике. И он говорит Чарли:

— Несколько дней назад, когда я один развозил доставки, я увидел странную вещь. Я увидел, как мужчины вытаскивали пачки денег из той оттоманки, что я доставил на Берег.

— Они вскрыли ее при тебе?

— Нет. Я уехал от них, а потом пробрался назад и подсмотрел в окно. Они так вели себя, что я что-то заподозрил и мне стало любопытно.

— Ты ведь знаешь, что любопытство сделало с кошкой, верно?

— Убило ее. Но незнание тоже может убить. Если я что-то доставляю, то должен знать, что именно.

— Почему, Ахмад? — чуть ли не с нежностью произносит Чарли. — В моем представлении ты не хотел знать того, что тебе не по силам. На самом деле в девяносто девяти случаях из ста мебель, которую ты развозил, была просто мебелью.

— А кто те счастливцы, которые в единственном случае получают награду?

Теперь, когда критический момент позади, Ахмад чувствует, как в нем нарастает жажда свободы действий. Он представляет себе, что вот так же освобождаются от чувства ответственности мужчина и женщина, впервые снявшие вместе одежду. Казалось, Чарли тоже это почувствовал: его голос, сбросив груз притворства, звучит менее напряженно.

— Счастливыми, — говорит он, — являются настоящие правоверные.

— Верящие, — догадывается Ахмад, — в джихад?

— Верящие, — старательно поправляет его Чарли, — в действие.

Они верят, что можно что-то сделать. Что крестьянин-мусульманин в Минданао не должен голодать, что бангладешский ребенок не должен тонуть, что египетский крестьянин не должен слепнуть от шистосоматоза, что палестинцев не должны расстреливать с

израильских вертолетов, что правоверные не должны есть песок и верблюжий навоз всего мира, тогда как Большой Сатана жиреет на сахаре, и свинине, и дешевой нефти. Они верят, что глаза, и души, и уши миллиарда последователей ислама не должны быть отравлены ядовитыми увеселениями Голливуда и безжалостной экономикой империализма, чей христианско-еврейский бог — обветшалый идол, всего лишь маска, прикрывающая отчаяние атеистов.

— А откуда эти деньги? — спрашивает Ахмад, когда иссякает поток слов Чарли, в конце-то концов мало чем отличающийся от картины мира, которую более шелковистыми нитями вышивает шейх Рашид. — И что станут делать получатели с этими фондами?

— Деньги поступают от тех, — говорит ему Чарли, — кто любит Аллаха как в США, так и за границей. Считай, что эти четверо мужчин — семена, брошенные в землю, а деньги — это вода, которая поддерживает влагу в земле, чтобы однажды зерна лопнули и появились цветы. Allāhu akbar![49]

— А деньги каким-то образом поступают через дядю Мориса? С его приездом произошли какие-то перемены, хоть он и пренебрегает работой магазина. А ваш добрый батюшка — какую роль играет он во всем этом?

Чарли снисходительно смеется: он перерос своего отца, но продолжает уважать его, как Ахмад уважает своего.

— Эй, кто ты — ЦРУ? Мой отец — старомодный иммигрант, лояльный системе, которая приняла его и позволила процветать. Если бы он знал то, о чем мы с тобой разговариваем, он донес бы на нас в ФБР.

Ахмад в своем новом качестве пытается пошутить:

— Где быстро затеряли бы его донос.

Чарли не смеется. Он говорит:

— Ты вытянул из меня важные тайны. Это тайны не на жизнь, а на смерть, Недоумок. Я уже сейчас сомневаюсь, не совершил ли я ошибки, рассказав тебе все это.

Ахмад стремится преуменьшить то, что произошло между ними.

Он понимает, что наглотался знаний, какие не выплюнешь. «Знание — это свобода» — сказано на фронтоне Центральной школы. Знание может быть также и тюрьмой, из которой не выбраться, если ты попал туда.

— Никакой ошибки вы не совершили. Вы сообщили мне очень мало. Ведь не вы подвели меня к окну, чтобы я увидел, как считают деньги. А этим деньгам могло быть много объяснений. Вы могли сказать, что ничего про них не знаете, и я поверил бы вам.

— Мог, — согласился Чарли. — Пожалуй, мне и следовало так поступить.

— Нет. Тогда между нами появилась бы ложь, а должно быть доверие.

— В таком случае ты должен мне сказать вот что: ты с нами?

— Я с теми, — медленно произнес Ахмад, — кто с Богом.

— О'кей. Уже неплохо. Так молчи об этом, как Бог. Не рассказывай матери. Не рассказывай своей подружке.

— У меня нет подружки.

— Верно. Я ведь обещал позаботиться об этом, не так ли?

— Вы сказали, что меня надо спарить.

— Верно. Я над этим работаю.

— Прошу вас, не надо. Не ваша это забота.

— Друзья помогают друг другу, — настаивает Чарли. И, протянув руку, сжимает плечо молодого водителя, а Ахмаду это не нравится: это напоминает ему грубую хватку Тайленола тогда, в школьном зале.

Юноша заявляет с новообретенным мужским достоинством:

— Еще один вопрос, и больше я ничего не скажу, пока со мной не заговорят об этом. Разрабатывается ли какой-то план в связи с этими получившими влагу семенами?

Ахмад так хорошо изучил лицо Чарли, что может не смотреть на него в грузовике, чтобы увидеть, как задвигались растягивающиеся губы, словно проверяя форму зубов, а затем был издан преувеличенно тяжкий вздох раздражения.

— Как я уже говорил, всегда существуют проекты на рассмотрении, а как они будут осуществляться — трудно сказать. Что говорит на этот счет Книга, Недоумок? «И замышляли евреи, и

замышлял Господь. Но из тех, кто этим занимается, лучше всех Господь».

— А в этих замыслах я буду когда-нибудь играть какую-то роль?

— Возможно. А тебе бы этого хотелось, малый?

И снова у Ахмада такое чувство, что они подошли к стыку и ворота закрываются за его спиной.

— Я считаю, что да.

— Ты считаешь? Должно быть что-то большее.

— Как вы говорите, отдельные события нелегко предсказать. Но расстановка ясна.

— Расстановка?

— Расстановка сил на битве. Армии Сатаны против армий Господа. Как утверждает Книга: «Преклонение хуже истребления».

— Верно. Верно, — соглашается Чарли и ударяет себя по колену, словно чтобы проснуться на пассажирском сиденье. — Мне это нравится. Хуже истребления. — От природы он разговорчив и весел, и ему трудно было разговаривать с Ахмадом, сохраняя каменное лицо, словно они вдвоем идут по кладбищу, где, возможно, когда-нибудь будут лежать. — Одно следует помнить, — добавляет он. — В сентябре предстоит годовщина. А люди, дающие команду — так сказать, наши генералы, — по старинке относятся к годовщинам. Джейкоб и Тереза исполнили любовный ритуал и накрыли простынями обнаженные тела. В окна ее спальни дует прохладный бриз. Близится сентябрь: среди усталой зелени, словно отдельные искорки, появились желтые листья. Они оба, думает он, после теплой ванны, какой было погружение в ее тело, могут потерять по несколько фунтов. Ее кожа — там, где нет веснушек, — пожалуй, чересчур бледная, как у пластмассовой куклы, и только когда кожа прогибается под его большим пальцем, на ней остается исчезающее не сразу розовое пятно. Ему неприятно видеть, как его волосатые руки и грудь становятся дряблыми, обвисшими; дома зеркало показывает ему появившиеся сморщенные мешочки под грудями, и на животе под двумя завитками черных волос образовалась складка. На груди седые волосы не лежат завитками, а торчат словно волнистые антенны — волосы старика.

Терри прижимается к нему, ее вздернутый нос уткнулся в его подмышку. Любовь к ней шевелится в нем, словно позывы тошноты.

— Джек? — выдыхает она.

— Что? — Он произнес это резче, чем намеревался.

— Отчего ты такой грустный?

— Вовсе я не грустный, — говорит он. — Я выдохся. Ты в этом деле настоящая мастерица. Я думал, мои старые шасси можно уже выбрасывать на помойку, но ты умеешь разжечь запальные свечи. Ты потрясающая, Терри.

— Прекрати треп, как говорил мой отец. Ты не ответил на мой вопрос. Почему ты грустный?

— Возможно, я думал о том, что скоро День труда. И сложнее будет вклинить нашу встречу. — Он научился говорить о своих трудностях по обману жены, не упоминая имени Бет, которое Терри — по непонятной ему причине — не желает слышать. Ведь если вскрыется правда, то ревновать и возмущаться должна Бет. Терри угадывает ход его мыслей.

— Ты так боишься, что Бет узнает, — с презрением говорит она. — Ну и что? Куда она денется? Кому она нужна в таком виде, как сейчас?

— Разве в этом дело?

— Нет? А в чем, крошка? Скажи же.

— Чтобы не обижать людей, — предлагает он.

— Ты не считаешь, что мне больно? Ты думаешь, переспать с женщиной и через минуту лишиться его — не больно?

Джек вздыхает. Схватка началась, все та же старая схватка.

— Прости меня. Мне хотелось бы больше времени быть с тобой. Вообще-то его вполне устраивает уезжать, пока не наскучило. А женщины могут быть такими скучными. Они всё соотносят с собой. Они так заняты самосохранением, самопредставлением, самодраматизированием. С мужчинами не надо маневрировать, — наносишь удар и все. А с женщинами — это как джиу-джитсу — того и гляди: споткнешься.

Она чувствует угрожающий поворот в его мыслях и говорит умиротворяюще, хоть и сердито:

— В любом случае она, наверно, догадывается.

— Как она может догадываться? — Хотя, конечно, Терри права.

— Женщины это чувствуют, — говорит она самодовольно, прославляя свой пол, прижимаясь к нему и играя — к его досаде — волосками на его сморщенном, вялом животе. Она говорит: — Я все твержу себе: «Люби его меньше. Для собственного же блага, девочка. И для его блага тоже».

Но уже говоря это, Терри чувствует, как что-то внутри уходит, и предвидит, какое она познала бы облегчение, если бы он стал меньше значить для нее, если бы ее жалкая связь с этим старым меланхоликом — неудачливым наставником действительно прекратилась. В сорок лет она уже расставалась с одним мужчиной, и скольких из них ей хотелось бы вернуть? Глядя из сегодняшнего дня, с каждым расставанием она возвращалась в свою одинокую жизнь со свежей решимостью и энергией, с таким чувством, какое испытываешь, когда после нескольких дней отдыха от мольберта оказываешься перед

пустым натянутым полотном. Ее пробитый круг — дуга, которой она не дает закрыться в надежде, что определенный мужчина позвонит, что раздастся стук в дверь, извне ворвется кто-то и все изменит, — снова сомкнется. Этот Джек Леви — при всем его уме и порой даже чувствительности — тяжелый случай. Еврейский мрак вины давит на него и будет давить, если она это допустит. Ей нужен кто-то более близкий по возрасту и неженатый. А эти женатые всегда куда больше женаты, чем сначала дают понять. Они даже пытаются, не расставаясь с законной женой, жениться на ней.

— Как дела у Ахмада? — псевдоотцовским тоном спрашивает он ее.

Он продолжает расспрашивать про Ахмада, а ей хочется от материнских забот перейти к тому, что она лучше знает.

— При том что я в последнее время работаю ночами, — говорит она, — а он часто допоздна развозит доставки, мы почти не видимся. Он пополнел на лицо, стал мускулистее, и это при том, какие тяжести приходится ему таскать: этот Чарли, который ему так нравится, насколько я понимаю, только ездит с ним. Эти ливанцы выжимают из своих помощников все до последнего пенни. Ахмад говорил, что черные, которых они нанимают, долго там не держатся. Похоже, Ахмада недавно повысили — во всяком случае, он приходит домой позже и в те несколько раз, что я видела его, выглядел озабоченным.

— Озабоченным? — переспрашивает Джек, который сам выглядит озабоченным: должно быть, волнуется из-за Бет. Посмотри правде в глаза: хотя ей будет недоставать восхвалений Джека в постели, когда они добираются до нее, все равно — скатертью ему дорога. Пожалуй, ей нужен другой художник, даже такой, каким был последний, Лео, — Лео с отнюдь не львиным сердцем, всецело заикленный на себе, никчemuшный слюнтяй, с опозданием на шестьдесят лет пропагандировавший Поллока[50], его легко оттолкнуть и принять обратно, когда он выходит из перепоя вином или денатуратом, но по крайней мере он смешит ее и не пытается взвалить на нее вину за то, что она не стала достаточно хорошей матерью Ахмаду. Или, возможно, ей следовало связаться с кем-нибудь из ординаторов, вроде этого нового маленького заики, который стажуется на нейрохирурга, но никуда не денешься: она теперь слишком стара для ординатора, да и вообще они обходят медсестер, с которыми спят, и целются на дочек проктологов. Так или иначе, мысль о мире мужчин, даже принимая во внимание ее возраст, даже здесь, на севере Нью-Джерси, настраивает ее против этого мрачного, до скукоты благонамеренного, с затхлым душком мужчины. И она решает порвать с ним.

— Скрытым, — поясняет она. — Возможно, он нашел себе девушку. Я надеюсь. Не давно ли пора?

Джек говорит:

— У молодежи нынче куда больше забот, чем было у нас. Во всяком случае, больше, чем было у меня... не следует мне говорить так, будто мы одного с Ахмадом возраста.

— О-о, продолжай. Не стесняйся.

— Дело не только в СПИДе и в прочем подобном; у них есть определенная жажда — как бы это сказать? — абсолюта, тогда как все относительно и все экономические силы требуют от них мгновенного удовлетворения и тычут им долгами по кредитным картам. И это не

только право христиан, о чем говорит Эшкрофт на своих утренних собраниях в Вашингтоне. Ты видишь это в Ахмаде. И у Черных мусульман. Люди хотят вернуться, когда все так не просто, к упрощению — видеть черное и белое, правильное и неправильное. — Значит, мой сын — простак.

— В известном смысле. Но таково большинство человечества. Иначе слишком тяжело быть человеком. В противоположность другим животным мы слишком много знаем. Они, другие животные, знают ровно столько, сколько нужно, чтобы просуществовать и умереть. Есть, спать, оплодотворять, произвести потомство и умереть. — Джек, все, что ты говоришь, так удручает. Потому ты такой печальный.

— Я говорю лишь, что мальчикам вроде Ахмада нужно что-то такое, чего общество им больше не дает. Общество больше не позволяет им сохранять невинность. Эти безумцы арабы правы: гедонизм, нигилизм — вот все, что мы предлагаем. Послушай, что поют эти звезды рок-н-ролла — сами еще совсем мальчишки с умными агентами. Мальчишки вынуждены принимать больше решений, чем прежде, потому что взрослые не могут подсказать им, что делать. Мы не знаем, что делать, у нас нет ответов, которые раньше были, — мы без толку суедемся, стараясь не думать. Никто не берет на себя ответственность, вот мальчишки — некоторые из них — и берут ее. Даже в такой помойной куче, как Центральная школа, где демографическая статистика складывается из всего населения школы, ты наблюдаешь это — это желание правильно поступать, быть хорошим человеком, куда-то записаться — в армию, в марширующий оркестр, в шайку, в хор, в школьный совет, даже в бойскауты. Как выясняется, предводитель бойскаутов, священники — все хотят лишь испортить ребят, и все равно ребята идут туда, надеясь получить какие-то указания. В коридорах их лица разбивают тебе сердце — настолько они полны надежд, так хотят быть хорошими, кем-то стать. Они чего-то ждут от себя. Это же Америка, все мы чего-то ждем, даже социопаты имеют хорошее мнение о себе. Ты знаешь, кем они в конце концов становятся, даже самые слабые в дисциплинах? Они становятся полицейскими и школьными учителями. Они стараются угождать обществу, хоть и говорят, что не делают этого. Они хотят, чтобы их ценили, если только мы могли бы сказать им, что представляет собою ценность. — Эта речь, которая быстрым бормотанием вылетала из волосатой груди Джека, прерывается. — А, черт, забудь, что я говорил. Священники и руководители бойскаутов не только хотят портить ребят, они хотят быть хорошими. Но не могут:

слишком уж привлекательны маленькие зады. Терри, скажи мне: почему я вдруг пустился в такое?

Внутренний сдвиг, произошедший в ней, побуждает ее сказать:

— Возможно, потому что ты чувствуешь: это последний для тебя шанс.

— Последний шанс для чего?

— Для того, чтобы раскрыться передо мной.

— Что ты мелешь?

— Джек, ни к чему все это. Это наносит вред твоему браку и не дает мне ничего хорошего. Сначала давало. Ты замечательный мальчик

— только не мой. После тех подонков, с которыми я имела дело, ты —

святой. Я это серьезно. Но я должна жить в реальности, должна думать о моем будущем. Ахмад уже отошел — ему нужно от меня лишь немного еды в холодильнике.

— Ты нужна мне, Терри.

— И да и нет. Ты считаешь мою живопись мазней...

— Ну нет. Мне нравится твоя живопись. Мне нравятся эти твои сверхразмеры. Вот что: если бы Бет...

— Если бы Бет обрела сверхразмеры, она провалилась бы сквозь пол.

Она расхохоталась, представив это себе, и села в постели, так что груди ее вылезли из-под простыни — верхняя половина в веснушках, а та половина, где сосок, не тронута солнцем, сколько бы мужчин ни касались ее губами и пальцами.

«В ней сказывается ирландка», — думает Джек. Вот это-то он и любит в ней, без этого он и не может обойтись. Пробивная сила, этакая искра удали, которая появляется у людей, если они на чем-то надолго зациклились, — она есть у ирландцев, есть у черных и у евреев, а в нем умерла. Он хотел быть комиком, а стал лишенным чувства юмора исполнителем системы, которая сама не верит в себя. По утрам, проснувшись слишком рано, он дает себе время умереть. Научись умирать в свободное время. Что сказал Эмерсон про смерть? «По крайней мере ты покончил с походами к дантисту». Это высказывание поразило его сорок лет тому назад, когда он еще читал серьезные книги. Эта рыжая секс-бомбочка еще не мертва, и она знает это. Но он должен поставить ее на место по поводу Бет.

— Давай не будем больше о ней. Она не виновата, что так раздалась.

— Да глупости это! Если она не может с собой сладить, то кто же может? Что же до того, чтобы забыть о ней, я бы очень этого хотела, Джек, но ты не можешь. Она всегда с тобой. У тебя такое лицо — на нем написано: «Помоги мне, великий Боже, ведь это всего на час». Я для тебя все равно что пятидесятиминутный урок в школе. Я чувствую, как ты только и ждешь звонка. — «Это правильный способ», — думает она. Пойти в атаку на его жену — это способ отвратить его, вызвать у него неприязнь. — Ты женат, Джек. Ты слишком, черт побери, женатый для меня человек.

— Нет. — Он это не произнес, а прохныкал.

— Ты женат, — говорит ему Терри. — Я пыталась забыть это, но ты мне не позволил. И я сдаюсь. Ради себя, Джек. Я вынуждена сдаться. Отпусти меня.

— А как насчет Ахмада?

Это удивляет ее.

— А что насчет него?

— Я беспокоюсь о нем. Что-то сомнительное в этом мебельном магазине.

Она теряет терпение — отнюдь не помогает то, что Джек лежит в мокрых от пота, теплых простынях ее постели, словно он все еще ее любовник и имеет какое-то право быть тут.

— Ну и что? — говорит она. — В наши дни везде есть что-то сомнительное. Я не могу жить жизнью Ахмада и не могу жить твоей жизнью. Я хочу тебе добра, Джек, право, хочу. Ты — милый, печальный мужчина. Но если ты станешь мне звонить или явишься после того, как сегодня уйдешь отсюда, это будет рассмотрено как

преследование.

— Эй, не надо так, — говорит он убитым тоном, жаждая лишь, чтобы все вернулось, как было час назад, когда она встретила его, не закрыв даже двери, влажным поцелуем, отозвавшимся у обоих внизу, в паху. Ему нравилось иметь женщину на стороне. Ему нравился ее багаж: то, что она — мать, что она — художница, что она — помощница медсестры, снисходительно относящаяся к телу других людей.

Она вылезает из постели, пахнувшей ими обоими.

— Не цепляйся, Джек, — говорит она ему, став так, что он не может до нее достать. С опаской она быстро наклоняется, чтобы поднять сброшенную одежду. Тон ее становится нравоучительным, крикливым. — Не будь пиявкой. Держу пари, ты присосался как пиявка и к Бет. Высасываешь, высасываешь всю жизнь из женщины, вытягиваешь ее в свою жалость к себе. Ничего нет удивительного, что она столько ест. Я дала тебе, Джек, сколько могла, и должна двигаться дальше. Пожалуйста. Не осложняй все для меня.

Он начинает обижаться и возмущаться тоном, каким выговаривает ему эта сучка.

— Я просто поверить не могу, что такое происходит безо всякой причины, — говорит Джек. Он слишком размяк, слишком взмок и чувствует себя слишком вялым, чтобы вылезти из постели; употребленный ею образ пиявки поразил его. Может быть, она права: он лишь обременяет мир. Увиливает. — Давай дадим себе немного времени, чтобы все обдумать, — говорит он. — Я позвоню тебе через неделю.

— Не смей.

Этот повелительный тон вызывает у него раздражение — он резко выпаливает:

— Какая же у тебя для этого причина? Я что-то пропустил.

— Ты же преподаешь в школе — значит, слышал об отсутствии причины.

— Я — советчик, наставник.

— Ну так дай себе совет. Очисти территорию.

— А если я избавлюсь от Бет, что произойдет тогда?

— Не знаю. Скорее всего — ничего особенного. Да и как ты от нее избавишься?

В самом деле — как? На Терри снова бюстгальтер, и она со злостью натягивает джинсы — его инертность и оголенность выглядят все более позорно и жалко. Он говорит:

— О'кей. Сказано достаточно. Извини, что я был таким тугодумом. — Но он по-прежнему продолжает лежать. В памяти вдруг возникает мелодия из далекого прошлого, когда центр города был испещрен маркизами кино, каскадирующая, скользящая мелодия. Он напевает ее финал: — Дин-дин-дит-да-дат-даа.

— Это еще что такое? — спрашивает она, злясь на себя за то, что выиграла.

— Не мелодия Терри. Мелодия совсем другого рода — из фильма «Уорнер бразерс». В конце заикающийся поросенок выскакивает из барабана и говорит: «Эт-то всё, ребятки!»

— Это, знаешь ли, неостроумно.

Он сбрасывает с себя простыню. Ему нравится быть таким



голым волосатым животным с болтающимися истощенными гениталиями, с желтыми подошвами ног, от которых исходит сырный запах; ему нравится тревога, вспыхнувшая в остекленелых выпученных глазах другого животного. И так, стоя голый, обвисший, весь в складках, шестидесятилетний мужчина говорит ей:

— Мне будет не хватать этой муки, которую ты мне даришь.

Прохладный воздух лижет его кожу, и он вдруг вспоминает, как много лет назад прочитал слова палеонтолога Лики, нашедшего самые старые останки человека в ущелье Олдувай и утверждавшего, что голый человек мог сбежать вниз и голыми руками убить любую добычу, даже зубастого хищника, если тот меньше его. Джек чувствует, что в нем есть такой потенциал. Он мог бы уложить это более мелкое существо своей породы на пол и задушить.

— Ты была моим последним... — начал он.

— Последним — чем? Куском мяса? Это уж твоя проблема — не моя. Знаешь ли, ты ведь можешь купить такой кусок мяса.

Ее усеянное веснушками лицо вызывающе зарделось. Она не понимает, что не обязана сражаться с ним, грубить и все из себя вываливать. Он знает, что проиграл. Он чувствует, как мертва его плоть.

— Полегче, Терри. Я собирался сказать: последним смыслом моей жизни. Последней возможностью ощущать радость жизни.

— Нечего разыгрывать сентиментальные еврейские штучки, Джек. Мне тоже будет не хватать тебя. — И, не удержавшись, чтобы не причинить ему боли, добавляет: — Какое-то время.

Однажды рано утром в сентябре Чарли, здороваясь с Ахмадом, говорит ему:

— Это твой счастливый день, Недоумок!

— В чем?

— Увидишь. — Последнее время Чарли был трезв, но резок, словно что-то снесло его, а сейчас, каким бы ни был этот сюрприз, он доставляет ему удовольствие, и, глядя на него сбоку, видно, как уголок его подвижного рта растягивает щеку в улыбке. — Во-первых, у нас целая тонна доставок и одна из вещей — для доставки в Кэмден.

— Нужно, что б мы оба ехали? Я не возражаю сделать все один. — Ахмад стал предпочитать это. В уединении кабины он не один — с ним Бог. Но Бог и сам одинок, Он — верх одиночества. И Ахмад любит своего одинокого Бога.

— Угу, нужно. Одна из доставок — кровать-в-стене со всем металлом внутри весит тонну, а доставка в Кэмден — софа из настоящей кожи со вздутыми подлокотниками в восемьдесят восемь дюймов длиной. Но поднимать ее за подлокотники нельзя — они тут же отвалятся, как мы убедились с одним из твоих предшественников. Сбавили на нее свыше тысячи для приемной одной модной клиники для душевнобольных детей.

— Душевнобольных?

— А кто не душевнобольной? Так или иначе, эта софа с двумя соответствующими креслами — большой заказ, а мы таких заказов каждый день не получаем. Следи за автоцистерной слева, — по-моему, мерзавец изрядно накачался.

Но Ахмад уже и сам не спускает глаз с мчащегося грязного грузовика с цистерной, беспокоясь о том, учитывает ли водитель возможность выброса жидкости и прочие факторы, требующие

осторожности. Сентябрь увеличивает опасность на улицах и шоссе, поскольку вернувшиеся отпускники и теснят друг друга, и соперничают в борьбе за свое привычное место в стаде.

— «Превосходная» поднимается в рейтинге, — говорит Чарли, — при том сколько новых домов продается за миллион и больше. Ты заметил: аудитория в комических шоу больше не смеется, когда зритель говорит, что он — из Нью-Джерси? Мы скоро станем южным Коннектикутом, отделенным всего лишь туннелем от Уолл-стрит. Мой папа и дядя — они рассчитывали скромно: крашеный тополь и виниловый штапель для масс, а теперь тут появились белые воротнички, едущие на работу в Нью-Йорк из Монтклера и ШортХиллз, которым ничего не стоит выбросить две тысячи за настоящий кожаный секционный диван или три за обеденный гарнитур в стиле

Старого мира, скажем, с соответствующей горкой в готическом стиле кустарной работы, и все чтоб было из резного дуба. Вот такого рода вещи приходится доставлять, чего раньше никогда не было. Мы брали какую-нибудь необычную вещь на распродаже имущества, и она у нас годами стояла. Новые толстосумы появились даже в бедном старом Нью-Проспекте.

— Это хорошо, — осторожно говорит Ахмад, — что бизнес процветает. — И, осмелев, добавляет в тон оптимистичному настроению Чарли: — Возможно, новые клиенты рассчитывают найти клад в одной из подушек.

Профиль Чарли не указывает на то, что он воспринял шутку. Он продолжает все так же небрежно говорить:

— Мы теперь за все рассчитались. Дядя Морис отправился назад в Майами. Теперь мы ждем доставки. — И уже менее небрежным тоном говорит: — Недоумок, ты ни с кем не говоришь о своей работе тут? О деталях. Тебя никто не спрашивает? Скажем, твоя мать? Или мужики, с которыми она встречается?

— Моя мать слишком занята собой, чтобы интересоваться мною. Ей легче от того, что у меня постоянная работа, и я теперь делю с ней расходы. Но мы приходим и уходим из нашей квартиры как чужие. — Он неожиданно понимает, что это не совсем так. Накануне вечером, сидя вместе за необычным, хорошо приготовленным обедом за старым круглым столом, где он раньше занимался, мать спросила, не замечал ли он чего-то «сомнительного» в этом мебельном магазине.

«Абсолютно ничего», — сказал он ей. Он учится лгать. И, желая быть честным с Чарли, говорит ему: — По-моему, мать недавно пережила романтическую неудачу, потому что вчера вечером она вдруг проявила интерес ко мне, словно вспомнила, что я еще тут. Но это настроение у нее пройдет. Мы никогда не общались как следует. Между нами стояло отсутствие отца, а потом — моя вера, которую я принял совсем мальчишкой. Мать по натуре женщина теплая и наверняка заботится о своих пациентах в больнице, но, по-моему, в роли матери она так же бесталанна, как кошка. Кошки какое-то время позволяют котяткам сосать молоко, а потом обращаются с ними так, словно это враги. Я еще недостаточно вырос, чтобы стать врагом моей матери, но я уже достаточно взрослый, чтобы быть ей безразличным.

— А как она относится к тому, что у тебя нет девушки?

— По-моему, если она вообще что-то чувствует, так это — облегчение. Дополнение к моей жизни внесет затруднение в ее жизнь.

Другая женщина, какой бы молодой она ни была, может начать осуждать ее и подстраивать под определенный стандарт общепринятого поведения.

Чарли прерывает его:

— Скоро поворот налево... по-моему, не на этом перекрестке, а на следующем, где мы выедем на трассу пятьсот двенадцать, ведущую к Верхотуре, там оставим столовый комплект, покрытый лаком цвета корицы. Значит, ты так еще и не спарился? — Он принимает молчание Ахмада за утвердительный ответ и говорит: — Отлично.

На его профиле появилась улыбка с ямочкой на щеке. Ахмад так привык видеть Чарли в профиль, что он вздрагивает, когда тот поворачивается в сумеречной кабине и он видит обе половины его лица. Проделав это, Чарли снова обращает взгляд на мелькающие за ветровым стеклом огни.

— Ты прав насчет западной рекламы, — говорит он, возвращаясь к давнему разговору между ними. — Они нажимают на секс, потому что это способствует потреблению. Сначала спиртное и цветы для свиданий, а потом рождение и воспитание и все покупки, какие для этого нужны, — детская еда, и SUV, и...

— Столовые комплекты, — подсказывает Ахмад.

Когда Чарли не острит, он становится таким серьезным, что хочется его раздражить. Глаз на его профиле моргает, и рот втягивается, словно он вкусил горькую правду.

— Я собирался сказать: более просторный дом. Эти молодые пары тратят без счета и все глубже и глубже увязают в долгах, а ростовщики-евреи только этого и хотят. Эта западня «покупай сейчас — заплатишь потом» очень соблазнительна. — Но он все-таки услышал подшучивание и продолжает: — Да, мы, конечно, торговцы. Но отец придерживался идеи разумных цен. Не поощряй клиента покупать больше, чем он в состоянии. Это плохо для него, а со временем может быть плохо и для нас. Мы даже не принимали кредитных карточек — стали принимать их всего пару лет назад. Теперь принимаем. Надо поддерживать систему, — говорит он, — до определенного момента.

— Момента?

— До момента, когда ей будет нанесен удар изнутри. — В его голосе звучит нетерпение. Похоже, он считает, что Ахмад знает больше его.

Ахмад спрашивает его:

— И когда же этот момент наступит?

Чарли отвечает не сразу:

— Он наступит, когда созреет. Может, и никогда, а может, и быстрее, чем мы думаем.

У Ахмада такое чувство, будто он качается на лесах из соломы в головокружительном пространстве их общей веры, что стало ясно после того, как его спутник заговорил про евреев-ростовщиков.

Чувствуя себя допущенным Чарли на редкий уровень доверия, он, в свою очередь, признается:

— Я обращаюсь к Богу пять раз в день. Моему сердцу не нужен никакой другой компаньон. Маниакальное увлечение сексом подтверждает пустоту неверных и их страх.

Чарли, к которому вернулось веселое настроение, говорит:

— Эй, не сбрасывай со счетов того, чего не пробовал. Вот мы и

приехали. Номер восемьсот одиннадцать, Монро. Вынимаем один столовый комплект цвета корицы. Один стол, четыре стула. Дом — гибрид колониального стиля из красного кирпича и белого дерева — стоит на хорошо орошаемой маленькой лужайке. Молодая хозяйка дома — американка китайского происхождения — выходит им навстречу по своей выложенной каменными плитками дорожке. Двое мужчин несут стулья и овальный стол, а ее двое детишек — девочка детсадовского возраста в ярко-розовом комбинезоне с аппликациями в виде уток и совсем маленький мальчик в футболке, испачканной пиццей, и в висячем подгузнике — смотрят и прыгают так, будто им привезли братика и сестричку. Молодая мать, радуясь новому приобретению, протягивает Чарли десятку «на чай», но он жестом отказывается, давая ей урок американского равенства.

— Нам было в радость вам это доставить, — говорит он ей. — Пользуйтесь в удовольствие.

У них было четырнадцать доставок в тот день, и когда они возвращаются из Кэмдена, на бульваре Рейгана лежат длинные тени и все другие магазины закрыты. Они едут с запада. Рядом с «Превосходной домашней мебелью», на другой стороне Тринадцатой

улицы, есть магазин шин, где раньше была газовая колонка — заправочная площадка все еще на месте, хотя насосы исчезли, — а рядом находится похоронное бюро с белыми маркизами и скромной надписью на лужайке «Унгер и Сын», помещающееся в доме, который был частным особняком до того, как эта часть города стала коммерческой. Чарли с Ахмадом ставят грузовик в гараж и, устало взобравшись на гулкую погрузочную платформу, входят через заднюю дверь в коридор, где Ахмад штемпелюет свою карточку на часовом автомате.

— Не забудь: тебя ждет сюрприз, — сообщает ему Чарли.

Это напоминание удивляет Ахмада: за долгий день он успел о нем забыть. Он перерос игры.

— Он ждет тебя наверху, — говорит Чарли необычно тихим голосом, чтобы не мог услышать отец, который допоздна работает в своем кабинете. — Выйди в заднюю дверь, когда со всем покончишь. И, выходя, включи сигнал тревоги.

Из двери своего кабинета появляется Хабиб Чехаб, лысый, как крот, в его пыльном мире новой и подержанной мебели. Он бледен даже после лета, проведенного в Помптон-Лейксе, лицо болезненно отекает, тем не менее он весело спрашивает Ахмада:

— Ну как дела, малый?

— Не могу пожаловаться, мистер Чехаб.

Старик внимательно смотрит на молодого водителя, чувствуя, что надо еще что-то сказать, похвалить за верную службу в течение лета.

— Ты — парень лучше некуда, — говорит он. — Сотни миль, многие дни по две-три сотни миль, ни единой поломки, ни царапины. И ни штрафа за превышение скорости. Отлично.

— Благодарю вас, сэр. Я работал с удовольствием... — Он осознает, что слышал такую фразу от Чарли в течение дня.

Мистер Чехаб с любопытством смотрит на него:

— Ты проведешь с нами День труда, здесь?

— Конечно. А то как же? Я обожаю сидеть за рулем.

— Я просто подумал, что парни вроде тебя — смекалистые, послушные — стремятся получить больше образования.

— Мне это предлагали, но я пока не чувствую в этом потребности.

Продолжение образования, опасается он, может ослабить его веру. Сомнения, которые у него бывали в школе, могут восторжествовать в колледже. Прямой путь вел его в иное, более чистом направлении. Он не мог хорошо это объяснить. Интересно, думает Ахмад, что знает старик о привезенных им втайне деньгах, о четырех мужчинах в коттедже на Берегу, об антиамериканизме собственного сына, о связях его брата во Флориде. Было бы странно, если бы он совсем ничего об этом не знал, но семьи, как знает Ахмад по своей семье, где их всего двое, — это гнезда тайн, яиц, которые слегка соприкасаются, но каждое живет своей жизнью.

Двое мужчин направляются к задней двери, ведущей на автостоянку и к их машинам — к «бьюику» Хабиба и «сабу» Чарли, — и Чарли повторяет указания, данные Ахмаду: включить сигнал тревоги и запереть дверь на хорошо смазанный двойной замок. Мистер Чехаб спрашивает:

— Мальчик остается?

Чарли подталкивает отца в спину, чтобы он не останавливался.

— Папа, я дал Ахмаду задание, которое он должен выполнить наверху. Ты же доверишь ему закрыть магазин, верно?

— Зачем ты спрашиваешь? Он хороший мальчик. Как родной.

— Собственно, — слышит Ахмад голос Чарли, объясняющего отцу на погрузочной платформе, — у парня свидание, и он хочет освежиться и переодеться в чистое.

«Свидание?» — думает Ахмад. Он-то представлял себе, что сюрпризом, который приготовил ему Чарли, будет подушка, набитая деньгами, вроде той, которую он доставил, — вознаграждение по окончании лета. Тем не менее, словно в подтверждение лжи, сказанной Чарли отцу, Ахмад именно так и поступает: заходит в маленькую уборную возле холодильника, где стоит вода, соскребывает грязь с рук, окатывает водой лицо и шею, прежде чем направиться к лестнице, которая на середине зала ведет на второй этаж. Он тихо поднимается по ней. На втором этаже выставлены кровати и комоды, столы для закусок и платяные шкафы, зеркала и лампы. Все эти вещи громоздятся в слабом свете лампы, далеко стоящей на ночном столике, в то время как свет фар вечернего часа пик мелькает за высокими окнами. Абажуры на незажженных лампах разрезают мрак своими острыми углами; люстры над головой висят паутиной. Есть мягкие

изголовья, и изголовья деревянные в цветах, и другие — из параллельных медных прутьев. Голые с обеих сторон матрасы показывают две покатые плоскости, покоящиеся на толщине пружин, укрепленных на металлических рамах. Пробираясь между двумя покатыми плоскостями, он вдруг почувствовал, как забило сердце, в нос ударил запретный запах сигареты, а в ушах раздался знакомый голос:

— Ахмад! Мне не сказали, что это будешь ты.

— Джорилин? Это ты? Мне тоже никто ничего не сказал.

Чернокожая девушка выходит из-за слабо освещенного абажура, под которым дым от ее сигареты, мгновенно воткнутой в пепельницу в виде серебристой обертки от банки со сладостями, возникает как медленно вращающаяся скульптура. Когда глаза Ахмада привыкают к

полумраку, он видит, что на девушке красная виниловая мини-юбка и обтягивающий черный верх с низким овальным вырезом, как балетное трико. Ее округлости приняли новую форму, талия стала тоньше, подбородок длиннее. Волосы короче подстрижены, они в пятнах блондинистого цвета, чего никогда не было в школе. Опустив взгляд, Ахмад видит, что на ней простроченные зигзагами новомодные белые сапоги с длинными пустыми острыми носами.

— Мне сказали только, чтобы я дождалась парня, которого надо лишить невинности.

— Могу поклясться, он сказал: «с которым надо спариться».

— Да, действительно, так и сказал. Это слово не часто слышишь

— слышишь другие слова. Он сказал, что он твой босс и что ты работаешь тут. Он сначала разговаривал с Тайленолом, а потом захотел посмотреть на меня и сказать, какой я должна быть ласковой с этим мальчиком. Он такой высокий араб, и рот у него быстро так дергается. Я сказала себе: «Джорилин, не верь этому человеку», — но он хорошо заплатил. Такими славными чистыми бумажками.

Ахмад поражен: описывая Чарли, он никогда не сказал бы, что это араб или что он дергается.

— Они ливанцы. А Чарли по воспитанию чистокровный американец. Он не совсем мой хозяин, он — сын владельца магазина, и мы вместе доставляем мебель на грузовике.

— Знаешь, Ахмад, извини, что я тебе такое говорю, но в школе мне представлялось, что ты станешь кем-то повыше. Где ты мог бы

больше использовать свою голову.

— Что ж, Джорилин, я мог бы сказать то же самое про тебя. В последний раз я видел тебя в одежде хористки. Что ты делаешь в этом костюме проститутки и говоришь о лишении мужчин невинности?

Обороняясь, она откидывает назад голову, выпятив губы, намазанные жирной блестящей коралловой помадой.

— Это ведь не навсегда, — поясняет она. — Просто Тайленол просит меня оказывать услугу людям, пока мы не устроимся, не сможем завести собственный дом и все остальное. — Джорилин обводит взглядом помещение и меняет тему разговора: — Ты хочешь сказать, что все это принадлежит кучке арабов? Откуда у них такие деньги?

— Ты ничего не знаешь про бизнес. Ты занимаешь в банке деньги, чтобы набрать товаров, а затем прибавляешь проценты к своим тратам. Это называется капитализм. Чехабы перебрались сюда в шестидесятых, когда все было легче.

— Наверное, — говорит она и плюхается на голый матрас в выпуклых ромбах из серебристой парчи.

Ее коротенькая до неприличия мини-юбочка приоткрывает ему ляжки, которые выглядят такими толстыми под давлением края матраса. Ахмад думает лишь о трусиках между ее голым задом и вычурной обивкой матраса — от этой мысли у него пересыхает в горле. Все в ней сверкает: знойно-розовая помада, короткие волосы, залакированные так, что они торчат, как иглы дикобраза, золотистые точки, распыленные по жирным складочкам вокруг глаз. Она произносит, чтобы заполнить молчание:

— То были легкие времена по сравнению с сегодняшним днем и рынком рабочей силы.

— А почему Тайленол не поступит на работу, раз ему нужны

деньги?

— Он считает, что ни одна старая профессия ему не по плечу. Он собирается стать в один прекрасный день большим человеком, а пока просит меня добывать немножко хлеба на стол. Он не отправляет меня работать на улице, просто время от времени оказывать услуги — обычно какому-то белому. Он говорит, что когда мы будем обеспечены и осядем, я стану для него королевой. — Со времени окончания школы она продела в бровь маленькое колечко в дополнение к камушку в

ноздре и ряду серебряных колечек, напоминающих гусеницу, на верхней закраине уха. — Так что вот, Ахмад. Нечего больше стоять и паяльаться. Чего бы ты хотел? Я могу прямо сейчас устроить тебе оральный секс и покончить с этим, но, по-моему, твой мистер Чарли предпочитал, чтобы ты получил все сполна, а это значит, что потребуется презерватив и придется потом вымыться. Он заплатил мне за полное обслуживание, какое ты пожелаешь. Он предвидел, что ты можешь застесняться.

Ахмад жалобно произносит:

— Джорилин, я слышать не могу, что ты говоришь.

— А что я говорю, Ахмад? Ты по-прежнему паришь в своей арабской Стране Грез? Я просто пытаюсь говорить ясно. Давай разденемся и займем одну из этих кроватей. Бог ты мой, сколько у нас кроватей!

— Джорилин, ничего не снимай. Я уважаю тебя такой, какой ты была, и в любом случае не хочу терять невинность, пока законно не женюсь на доброй мусульманке, как сказано в Коране.

— Она, крошка, там, в Стране Грез, а я тут и готова совершить с тобой путешествие вокруг света.

— Что это значит — «путешествие вокруг света»?

— Я тебе все покажу. И тебе не надо даже снимать эту скучную белую рубашку — только твои черные брюки. Развратные они, эти твои обтяжные штаны, — в свое время мне хотелось закричать при виде их.

И, опустив лицо на уровень его ширинки, Джорилин раскрывает губы — не так широко, как во время пения, но достаточно широко, так что он это видит. Влажные плевры десны блестят ниже ее зубов, образующих идеальную арку, а за ними лежит толстый светлый язык. Она вопросительно смотрит ему в лицо, выкатив белки глаз.

— Не будь отвратительной, — говорит он, хотя мускул под его ширинкой отреагировал.

Джорилин раздраженно, с подначкой говорит ему:

— Ты хочешь, чтобы я вернула деньги, которые мне дал твой мистер Чарли? Ты хочешь, чтобы Тайленол избил меня?

— А он так с тобой поступает?

— Он старается не оставлять на мне следов. Более старшие сводники говорят ему, что ты поступаешь назло себе, если такое

делаешь. — Она перестает смотреть на него и, легонько ткнувшись головой ему ниже пояса, начинает ее вращать, как делает, отряхиваясь, собака. Затем снова поднимает на него глаза. — Да ну же, красавчик. Я же нравлюсь тебе, я это вижу. — И обеими руками с длинными ногтями дотрагивается до бугра под его ширинкой.

Он отскакивает, встревоженный не столько лаской Джорилин, сколько поднявшим в нем голову дьяволом, призывающим согласиться

и подчиниться, отчего одна часть его тела словно застыла, а другая расслабилась, словно в его кровь впрыснули какую-то сгущающую субстанцию: она пробудила в нем сладостное сознание, что он — мужчина, самостоятельно намеревающийся обслужить находящееся в нем семя. Женщины — это его поля, «на диванах, обитых парчой, возлежат они, и плод двух садов легко будет сорвать».

И он говорит Джорилин:

— Ты слишком мне нравишься, чтобы относиться к тебе как к проститутке.

Но она воркует — ее забавляет и бросает ей вызов этот несговорчивый клиент.

— Просто дай мне взять его в рот, — говорит она. — Это не считается грехом в старом Коране. Это просто естественное выражение приязни. Мы же созданы для этого, Ахмад. И мы не останемся такими навечно. Мы стареем, болеем. Побудь со мной час самим собой, и ты обоим нам окажешь услугу. Неужели тебе не хочется поиграть с моими хорошенькими большими грудками? Я замечала, как ты заглядывал в мою блузку всякий раз, как мы близко стояли друг к другу в школе.

Он отстраняется от нее, икры его плотно прижаты к матрасу на соседней голой кровати, но буря в крови настолько одурманила его, что он не протестует, когда зигзагообразными движениями она вытаскивает свой облегающий лиф из коротенькой юбки, стягивает его через свои короткие волосы в светлых пятнах и, выгнув спину, отстегивает свой черный бюстгальтер из ткани с резиновой нитью. Ее груди вокруг сосков цвета мяса, темные, как баклажан. Оказавшись на виду перед ним, фиолетовые и розовые, они не выглядят такими огромными, как в ту пору, когда наполовину скрыты, и от этого почему-то кажется, что Джорилин стала больше похожа на дружелюбную девушку, которую он немного знал, когда она улыбалась

ему одновременно дерзко и нерешительно возле шкафчиков в раздевалке.

Он говорит с пересохшим горлом и с трудом ворочая языком:

— Я не хочу, чтобы ты рассказывала Тайленолу, что мы делали и чего не делали.

— О'кей, не буду, обещаю. Во всяком случае, он не любит слушать про мои трюки.

— Я хочу, чтобы ты сняла с себя всю оставшуюся одежду, и мы положим немного и поговорим.

Уже то, что он предпринял такую скромную инициативу, кажется, смиряет ее. Она кладет ногу на ногу и снимает один остроносый белый сапог, потом другой и встает — верх ее головы с торчащими пятнистыми прядями теперь, когда она стоит босиком, доходит до основания горла Ахмада. Джорилин ударяется о его грудь, балансируя сначала на одной ноге, потом на другой, чтобы снять свою красную виниловую юбку и прозрачные черные трусики. Покончив с этим, она опускает подбородок и веки и ждет, скрестив на груди руки, словно, оголившись, вдруг стала скромницей.

Он отступает и говорит:

— Маленькая мисс Популярная, — любясь реальной, обнаженной, доступной Джорилин. — Мы оставим на мне одежду, — сообщает он ей. — Дай-ка я посмотрю, нельзя ли найти одеяло и подушки.



— Здесь довольно жарко и душно, — говорит она. — Я уверена, нам не нужно одеяло.

— Одеяло, чтоб подстелить под нас, — поясняет он. — Чтобы не испачкать матрас. Ты хоть знаешь, сколько стоит хороший матрас? Большинство из матрасов накрыто толстым полиэтиленом, но лежать на таком неприятно — полиэтилен липнет к коже.

— Эй, давай не тянуть с этим шоу, — недовольным тоном говорит она. — Я же без одежды... а что, если кто-нибудь войдет?

— Меня удивляет, что тебя это заботит, — говорит он, — коль скоро ты занимаешься такими трюками.

Он взялся создать для себя укромный уголок и подругу, — сознание, что это так, возбуждает его и одновременно порождает нервозность. Дойдя до лестницы, он поворачивается и видит Джорилин — она спокойно сидит в свете лампы, закуривает сигарету,

и дым от нее вьется вверх в конусе света. Ахмад быстро сбегает по лестнице из страха, что Джорилин исчезнет. Среди мебели, что стоит в главном зале, нет одеял, тогда он берет две подушки с обтянутого шелком дивана и несет их наверх вместе с маленьким — четыре на шесть — восточным ковром. Эта поспешно выполненная работа немного успокаивает его, но ноги продолжают дрожать.

— Пора бы уж, — встречает она его.

Он раскладывает на матрасе коврик и подушки, и она укладывается на узорчатый ковер, по краю которого идет голубая полоса — Хабиб Чехаб объяснил ему, что это традиционное изображение сада в оазисе, окруженном рекой. Джорилин, закинув руку за голову на шелковой подушке, демонстрирует выбритую подмышку.

— Ух ты, как здорово! — говорит она, когда он ложится рядом с ней одетый, но без туфель.

Рубашка у него сомнется, но это, наверно, входит в стоимость того, что придется за такую авантюру заплатить.

— Могу я обнять тебя? — спрашивает он.

— О Господи, конечно! Ты имеешь право на куда большее, чем это.

— Я, — говорит он ей, — только на это способен.

— О'кей, Ахмад, а теперь постарайся расслабиться.

— Я не хочу делать ничего такого, что было бы тебе неприятно.

Это вызывает у нее улыбку, а потом смех, и он чувствует ее теплый выдох сбоку на своей шее.

— Это будет куда труднее, чем ты думаешь.

— Зачем ты этим занимаешься? Позволяешь Тайленолу посылать тебя на улицу.

Она выпускает вздох, и снова он ощущает дыхание жизни на своей шее.

— Ты еще ничего не знаешь о любви. Он — мой мужчина. Без меня у него почти ничего нет. Он станет несчастным, и, наверно, я слишком сильно его люблю, о чем он не должен знать. Для черного мужчины, выросшего в Нью-Проспекте, нет ничего позорного в том, что женщина разменивается ради него, — это лишь способ доказать, что ты мужчина.

— Да, но что ты себе докажешь?

— Наверно, что я могу заниматься дерьмом. Это ненадолго. Я не

колюсь, а девочки на этом зацикливаются — принимают наркотики, чтобы выдержать все это дерьмо, а потом главным дерьмом становится привычка. Я курю только травку, да время от времени нюхну коки, так что никто не залезает в мои вены. Я могу все это бросить, когда изменятся обстоятельства.

— Джорилин, да как же они изменятся?

— Он свяжется с какой-нибудь другой девкой. Или, скажем, я не стану больше этим заниматься, — предполагает она.

— Не думаю, чтобы он теперь так легко тебя отпустил. Ты же сама говоришь, что все, что у него есть, — это ты.

Ее молчание подтверждает, что это правда, — в этом молчании он чувствует, как напрягается ее тело под его рукой. Она легонько прижимается к нему животом, а груди ее, словно губки, полные теплой воды, лежат на уровне его нагрудных кармашков, углубляя складки материи. Ногти на ее ногах, — покрытые красным лаком, как он заметил, когда она сняла свои остроносые белые сапоги, тогда как на руках ногти покрыты полосами серебряного и зеленого лака, — вне его досягаемости игриво царапают его щиколотки. Эти ее касания поразительно приятны, смешиваясь в его восприятии с запахами ее волос, и головы, и пота, и с бархатистыми модуляциями ее голоса у его уха. Он слышит в ее дыхании хрипоту с примесью легкой дрожи.

— Я не хочу говорить обо мне, — сообщает она ему. — Такие разговоры меня пугают.

Она, должно быть, чувствует — менее сильно, чем он, — этот налитый кровью, пробудившийся орган внизу его живота, но, следуя навязанному им договору, не дотрагивается до него. Он никогда прежде не имел ни над кем власти — с тех пор как его мать, оставшись без мужа, должна была заботиться о том, чтобы поддержать в нем жизнь.

Он упорно продолжает гнуть свою линию:

— А как насчет пения в церкви, которым ты занималась? Как это соотносится с тем, чем ты занимаешься?

— Никак. Я больше там не пою. Мать не понимает, почему я перестала петь. Она говорит, что Тайленол плохо на меня влияет. Она и представления не имеет, насколько права. Послушай, договоренность такая: ты можешь потрахаться со мной, но не допрашивать меня.

— Я просто хочу побыть с тобой настолько близко, насколько это возможно.

— О Господи! Я это уже слышала. Мужчины — они все такие сердечные. В таком случае расскажи-ка о себе. Как поживает старина Аллах? Как тебе нравится быть святошей, когда ты уже не в школе, а в реальном мире?

Губы его находятся в дюйме от ее лба. Он решил раскрыться ей, рассказать об этой стороне своей жизни, которую он инстинктивно оберегает от всех, даже от Чарли, даже от шейха Рашида.

— Я по-прежнему держусь Прямого пути, — говорит он Джорилин. — Ислам по-прежнему наставляет меня и утешает. Но...

— Но — что, малыш?

— Когда я обращаюсь к Аллаху и пытаюсь думать о Нем, мне приходит в голову, какой Он одинокий в этом звездном пространстве, которое Он своей волей создал. В Коране его именуют Любящим, Самодостаточным. Я привык думать о любви, теперь же меня поразила самодостаточность в пустоте. Люди всегда думают о себе, — говорит

он Джорилин. — Никто не думает о Боге — страдает ли Он или нет, нравится ли Ему быть тем, кто Он есть. Что в мире доставляет Ему удовольствие? Но даже думать о подобных вещах, представить себе Бога в виде человеческого существа, по мнению моего учителя-имама, является богохульством, заслуживающим вечного горения в Аду.

— Господи, сколько надо держать в своем уме! Может, Он дал нам друг друга, чтобы мы не были такими одинокими, как Он. Об этом сказано в Библии довольно много.

— Угу, но кто мы? Пахучие животные с небольшим набором животных потребностей и более короткой жизнью, чем у черепах. Это его упоминание черепах рассмешило Джорилин, а когда она смеется, он чувствует, как все ее нагое тело сотрясается, и он думает обо всех этих кишках и желудке, и всем прочем, что содержится в нем, — все это находится в ней, а еще и нежная натура, которая дышит ему в шею, где Бог близок, как вена. Джорилин говорит ему:

— Ты лучше стань выше всех этих твоих странных идей, или они доведут тебя до психоза.

Его губы шевелятся в дюйме от ее бровей.

— Бывает, у меня появляется желание присоединиться к Господу, облегчить Его одиночество. — Не успевают эти слова вылететь из его

рта, как он понимает, что совершил богохульство: в двадцать девятой суре написано: «Поистине Аллах не нуждается в мирах!»

— Ты хочешь сказать — умереть? Ты снова меня пугаешь, Ахмад.

К чему подталкивал меня этот мерзавец? Чтоб мы с тобой поболтали? — Она быстро, умело ласкает его. — Нет, милый, не выйдет. Он все еще тут и хочет того, чего хочет. Мне невыносимо... невыносимо это выжидание. Ты ничего не делай. Аллах может винить за это меня. Я вынесу — я ведь всего лишь женщина, и притом грязная.

Джорилин кладет руки на его ягодицы, обтянутые черными джинсами, и, ритмично подтягивая его к своему мягкому телу, вовлекает в конвульсивную трансформацию, разрастающееся перерождение его зажатости, пожалуй, вроде того, что происходит, когда душа после смерти попадает в Рай.

Два молодых тела припадают друг к другу, словно с трудом переводящие дух скалолазы, добравшиеся до выступа в скале.

Джорилин говорит:

— Ну вот. У тебя все брюки испачканы, но зато мы не попользовались презервативами и ты будешь по-прежнему девственен для твоей будущей невесты с косыночкой.

— С хиджабой. Да у меня, может, и никогда не будет невесты.

— Почему ты так говоришь? У тебя все работает и к тому же хороший характер.

— Такое у меня чувство, — отвечает он ей. — Ты, пожалуй, ближе всего к моей возможной невесте. — И слегка корит ее: — Я ведь не просил тебя доводить до того, чтоб я кончил.

— Я люблю отрабатывать получаемые деньги, — говорит она ему. А ему жаль, что она, расслабься, переходит на разговор, разорвав влажный шов, соединявший их в одно тело. — Я не знаю, откуда у тебя это скверное чувство, но этот твой приятель Чарли ведет какую-то игру. Зачем он устроил эту нашу встречу, когда ты его не просил?

— Он считал, что мне это нужно. И возможно, так оно и было.

Спасибо тебе, Джорилин. Хотя, как ты сказала, вышло не очень чисто.

— Это выглядит почти так, будто тебя откармливают.  
— Кто, для чего?  
— Сладкий мой, я не знаю. Ты слышал мой совет. Уходи с этого грузовика.

— А что, если я сказал бы тебе: «Уходи от Тайленола»?

— Это не так легко. Он — мой мужчина.

Ахмад пытается понять ее.

— Мы ищем привязанностей, какими бы они ни были для нас несчастливými.

— Ты в точку попал.

Влага в его трусах высыхает, становится клейкой, тем не менее он удерживает Джорилин, когда она старается выбраться из-под его руки.

— Мне пора, — говорит Джорилин.

Он крепче прижимает ее к себе, немного жестоко.

— Ну как, заработала ты свои деньги?

— А разве нет? Я почувствовала, как из тебя вылетело фонтаном.

Ему хочется разделить с ней этот нечистый разговор.

— Но мы ведь не трахались. А может, следовало. Чарли хотел бы, чтоб я это проделал.

— Хочешь получить представление, да? На этот раз слишком поздно, Ахмад. Оставайся пока девственником.

За стенами мебельного магазина спустилась ночь. Они находятся на расстоянии двух кроватей от единственной горящей лампы, и при ее слабом свете лицо Джорилин на подушке, обтянутой белым шелком, лежит черным овалом, идеальным овалом со своими блестками и движениями отливающих серебром губ и век. Она потеряна для Бога, но отдает свою жизнь другому, чтобы Тайленола, этот жалкий задира, мог жить.

— Окажи мне еще одну услугу, — просит Ахмад. — Джорилин, я не в силах отпустить тебя.

— Какую услугу?

— Спой мне.

— Бог мой! Да ты настоящий мужчина. Вечно хочешь еще чего-то.

— Только коротенькую песенку. Мне так понравилось это там, в церкви, когда мне удавалось выделить твой голос из всех остальных.

— А теперь кто-то еще научил тебя сладким речам. Я должна сесть. Невозможно петъ лежа. Лежа делают совсем другие вещи.

Она могла бы и не говорить так грубо. Под ее округлыми тяжелыми грудями при свете одинокой лампы, горящей среди океана матрасов, лежат полукружия тени — ей восемнадцать лет, но сила

тяготения тянет их вниз. Ему хочется протянуть руку и дотронуться до ее сосков цвета мяса, даже ущипнуть их — она ведь шлюха и привыкла к худшему, и он удивляется этому позыву жестокости в себе, убивающему в нем нежность, которая отвлечет его от глубоко сидящей в нем преданности вере. «Тот, кто сражается за дело Аллаха, — говорится в двадцать девятой суре, — сражается за себя». Ахмад закрывает глаза, увидев, как напряглись маленькие мускулы ее губ с нежной припухлостью по краям, что она собирается запеть.

— «Какой наш друг Иисус», — затягивает она дрожащим голосом, без синкопов, как он слышал в церкви, — «Он берет на себя все наши пороки и беды»... — поет она и, протянув бледную ладонь, дотрагивается до его брови, прямой брови, опускающейся вниз под

тяжестью веры, какую большинство людей не в состоянии вынести, и ее пальцы с двуцветными ногтями, блуждая, наконец замирают на мочке его уха. — ...«и с молитвой несет их к Господу».

Ахмад смотрит, как она быстро одевается: сначала бюстгальтер, потом, смешно изогнувшись, — свои слишком маленькие трусики; затем — свою уютную вязаную кофточку, такую коротенькую, что видна полоска живота, и наконец — красную мини-юбку. Она садится на край постели, чтобы натянуть свои остроносые сапоги поверх тонких белых носков, которые он не заметил, когда она снимала. Они для того, чтобы защитить кожу сапог от ее пота и чтобы ноги не пахли. Который сейчас час? Темнота с каждым днем наступает раньше. Немного больше семи — он был с ней меньше часа. Мать, возможно, уже дома и ждет, чтобы накормить его. С некоторых пор она стала уделять ему больше времени. Реальная жизнь зовет: надо встать и разгладить полиэтилен на матрасе, чтобы не осталось ни вмятины от них, и вернуть коврик и подушки на их места внизу, и провести Джорилин среди столов и кресел, мимо письменных столов, и холодильника для воды, и табельных часов, и через заднюю дверь выбраться обоим в ночь, прочерченную светом фар не столько трудящихся, возвращающихся домой, сколько тех, кто охотится за чемлибо, — за ужином или за любовью. Ее пение и то, что он кончил, привели его в столь сонное состояние, что мысль о постели и о вечном сне не пугала его, пока он шагал по двенадцати кварталам домой. Шейх Рашид приветствует его на языке Корана:

— «Fa-inna ma'a 'l-'usrī yusrā»[51].

Ахмад, немного позабыв классический арабский после того, как в течение трех месяцев не посещал уроков в мечети, мысленно переводит эту цитату и раздумывает над ее скрытым смыслом. «Вслед за каждой тяжестью приходит облегчение». Он понимает, что это из «Подаяния», одной из ранних мекканских сур, позднее вставленных в книгу, потому что они более короткие, однако дороги его учителю из-за своей сжатости и загадочности. Иногда это называется «Разве мы не раскрыли?» — это обращение голосом Бога к самому Пророку: «Разве мы не облегчили твою грудь? И не сняли с тебя твою ношу, которая тяготила твою спину?»[52]

Его встреча с Джорилин была устроена на пятницу перед Днем труда, таким образом только в следующий вторник Чарли Чехаб спросил его на работе:

— Как все прошло?

— Отлично, — последовал деликатный ответ Ахмада. —

Оказалось, что я немного знал ее в школе. К сожалению, с тех пор она сбилась с пути.

— Она проделала что нужно?

— О да. Работа проделана.

— Отлично. Ее бандит обещал, что она премило справится. Какое облегчение! Я хочу сказать: для меня. Мне было как-то не по себе от того, что ты все еще не развязан. Не знаю, почему я так это переживал, но вот ведь переживал. Чувствуешь себя по-новому, мужчиной?

— О да. Я смотрю на жизнь сквозь новую вуаль. Я бы должен сказать: сквозь новые линзы.

— Великолепно. Великолепно. Пока не получил своей первой юбки, ты вроде и не жил. Я получил свою первую юбку в шестнадцать. Собственно, две: с проституткой, настоящей троянкой, и с девчонкой

из соседнего загона для лошадей. Но все это было, когда жизнь была более дикой — до СПИДа. Твое поколение разумно считает, что надо предостерегаться.

— Мы и предостерегались.

Ахмад вспыхнул при мысли о тайне, которую он скрывает от Чарли: что он остался девственником. Но ему не хотелось разочаровывать своего ментора, сказав ему правду. Пожалуй, слишком многим они делились друг с другом в уединении кабины, пока

«Превосходный» обрабатывал Нью-Джерси своими колесами. Совет Джорилин, чтобы он ушел с грузовика, не дает ему покоя.

Этим утром у Чарли был озабоченный вид, он нервничал из-за множества доставок. На лице его то и дело появлялись складки, выражение подвижного рта менялось, все это выглядело уж слишком необычно в его кабинете позади демонстрационного зала, где они пили утренний кофе и намечали план на день. Здесь ждала его немытая оливкового цвета роба и желтый клеенчатый плащ на те дни, когда приходилось делать доставки под дождем, — они висели на гвоздях, как содранная кожа.

Чарли объявил:

— Я столкнулся с шейхом Рашидом в длинные выходные.

— Вот как? — «Чехабы, — подумал Ахмад, — конечно же, являются важными членами мечети — в этой встрече нет ничего странного».

— Он хотел бы, чтобы ты пришел в Исламский центр.

— Чтобы, боюсь, сделать мне взыскание. Теперь, когда я работаю, я забросил Коран и не бываю по пятницам, хотя, как вы заметили, я никогда не забываю исполнить обряд салата, как только могу урвать пять минут и провести их в незагрязненном месте.

— Ты не можешь считать, что связь существует только между тобой и Богом, Недоумок. Бог послал своего Пророка, и Пророк создал сообщество. Без имтан — знания и практики веры в правильной группе — вера становится зерном, которое не приносит плодов.

— Это шейх Рашид сказал, чтобы вы передали мне? — Слова эти скорее принадлежали шейху Рашиду, чем Чарли.

Мужчина усмехнулся — вот так, вдруг обнажая зубы, он становился похожим на ребенка, пойманного на шалости.

— Шейх Рашид может сам все сказать. Но он призывает тебя не для того, чтобы ругать — совсем наоборот. Он хочет дать тебе возможность отличиться. Вели моему рту закрыться, а то я опережаю события. Пусть он сам тебе все скажет. Сегодня мы рано закончим доставки, и я высажу тебя у мечети.

Так он был доставлен к своему учителю — имаму из Йемена.

Маникюрный салон под мечетью, хотя в нем полно стульев, пуст: там сидит лишь скучающая вьетнамка-маникюрша и читает журнал, а сквозь закрытое длинными венецианскими ставнями окошко с

надписью «Обналичивание чеков» видна узкая полоска высокого прилавка, защищенного решеткой, за которой сидит, зевая, крупный белый мужчина. Ахмад открывает дверь между этими двумя деловыми точками, паршивую зеленую дверь под номером 2781½, и лезет по узкой лестнице наверх, в прихожую, где когда-то ученики съехавшей отсюда Студии танца ждали своих уроков. На доске объявлений возле кабинета имама по-прежнему висят отпечатанные на компьютере

объявления о занятиях арабским языком, о советах по освященному, надлежащему и благопристойному в нынешнее время браку и о лекциях того или иного заезжего муллы по истории Среднего Востока. Шейх Рашид в кафтане, расшитом серебряной нитью, выступает вперед и с необычными рвением и церемонностью пожимает руку своему ученику, — он, кажется, не изменился за лето — лишь в бороде, пожалуй, стало больше седых волос, что гармонирует с кротким взглядом его серых глаз.

К своему приветствию, над значением которого Ахмад все еще размышляет, шейх Рашид добавляет:

— *Wa la 'l-akhiratu khayrun laka mina 'l-ūlā, wa la-sawfa yu'tika rabbuka fa-tardā.*

Ахмад смутно представляет, что это из одной короткой мекканской суры, которые так любит его учитель, — возможно, из «Утра», где сказано, что в будущем, в предстоящей жизни, тебя ждет куда более богатый дар, чем в прошлом. «Ты будешь доволен, что даст тебе твой Господь»[53].

А по-английски шейх Рашид говорит:

— Милый мальчик, я тосковал по тем часам, когда мы вместе изучали Писание и беседовали о больших проблемах. Я тоже учился. Простота и сила твоей веры просвещали и укрепляли меня в моей вере. Таких, как ты, слишком мало.

Он ведет молодого человека в свой кабинет и усаживается в кресло с высокой спинкой, сидя в котором он поучает.

— Итак, — обращается он к Ахмаду, когда оба сели, заняв привычные позиции вокруг стола, на котором нет ничего, кроме затасканного зеленого экземпляра Корана. — Ты пообщался в широком мире неверных... мире, который наши друзья Черные мусульмане называют «мертвым миром». Он повлиял на твои верования?

— Сэр, я этого не заметил. Я по-прежнему чувствую, что Господь со мной рядом — так близко, как вена на моей шее, что Он милостив ко мне, как только Он может быть милостив.

— Разве ты не заметил в тех городах, которые ты посещал, бедности и нищеты, которые заставляли бы тебя усомниться в Его милосердии, и разницы между богатством и бедностью, что бросает сомнение на Его справедливость? Разве ты не нашел, что в мире — в его американской части — стоит вонь расточительства и алчности, чувственности и тщеты, отчаяния и усталости, что является следствием незнания вдохновенной мудрости Пророка?

Сухая цветистость риторики имама, произносимая голосом, который то исчезает, то гремит, вызывает у Ахмада знакомое чувство неловкости. Он пытается дать честный ответ — немного в духе Чарли:

— Я догадываюсь, что это не самая фантастическая часть планеты, и в ней достаточно неудачников, но я, право же, получаю удовольствие находиться тут. Люди в большинстве славные. Правда, мы обычно доставляли то, чего они хотели, и считали, что это улучшит их жизнь. С Чарли было весело. Он хорошо знает историю штата.

Шейх Рашид пригибается, держа ноги на полу и сложив вместе кончики пальцев своих красивых маленьких рук, возможно, чтобы унять их дрожь. Ахмад не может понять, почему учитель так нервничает. Возможно, он ревнует своего ученика к другому мужчине.

— Да, — говорит он, — Чарли — весельчак, но он ставит перед

собой и серьезные цели. Он сообщил мне, что ты выразил готовность умереть за джихад.

— Я выразил?

— В интервью в парке Либерти, когда вы смотрели на Нижний Манхэттен, где победоносно были снесены обе башни — символы капиталистического притеснения.

— Это было интервью?

Как странно, думает Ахмад, что разговор на свежем воздухе был передан здесь, в замкнутом пространстве этой городской мечети, из окон которой видны лишь кирпичные стены да черные облака. Небо сегодня затянуто серыми кустистыми облаками, из которых может пойти дождь. А тогда, во время интервью, день был ярким, светлым, крики детей в праздничных одеждах рикошетом отдавались между

блестящим Верхним заливом и ослепительно сверкавшим сводом Центра науки. Воздушные шары, чайки, солнце.

— Я умру, — подтверждает Ахмад, помолчав, — если на то будет воля Божия.

— Есть способ, — осторожно начинает учитель, — нанести мощный удар по Его врагам.

— Заговор? — спрашивает Ахмад.

— Способ, — брезгливо повторяет шейх Рашид. — Для этого нужен шахид с безграничной любовью к Господу и нетерпеливой жаждой познать великолепие Рая. Ты такой, Ахмад? — Вопрос задан чуть ли не лениво, учитель откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, словно от слишком яркого света. — Пожалуйста, будь честен.

А к Ахмаду вернулось призрачное чувство, что он висит над бездонной пропастью на тоненьких и скудных перекладинах лесов. Прожив на положении человека, едва причастного, он ступил на шаткую ступень приобщения к сверкающему центру.

— Я считаю, что я такой, — говорит юноша учителю. — Но у меня нет навыков воина.

— Были приложены усилия к тому, чтобы ты получил все необходимые навыки. Задача будет состоять в том, чтобы подогнать грузовик к определенному месту и сделать простое механическое подсоединение. Как это надо сделать, тебе объяснят специалисты, которые занимаются такими вещами. В нашей войне во имя Господа, — поясняет имам с легкой довольной улыбкой, — у нас есть техники-специалисты, равные тем, что имеются у врага, и воля и дух, куда большие, чем у него. Помнишь двадцать четвертую суру al-nūr — «Свет»?

Он прикрывает веки, испещренные крошечными багровыми венами, пытаюсь вспомнить и процитировать суру.

— «Wa 'l-hadhīna kafarū a'māluhum ka-sarābi biqī'atin yahsabuhu 'zzam'ānu mā'an hattā idhā jā'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada 'llaha

'indahu fa-waffāhu hisābahu, wa 'llahu sarī'u 'l-hisāb». — Открыв глаза и увидев виновато непонимающее лицо Ахмада, шейх со своей тонкогубой кривой улыбочкой переводит: — «У тех, которые не веровали, деяния — точно мираж в пустыне. Жаждающий считает его водой, а когда подойдет к нему, видит, что это — ничто, и находит у себя Аллаха, который полностью требует с него расчета»[54].

Прекрасный образ, всегда считал я: путник думает, что это вода, а находит там лишь Аллаха. Он ошарашен. Перед нашим врагом лишь



мираж эгоизма, множество маленьких эго и мелких интересов, которые надо отстаивать, а у нашей стороны — единственная высокая самоотверженность. Мы подчиняемся Господу и сливаемся с ним воедино, а также друг с другом.

Имам снова закрывает глаза в трансе благочестия, его сомкнутые веки подрагивают от пульсации находящихся в них капилляров.

Однако голос, вылетевший из его рта, звучит убедительно.

— Твой переход в Рай произойдет мгновенно, — заверяет он. —

Твоя семья — твоя мать — получит компенсацию — *i'āla* — за свою утрату, хотя она и неверная. Красота жертвоприношения, совершенного сыном, возможно, убедит ее сменить веру. С Аллахом все возможно.

— Моя мать — она всегда сама себя содержала. Могу я дать другое имя — имя подруги моего возраста — для получения компенсации? Это может помочь ей добиться свободы.

— Что такое свобода? — спрашивает шейх Рашид и открывает глаза, пробивая кожу своего транса. — Пока мы находимся в нашем теле, мы — рабы нашего тела и его потребностей. Как я завидую тебе, дорогой мальчик! По сравнению с тобой я — старик, а величайшая слава битвы принадлежит молодым. Пожертвовать жизнью, — продолжает он, прикрыв веки, так что поблескивает лишь влажная серая радужная оболочка, — прежде чем она износится, превратится в лохмы. Какое это будет бесконечное счастье!

— Когда, — спрашивает Ахмад, дав молчанию поглотить эти слова, — произойдет мое *istishhād*? — Его самопожертвование: оно уже стало частью его, чем-то живым, с чем ничего не поделаешь, как с сердцем, желудком, поджелудочной железой, перерабатывающей химикалии и энзимы.

— Твоя героическая жертва, — быстро приумножает значение сказанного его учитель. — Я бы сказал: через неделю. Детали не мне уточнять, но через неделю будет близко к одной годовщине, и это явится эффектной вестью глобальному Сатане. А вестя эта будет такая: «Мы наносим удар, когда нам угодно».

— Грузовик. Это будет тот, на котором я езжу для «Превосходной домашней мебели»? — Ахмад может печалиться, если не о своей

участи, то о грузовике — о его веселом оранжевом цвете, о красивой надписи, об удобствах для шофера, когда мир препятствий и опасностей, пешеходов и других машин находится перед тобой, по ту сторону высокого ветрового стекла, так что легче увидеть возможность объезда, чем из автомобиля с нависающим длинным складным верхом.

— Похожий грузовик, который тебе не трудно будет вести на небольшое расстояние. А «Превосходный» грузовик уже сам по себе, конечно же, инкриминирует Чехабов, если сохранятся какие-то обломки. Будем надеяться, что ничего не останется. Когда взорвали первый Центр мировой торговли — возможно, ты был слишком молод и не помнишь, — арендованный грузовик до смешного легко нашли.

На этот раз физические ключи к разгадке будут уничтожены: погружены, как говорит великий Шекспир, на пять сажений в глубину.

— Уничтожены, — повторяет Ахмад. Это слово он не часто слышит. На него словно набросили странный покров — этакую прозрачную, неприятную на ощупь шерсть, которая препятствует его восприятию окружающего.

А шейх Рашид, наоборот, вдруг вышел из своего транса,

почувствовав, что это вызывает у парня тошноту, и стал быстро напираться:

— Ты ничего этого не познаешь. В этот момент ты уже будешь в Джанне, в Раю, стоять перед исполненным восторга лицом Господа. Он примет тебя, как своего сына. — Шейх, меняя рычаги, с серьезным видом пригибается. — Ахмад, выслушай меня. Ты не обязан это делать. Если у тебя дрогнуло сердце, признание, которое ты сделал Чарли, ни к чему не обязывает тебя. Есть немало других, которые жаждут прославиться и обеспечить себе вечное блаженство. В джихаде полно добровольцев — даже в этой родине зла и неверия.

— Нет, — протестует Ахмад, приревновав в этой толпе других, готовых, судя по словам шейха, украсть у него славу. — Моя любовь к Аллаху абсолютна. Вы делаете мне подарок, от которого я не могу отказаться. — Увидев по лицу учителя, что он вроде бы отступает: в нем борются чувство облегчения и скорбь, в этом обычно сосредоточенном лице появилась брешь замешательства, сквозь которую проглянула гуманность, Ахмад смягчается и, разделяя его гуманность, шутит: — Я бы не хотел, чтобы вы сочли напрасными часы, которые мы провели за изучением Вечной Книги.

— Многие изучают Книгу, немногие умирают за нее. Немногим выпадает возможность доказать ее правоту. — С этих суровых высот шейх Рашид, смягчившись, в свою очередь, спускается: — Если в твоём сердце, дорогой мальчик, есть малейшая неуверенность, скажи об этом сейчас — никакого наказания не последует. Все будет так, словно этого разговора никогда не было. Я попрошу тебя только молчать об этом, чтобы кто-то другой, более храбрый и более верующий, мог в тишине выполнить эту миссию.

Парень понимает, что им манипулируют, тем не менее поддается манипуляции, поскольку она вытягивает из него духовный потенциал: — Нет, миссия моя, хотя у меня такое чувство, что я в ней сведен до размера червя.

— В таком случае отлично, — заключает учитель, откидываясь на спинку кресла, и, подняв ноги в маленьких черных туфлях, кладет их на расшитую серебряной нитью скамеечку для ног. — Мы с тобой не будем больше об этом говорить. И ты сюда больше не приходи. До меня дошел слух, что Исламский центр, возможно, находится под наблюдением. Сообщи Чарли Чехабу о своем героическом решении. Он устроит, чтобы ты скоро получил подробную инструкцию. Сообщи ему имя этой sharmoota[55], которую ты ценишь больше матери. Не могу сказать, что я это одобряю: женщины — это наши поля, а вот мать — сама Земля, благодаря которой мы существуем.

— Учитель, я предпочел бы сообщить это имя вам. Чарли знает ее, и это может привести к тому, что он не уважит моего намерения. Шейх Рашид недоволен таким осложнением, кладущим пятно на чистоту согласия ученика подчиниться.

— Как тебе угодно, — сухо произносит он.

Ахмад печатными буквами выводит ДЖОРИЛИН ГРАНТ, как много месяцев тому назад он видел это написанным чернильным карандашом на полях страниц толстого школьного учебника. Раньше они были равны между собой, а теперь он нацелен на Джанна, а она — на Джаханнан, ямы Ада. Она — единственная, кого он хотел бы иметь невестой на Земле. Выводя буквы, Ахмад замечает, что дрожь из руки учителя перешла в его руку. Его душа подобна сейчас запоздалой мухе,

которая зимой оказалась взаперти в теплой комнате, жужжит и бьется об оконное стекло, залитое солнцем снаружи, где она быстро умерла бы.

На следующий день, в среду, он рано просыпается словно от крика, который тут же растворился и исчез. На кухне в темноте — еще нет и шести часов — он сталкивается с матерью, у которой снова утренняя смена в Сент-Фрэнсисе. Она скромно одета в бежевое платье с накинутой на плечи голубой вязаной кофтой; ноги ее тихо ступают в белых «найках», которые она надевает, чтобы шагать мили по твердым полам больницы. Ахмад с благодарностью чувствует, что недавно владевшее ею настроение — вспыльчивость и вздорность, объясняемые одним из этих туманных разочарований, чьи повторения омрачали его раннее детство, — проходит. На ней нет грима; кожа под глазами побелела, а глаза — красные от плаванья по водам сна. Она удивленно здоровается с ним:

— Ну и ну, ты сегодня ранняя птичка!

— Мама...

— Что, милый? Только недолго — мне через сорок минут заступать.

— Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты терпела меня все эти годы.

— Что за странные вещи ты говоришь! Мать не терпит своего ребенка — ведь ребенок оправдывает ее существование.

— Без меня ты могла бы свободнее развиваться как художник или в чем-то другом.

— О, я такой художник, какой у меня талант. Если бы мне не надо было о тебе заботиться, я могла бы пойти ко дну из жалости к себе и из-за плохого поведения. А ты, право, был таким хорошим мальчиком — никогда не доставлял мне настоящих неприятностей, о чем я все время слышу в больнице. И не только от других помощниц медсестер, а и от докторов, несмотря на всю их образованность и красивые дома. Они дают своим детям все, а дети вырастают ужасные — занимаются самоуничтожением или уничтожают других. Не знаю, в какой мере я обязана твоему магометанству. Ты ведь даже ребенком был таким доверчивым и легким. Что бы я ни предлагала, ты считал это хорошей идеей. Меня даже беспокоило, когда ты стал старше, как бы ты не попал под влияние дурных людей — тебя ведь так легко было подчинить себе. А посмотри теперь на себя! Светский человек, хорошо, как ты и обещал, зарабатывающий и к тому же красивый. Ты

стройный, как отец, у тебя его глаза и сексуальный рот, но нет его трусости, его стремления всегда действовать без проволочек.

Ахмад не сообщает ей о кратчайшем пути в Рай, которым он собирается идти. Вместо этого он говорит:

— Мы не называем это магометанством, мама. Это звучит так, будто мы поклоняемся Мохаммеду. Он никогда не утверждал, что он — Бог, он просто его Пророк. Единственное чудо, на которое он претендует, — это Коран.

— Да, видишь ли, дорогой, римский католицизм тоже полон этих мелочных различий в том, чего никто не может увидеть. Люди сочиняют их в истерике, а потом они превращаются в непреложные истины. Медальки святого Христофора, и запрет разгрызть святую таблетку, и служение мессы на латинском, и не есть мяса по пятницам,

и все время креститься, а потом Ватикан спокойно все это отбросил — отбросил то, чему люди верили две тысячи лет! Монахини до нелепости держались всего этого и требовали того же от нас, детей, а я — хоть и недолго — видела вокруг себя лишь прекрасный мир, и мне хотелось запечатлеть на полотнах его красоту.

— Ислам считает это богохульством, попыткой узурпировать прерогативу Господа на творение.

— Ну, я знаю. Поэтому в мечетях нет ни статуй, ни росписи. Мне это кажется излишне суровым. Для чего же тогда Бог дал нам глаза? Она говорит и моет миску из-под каши, затем ставит ее на сушилку и вытаскивает тост из тостера и мажет его джемом, одновременно глотая кофе.

Ахмад говорит ей:

— Считается, что Бога невозможно описать. Разве монахини не говорили такого?

— Что-то не помню. Но ведь я ходила в приходскую школу всего три года, а потом перешла в народную, где о Боге даже не упоминали из боязни, что какой-нибудь еврейский ребенок, придя домой, скажет об этом своим родителям, юристам-атеистам. — Она бросает взгляд на свои часы, часы нырлящика с толстым стеклом и крупными цифрами, чтобы видеть их, когда она щупает пульс у больного. — Дорогой мой, я люблю серьезный разговор — возможно, ты даже мог бы обратить меня в свою веру, вот только они заставляют тебя носить все эти жаркие мешковатые одежды, но сейчас я, право же, опаздываю, и мне

надо бежать. У меня нет даже времени — уж извини — завезти тебя на работу, да в любом случае ты явишься туда первым. Почему бы тебе, закончив завтрак и убрав посуду, не прогуляться до магазина или даже не пробежать? Ведь это всего десять кварталов.

— Двенадцать.

— Помнишь, как ты бегал туда-сюда в таких коротеньких шортах? Я так гордилась тобой — ты выглядел так сексуально.

— Мама, я люблю тебя.

Тронутая, даже пораженная, чувствуя глубину его потребности, но в состоянии лишь коснуться его и умчаться, Тереза целует сына в щеку и говорит ему:

— Ну конечно же, сладкий мой, и я тебя люблю. Как это говорят французы? *Ca va sans dire*. Само собою разумеется.

Он глупо краснеет, ненавидя себя за вспыхнувшее лицо. Но он не может этого не сказать:

— Я хочу сказать, все эти годы я был одержим своим отцом, а заботилась-то обо мне ты. — «Наша мать — это сама Земля, которая дала нам существование».

Руки Терезы пробегают по телу, проверяя, все ли в порядке; она снова бросает взгляд на свои часы, и Ахмад чувствует, как мысль ее летит, летит прочь. То, что она произносит, вызывает у него сомнение, что она услышала его слова.

— Я знаю, дорогой: все мы совершаем ошибки в наших отношениях с людьми. Ты сможешь сегодня позаботиться о своем ужине? Сегодня снова собирается группа рисовальщиков, которая встречается в среду вечером, у нас сегодня будет модель — ну, ты знаешь: каждый из нас дает по десятке для оплаты ее, и в течение пяти минут она позирует, а потом подольше просто сидит, и мы можем работать пастелью, но не маслом. Словом, Лео Уайльд позвонил на

днях, и я обещала пойти с ним. Ты ведь помнишь Лео, верно? Я недолго встречалась с ним. Крепыш, завязывает волосы в конский хвост, носит забавные маленькие очки, как у бабушки...

— Я помню его, мама, — холодно произносит Ахмад. — Один из твоих неудачников.

Он провожает ее взглядом, когда она выскакивает за дверь, слышит ее быстрые шаги в туфлях на мягкой подошве по коридору и глухой шум лифта, поднимающегося в ответ на ее вызов. Он моет в

раковине свою грязную мисочку и стакан из-под апельсинового сока с новым рвением, с тщательностью, порожденной сознанием, что это в последний раз. И кладет их на сушилку. Они абсолютно чисты, как утро в пустыне, когда месяц делит небо с Венерой.

В «Превосходной домашней мебели», на площадке, где стоит недавно загруженный оранжевый грузовик между ними и окном конторы, из которого старый лысый мистер Чехаб может увидеть, как они разговаривают, и почувствовать сговор, Ахмад говорит Чарли:

— Я готов.

— Я слышал. Хорошо. — Чарли смотрит на Ахмада, словно видит парня впервые своими глазами ливанца — глазами-кристаллами, не вполне являющимися частью плоти, такими хрупкими с их янтарной лучистостью и зернистостью, более светлыми возле зрачка и с темнокарей радужной оболочкой. Ахмад вдруг осознает, что у Чарли есть

жена, дети и отец, — он связан с этим миром куда больше, чем Ахмад.

Его положение более затруднительно. — Ты уверен, Недоумок?

— Бог мне свидетель, — говорит ему Ахмад, — я горю желанием это совершить.

Он всегда смущается — сам не зная почему, — когда Бог возникает между ним и Чарли. А тот быстро совершает свой трюк губами — поджимает губы и затем вытягивает их, словно нехотя выпуская то, что держал в засаде.

— Тогда тебе надо встретиться со специалистами. Я это устрою. — И помолчал. — Это немного сложно, так что может произойти и не завтра. Как у тебя с нервами?

— Я отдал себя в руки Господа и чувствую полнейшее спокойствие. Мои собственные намерения, мои желания утихли.

— Правильно. — Чарли поднимает кулак и ударяет Ахмада в плечо жестом солидарности и взаимного поздравления — так игроки в американский футбол стучаются шлемами или баскетболисты поднимают вверх сжатые кулаки, даже отступая на оборонительные позиции. — Все системы уходят, — говорит Чарли; в его кривой усмешке и настороженном взгляде Ахмад видит смешанную природу любого святого дела на Земле — смесь Мекки и Медины, восторженного вдохновения и терпеливой работы в доведении дела до конца.

Не на следующий день, а в следующую пятницу Чарли, сидя на пассажирском месте, дает указание вывести грузовик со стоянки и ехать прямо по бульвару Рейгана, затем на перекрестке свернуть налево на Шестнадцатую улицу и ехать по ней до Уэст-Мэйн-стрит, в район Нью-Проспекта, расположенный к западу от Исламского центра, где поколения тому назад осели эмигранты с Ближнего Востока — турки, сирийцы и курды, набившиеся в низшие классы роскошных трансатлантических лайнеров, и где до сих пор работали всюю

фабрики по окраске шелка и кожи. Вывески арабской скорописью и римским алфавитом — красным по желтому, черным по зеленому — рекламируют: «Бакалею аль-Модена», «Турецкую красоту», «Пашу». Пожилые люди, которых видишь на улицах, давно расстались с галлабией и феской, сменив их на костюмы западного стиля, потерявшие из-за ежедневной носки всякий вид, — такие носили их предшественники, средиземноморские мужчины — сицилийцы и греки, жившие в этом районе тесно стоящих друг к другу домов. Более молодые американцы арабского происхождения, бездельники и наблюдатели, пристрастились к бесформенным кроссовкам, чересчур широким болтающимся джинсам и футболкам с капюшоном из черной ткани. Ахмад в своей строгой белой рубашке и черных джинсах, узких, как две железные дымовые трубы, выглядел бы здесь чужаком. Для этих его единоверцев ислам — это не столько вера, филигранная дверь, открывающаяся в сверхъестественное, сколько привычка, одна из граней их существования в качестве низшей категории, чуждой той нации, которая упорно считает себя светлокожей, англоговорящей и христианской. Ахмад воспринимает эти кварталы как обиталища низшего класса, куда он временно попал чужаком среди чужаков. А Чарли чувствует себя здесь вполне комфортно, весело треплется с местными жителями, направляя Ахмада на забитую машинами стоянку позади «Бодрячков» и магазина металлоизделий «Аль-Агса Дешевле-некуда». Чарли умоляюще поднимает руки и показывает

десять пальцев выскочившему на улицу продавцу из «Дешевле некуда», говоря, что никто в своем уме не может отказать в десятиминутной парковке; в подтверждение этого довода десять долларов переходят из рук в руки. Выходя на улицу, Чарли шепчет Ахмаду:

— На улице этот чертов грузовик торчит как цирковой фургон.  
— А вы не хотите, чтобы вас заметили, — делает вывод Ахмад. — Но кто станет этим заниматься?

— Это никогда не ясно, — звучит неопределенный ответ.

Они идут быстрее, чем обычно ходит Чарли, по проулку, параллельному Мэйн-стрит, вдоль которого время от времени тянутся проволочные заборы

с  
колючей  
провоолокой  
поверху,  
заасфальтированные участки, предупредительно обозначенные «Частная собственность» и «Только клиенты», и крыльца с ведущими ко входу лесенкам и, спокойно выдвинутыми на принадлежащую городу площадь, их первоначально деревянные стены покрыты алюминиевыми листами или металлическими пластинами с имитацией кирпича. Нежилые помещения из настоящего, потемневшего от времени кирпича служат складами и мастерскими для магазинов на Мэйн-стрит; некоторые из них превратились теперь в забитые досками остовы, где каждое оставленное окно выбито методически действующими правонарушителями, а из других вырываются свет и грохот все еще работающего небольшого производства или ремонтной мастерской. Одно такое здание из покрашенного в тускло-рыжеватый цвет кирпича замазало свои окна с металлическими, поднимающимися

и опускающимися рамами, покрыв их изнутри такой же рыжеватой краской. Широкая дверь гаража опущена, а жестяная вывеска над ней неумело нарисованными от руки буквами гласит: «Механическая мастерская Костелло. Все виды ремонта и работ над остовом». Вывеска заржавела так, что с трудом читается. Чарли стучит в маленькую боковую металлическую дверцу с блестящим новым замком из желтой меди.

После довольно долгой тишины голос изнутри спрашивает:

— Да? Кто там?

— Чехаб, — говорит Чарли. — И водитель.

Он произнес это так тихо, что Ахмад сомневается, услышали ли его, но дверь открывается, и насупленный молодой мужчина отступает в сторону. У Ахмада возникает чувство, что он уже видел этого человека, но тут Чарли грубо, с порожденной страхом отрывистостью, берет его руку выше локтя и подталкивает вперед. Внутри пахнет маслом, пролитым на цемент, и чем-то неожиданным, но Ахмад, который в подростковом возрасте постригал в команде лужайки, узнает этот запах удобрений. Едкий сухой запах вызывает у него

раздражение в носу; тут пахнет также ацетиленовой сваркой и мужскими телами, которым пора вымыться и проветриться на свежем воздухе. Интересно, думает Ахмад, не были ли эти мужчины — двое из них: тот стройный, что помоложе, и более солидный постарше, который оказывается техником, — среди тех четверых в коттедже на Берегу Джерси. Он видел их всего несколько минут в неосвещенной комнате и потом сквозь грязное окно, но в них чувствовалась такая же угрюмая напряженность, как у бегунов на большую дистанцию, тренировавшихся слишком долго. Они не хотят отвечать на вопросы. Но они вынуждены относиться с уважением к поставщику и организатору, стоящему выше их. На Ахмада они смотрят с опаской, словно то, что он скоро станет мучеником, уже превратило его в призрак.

— *Lā ilāha illa Allāh*[56], — чтобы успокоить их, произносит он.

Лишь тот, что помоложе, — хоть он и молодой, но старше Ахмада на несколько лет, — отвечает соответственно:

— *Muhammad rasūlu Allāh*[57], — пробормотав положенную формулу словно что-то непотребное.

Ахмад видит, что никакого человеческого отклика, ни тени сочувствия или юмора нечего и ждать от них — они исполнители, солдаты, пешки. Он распрямляется, стремясь завоевать их хорошее отношение, входя в свою роль.

Следы прошлой жизни этого здания, когда оно было «Механической мастерской Костелло», сохранились в этом замкнутом, многоступенчатом пространстве: над головой — брусья, цепи и блоки для поднятия моторов и колесных валов; станки и комплекты маленьких ящичков, ручки которых почернели от грязных пальцев; доски с крючками, где нарисованы силуэты отсутствующих инструментов; куски проволоки, и металлических полос, и резиновых трубочек, оставшиеся там, где их положила последняя рука по окончании последнего ремонта; в углах, за канистрами с маслом, превращенными в хранилища мусора, горы пустых банок из-под масла, прокладок, тяговых поясов и пустых коробок от авточастей. На середине цементного пола, под единственным ярким светом, стоит грузовик почти такого же размера и формы, как «Превосходный», — в

кабину его тянутся провода, словно трубки, поддерживающие жизнь пациента. Вместо «Форда-трипон-Е-350» это «Джи-эм-си 3500» и не

оранжевый, а весь белый — в том виде, как он вышел с завода. По его боку аккуратно, но не профессионально черными печатными буквами написано: «Системы оконных ставен».

Ахмаду с первого взгляда не нравится грузовик: в нем есть скрытая анонимность, отсутствие принадлежности. Он выглядит трущобным, изрядно побывавшим в употреблении. У съезда на НьюДжерси он часто видел разбитые старые машины шестидесятых и семидесятых годов, раздутые, двуцветные, хромированные и какуюнибудь несчастную семью цветных, сгрудившуюся в ожидании полиции штата, которая приедет к ним на помощь и оттащит их жалкое приобретение. От этого белого, как кость, грузовика пахнет такой бедностью, такой жалкой попыткой шагнуть в ногу с Америкой и влиться в ее поток со скоростью семидесяти миль в час. Каштановый «субару» матери с его залатанной предохранительной решеткой и красной эмалью, источенной за годы пребывания на окисленном воздухе Нью-Джерси, был такой же жалкой попыткой. А вот яркооранжевый «Превосходный» со своими золотыми буквами имел щеголеватый веселый вид, — по словам Чарли, был похож на цирк. Старший, менее высокий из двух механиков, который держится чуть дружелюбнее, жестом дает понять Ахмаду, чтобы тот подошел и заглянул вместе с ним в открытую дверь кабины. Он перемещает руки с кончиками пальцев, вымазанными в масле, на нечто необычное, стоящее между сиденьями, — металлическую коробку размером с коробку для сигар, выкрашенную в уныло-серый цвет военных машин, с двумя кнопками на крышке и изоляционными проводами, тянущимися от коробки в глубь грузовика. Поскольку пространство между сиденьями водителя и пассажира глубокое и до дна его неудобно доставать, коробка стоит не на полу, а на перевернутой пластмассовой корзине для молока и для безопасности прикреплена кабелем ко дну корзины. С одной стороны на детонаторе — а это, должно быть, именно он — находится желтый рычаг, а в центре, в маленьком углублении, куда можно протиснуть большой палец, на расстоянии полдюйма от поверхности находится блестящая красная кнопка.

Цветовая  
примитивная  
кодировка  
для  
военных,  
невежественных парней, которых обучают простейшим операциям,  
указывает на то, что утопленная кнопка предохраняет от случайной  
детонации.

Мужчина объясняет Ахмаду:

— Это аварийный выключатель. Передвинул направо — щелк — приспособление заряжено. Затем нажимаешь на кнопку и держишь ее в таком положении — бум. Сзади находится четыре кило нитрата аммония. В два раза больше того, что было у Маквея. Столько необходимо, чтобы разломать стальную обшивку туннеля. — Его руки с черными кончиками пальцев изображают круг.  
— Туннеля, — глупо повторяет Ахмад: никто ведь до этого не



говорил с ним о туннеле. — Какого туннеля?

— Имени Линкольна, — отвечает мужчина с легким удивлением, но проявив не больше эмоций, чем нажимая на кнопку. — В Голландский не пускают грузовики.

Ахмад

молча

проглатывает

эти

сведения.

Мужчина

поворачивается к Чарли:

— Он знает?

— Теперь знает, — говорит Чарли.

Мужчина улыбается Ахмаду улыбкой, в которой отсутствует часть зубов: он явно становится дружелюбнее. Его руки взлетают, описывая широкий круг.

— Утренний час пик, — поясняет он. — Из Джерси. Правый туннель — единственный открытый для грузовиков. Он самый новый из трех, построен в пятьдесят первом. Самый новый, но не самый крепкий. Более старые лучше построены. В двух третях от начала — там, где туннель поворачивает, — слабое место. Даже если внешний каркас выдержит и не даст хлынуть воде, вентиляция будет уничтожена, и все задохнутся. От дыма, давления. Для тебя — никакой боли, даже минуты паники. Наоборот: радость успеха и теплое приветствие Господа.

На память Ахмаду приходит фамилия, услышанная несколько недель тому назад.

— Вы не мистер Карини?

— Нет, нет, — говорит он. — Нет, нет, нет. Даже и не друг его. Я друг его друга — все мы сражаемся за Господа против Америки.

Молодой механик, ненамного старше Ахмада, услышав слово «Америка», раздражается длинной возмущенной тирадой по-арабски, которую не понимает Ахмад.

Он спрашивает Чарли:

— Что этот сказал?

Чарли передергивает плечами.

— Что всегда.

— Вы уверены, что эта штука сработает?

— Она причинит минимум тонну разрухи. Появится сообщение.

Заголовки по всему миру. А на улицах Дамаска и Карачи люди будут танцевать благодаря тебе, Недоумок.

Старший мужчина без имени добавляет:

— И в Каире тоже. — Он улыбается чарующей улыбкой, показывая квадратные, редкие, окрашенные табаком зубы, и, ударив кулаком в грудь, сообщает Ахмаду: — Египтянин.

— Как и мой отец! — восклицает Ахмад, однако, выясняя, что может их связывать, надумывает лишь спросить: — Вам нравится Мубарак?

Улыбка исчезает.

— Орудие Америки.

Чарли, словно решив включиться в игру, спрашивает:

— А саудовские принцы?

— Орудия.

— А как насчет Муаммара аль-Каддафи?

— Теперь — тоже. Орудие. Очень жаль.

Ахмад обижается на Чарли за то, что тот встрял в разговор между в конце-то концов основными игроками — техником и жертвой, точно, уверившись в его жертвоприношении, теперь его можно и отбросить. Как орудие.

И, утверждая себя, он спрашивает:

— А Осам бен Ладен?

— Великий герой, — отвечает человек с почерневшими от масла пальцами. — Неуловимый. Как Арафат. Лис. — Он улыбается, но он не забыл, зачем они встретились. И он говорит Ахмаду, старательно произнося слова по-английски: — Покажи мне, что ты будешь делать. У юноши по коже пробегает мороз, словно реальность сбросила с себя один из своих неуклюжих покровов. Он преодолевает неприязнь к некрасивому простому грузовику, такому же бросовому, как и он сам. Он протягивает руку к детонатору с вопросительным выражением лица.

Коренастый техник улыбается и заверяет его:

— Все о'кей. Не подсоединено. Показывай же.

Маленький желтый рычажок, похожий на букву «L», казалось, сам коснулся руки Ахмада, а не рука Ахмада коснулась его.

— Я поворачиваю этот рычаг вправо, — он сопротивляется, а потом со всасывающим звуком, словно притянутой магнитом, встает в нужное положение, повернувшись на девяносто девять градусов, — и нажимаю на эту кнопку, вдавливаю ее. — Ахмад невольно закрывает глаза, чувствуя, как она опустилась на полдюйма.

— И держи кнопку, — повторяет его учитель, — пока...

— Буум, — подсказывает Ахмад.

— Да, — признает мужчина, и слово облачком повисает в воздухе.

— Ты очень храбрый, — говорит по-английски почти без акцента тот, что моложе, выше и стройнее из двух чужаков.

— Он — преданный сын ислама, — говорит ему Чарли. — Мы все завидуем ему, верно?

У Ахмада снова возникает раздражение против Чарли: как он может держаться так по-хозяйски, не имея на то права? Этот поступок принадлежит тому, кто будет его совершать. Озабоченность и то, как распоряжается Чарли, вызывают сомнение в абсолютном характере *istishhād*[58] и в восторженном, сопряженном со страхом состоянии *istishhādī*[59].

Возможно, техник чувствует легкое несогласие среди воинов, так как он по-отечески кладет руку на плечо Ахмада, запачкав белую рубашку юноши жирными пальцами, и поясняет остальным:

— Он выбрал хороший путь. Стать героем за дело Аллаха.

Очувтившись снова в веселом оранжевом грузовике, Чарли признается Ахмаду:

— Интересно, как у них работают мозги. Орудия — герой, и ничего между ними. Такое впечатление, что ни у Мубарака, ни у Арафата, ни у саудовцев нет у каждого своей ситуации и каждый не ведет своей сложной игры.

И снова то, что произносит Чарли, звучит для Ахмада слегка фальшиво в его новом, возвышенном и более понятном представлении о себе. Такое сопоставление выглядит цинично.

— Наверное, — вежливо говорит он в противовес, — сам Бог

простодушен и использует простодушных людей, чтобы формировать мир.

— Орудия, — говорит Чарли, безрадостно глядя сквозь ветровое стекло, которое Ахмад протирает каждое утро, но оно все равно становится грязным к концу дня. — Мы все орудия. Господь благословляет безмозглые орудия, верно, Недоумок?

Ахмад начинает в определенном смысле яснее все понимать в промежутках между вспышками ужаса, а потом экзальтации, оканчивающимися нетерпеливым желанием, чтобы все уже было позади. Позади него, чем бы он ни стал. Он существует в близком соседстве с невообразимым. Мир с его застывшими в солнечном свете деталями, крошечные, взаимосвязанные вспышки, зияющие провалы вокруг него, сверкающая чаша деловой пустоты, тогда как в нем — тяжесть тупой черной уверенности. Он не может забыть об ожидающей его трансформации за щелкнувшим затвором фотоаппарата, в то время как его чувства по-прежнему бомбардируют зрелища и звуки, запахи и вкусы. Блеск Рая просачивается в его повседневную жизнь. Все там большое, измеряемое масштабами космоса; в детстве, когда ему было всего несколько лет, засыпая, он вдруг ощущал свою огромность, каждая клеточка казалась целым миром, и его детскому уму это служило доказательством правдивости религии.

Он теперь меньше работает на «Превосходном», и у него образуются передышки, когда он должен читать Коран или изучать брошюры, поступающие из-за океана, составленные и напечатанные для подготовки шахидов — омовения, очищения духа — к своему концу, будь то мужчина или женщина, так как теперь женщинам в их широких черных бурках, под которыми легко скрыть жилеты со взрывчаткой, разрешено в Палестине стать мученицами. Но мозг Ахмада слишком возбужден, чтобы заниматься изучением. Он всем своим существом пребывает в том восторженном состоянии, в каком, наверно, находился Пророк, когда согласился, чтобы Гавриил продиктовал ему божественные суры. Каждая минута жизни Ахмада занята повторением про себя молитвы, которую выбрасываешь из себя, обращаясь уже не к себе, а к Другому, к Существо, которое столь близко тебе, как вена на шее. Более пяти раз в день он находит возможность — чаще всего на пустом паркинге магазина — постелить свой коврик на восток и коснуться лбом земли, всякий раз получая от

цемента успокоительное чувство покорности. Сидящая в нем темная тяжесть, похожая на шлак, скрашивает его представление о мире и украшает каждую веточку и каждый телефонный провод невидимыми прежде драгоценными камнями.

В субботу утром, до открытия магазина, он сидит на ступени погрузочной платформы и наблюдает, как жук трепыхается на спине на цементе стоянки. День — одиннадцатое сентября, все еще лето. Раннее солнце косо освещает неровную светлую поверхность с мягкостью, предвещающей жару предстоящего дня подобно тому, как непроросшее зерно таит в себе обещание цветка. Цемент позволил в своих щелях разрастись сорнякам, высоким сорнякам умирающего сезона с их молочными слюнями и волосатыми листьями, влажными от осенней росы. Небо безоблачно, если не считать клочьев перистых облаков и таящего следа самолета. Его голубизна после недавнего

пребывания в темноте и среди звезд все еще нежная, как голубая пудра. Крошечные черные ножки жука, отбрасывающие резкие тени, удлинённые утренним косым солнцем, трепещут в воздухе, стараясь найти опору, чтобы выпрямиться. Ножки маленького существа яростно извиваются и корчатся, словно жук ищет способ избежать своей судьбы. Ахмад думает: «Интересно, откуда появилось это насекомое? Как оно попало сюда, видимо, не в состоянии воспользоваться своими крылышками?» Борьба продолжается. Как четко очерчена тень его ножек, запечатленная с любовной преданностью фотонами, пролетевшими девятью три миллиона миль именно до этой точки! Ахмад поднимается со своего места на жесткой дощатой ступени и, чувствуя свою огромность, встает как повелитель над насекомым. Однако он избегает дотрагиваться до этого таинственного упавшего комочка жизни. Он может ядовито укусить или, словно миниатюрный посланец Ада, прилепится к пальцу Ахмада и уж больше его не отпустит. Многие парни — например Тайленол — просто раздавили бы ногой это раздражающее существо, но для Ахмада это не выход: возникло бы расширившееся тельце, раздавленные крошечные частицы его и вылившаяся жидкость, а он не хочет видеть этот органический ужас. Он окидывает взглядом пространство вокруг себя в поисках какого-нибудь орудия, чего-то твердого, чем можно ударить по жуку, — например, темной маленькой картонки, не позволяющей развалиться надвое плиточке «Маундс» или скрепляющей двойную

«Чашу арахисового масла Риза», — но он не видит ничего подходящего. «Превосходная домашняя мебель» старается содержать свою стоянку чистой. «Крепыша» американца африканского происхождения, да и самого Ахмада посылают чистить стоянку с зеленым мешком для мусора. Он не видит никакой случайно забытой лопаточки, а потом вдруг вспоминает о водительских правах, лежащих в его бумажнике, — пластмассовом прямоугольнике, где его насупленная, малопривлекательная физиономия окружена данными, необходимыми в штате Нью-Джерси, а рядом — созданное голограммой, не подлежащее подделке изображение Большой государственной печати. С помощью этой карточки он после нескольких осторожных попыток умудряется перевернуть маленькое существо и поставить на ножки. Солнце зажигает разноцветные искорки — пурпурные и зеленые — на его сложенных крылышках. Ахмад возвращается на свое место на ступени, чтобы насладиться результатами своей спасательной операции, своего благого вмешательства в законы природы. «Улетай же отсюда, улетай». Но жук, распрямившись на неровном цементе, взгромоздив блестящее тельце на свои шесть ножек, лишь проползает немного по его длине и застывает. Его усики колыхаются в поисках и тоже застывают. Минут пять Ахмад наблюдает этот извечный процесс. Он возвращает в бумажник свои права с грузом закодированной информации. По бульвару Рейгана, изрыгая грохочущую музыку, проносятся машины и исчезают из виду — шум то нарастает, то снижается. Вылетевший из Ньюарка самолет с грохотом набирает высоту в накаляющемся небе. А жук — вместе со своей микроскопически сокращающейся тенью — стоит, застыв. Он лежал на спине в смертных муках и теперь умер, оставив после себя образ такого масштаба, которого не существует в мире. Ахмад уверен, что в этом происшествии, столь странно увеличенном, есть

что-то сверхъестественное.

V

Министр в плохом настроении, и верная помощница всячески старается ему услужить. Настроения министра действуют на Эрмиону, как волна, поднятая моторным катером, на находящихся поблизости медуз. Во-первых, он — она это знает — терпеть не может, когда его вытаскивают по воскресеньям в кабинет: это нарушает столь ценимые им дни отдыха с миссис Хаффенреффер и всем семейством, которые они проводят либо в Балтиморе, где в конце сезона играет команда «Ориол», либо в Рок-Крик-парке, где они гуляют с детьми, которые носятся по парку, — все, кроме трехгодовалой девочки, которую все еще приходится возить в коляске. Мисс Фогель не может ревновать его к жене и к семье, поскольку они составляют невидимую часть его, столь же невидимую, как те части, что скрыты под синим костюмом и трусами. Но мысленно она иногда сопровождает его, живописуя его более раскованным, не министром, а мужем, не сражающимся напряженно с тенями, возникающими в его загроможденном угловом кабинете. Эрмиона интуитивно чувствует, что теперь, когда влажная летняя жара наконец отступила и широкие листья американских и простых платанов на Молле приобрели благородно-утомленную окраску, министр жаждет быть на воздухе. Она это чувствует по напряжению, надувающему спину его очень темного пиджака. В Америке работающие мужчины раньше обычно носили синие или коричневые костюмы, — папа целую неделю выходил из дома на Плезант-стрит и садился на троллейбус в одном и том же коричневом в полоску костюме с жилетом, — теперь же единственный серьезно воспринимаемый цвет — это черный или темно-синий, почти черный, в знак траура по ушедшим дням дешевой свободы.

Последнее время министра мучили частые и широко освещаемые в прессе провалы в обеспечении безопасности аэропортов. Такое впечатление, словно каждый ничтожный репортер и стремящийся попасть в заголовки газет демократ — член палаты представителей жаждет победоносно положить под замок победоносно размахиваемые ножи, дубинки и заряженные револьверы, благополучно прошедшие сквозь рентгеновские лучи в багаже при пассажире. Они оба —

министр и его помощница — стояли рядом со Службой безопасности, медленно гипнотизируемые бесконечной чередой призрачных внутренностей чемоданов, сияющих искусственным ядовито-зеленым, телесно-персиковым, закатно-красным и полуночно-синим цветом металла. Ключи от автомобиля и от дома, разложенные словно карты на кольцах или маленьких цепочках, или сувенирных вещицах; немигающий пустой взгляд очков для чтения с проволочной оправой, лежащих в футлярах из ткани; молнии, похожие на скелеты миниатюрных змей; пригоршни монет, рассыпанные по брючным карманам; собрания золотых и серебряных украшений; воздушный ряд дырочек в кроссовках и туфлях; маленькие металлические кнопочки и рычажки в будильниках для путешественников; фены, электробритвы, переговорные устройства, миниатюрные камеры — все это излучает темно-синие диатомы под пробегающими бледными катодными лучами. Нет ничего удивительного в том, что смертельное оружие снова и снова проплывает мимо глаз, остекленевших от восьмичасового

разглядывания  
двухмерных  
изображений

упакованного вооружения в поисках зловредной опухоли, выискивания внезапно возникшего абриса смертоносного намерения в океаническом потоке повседневного однообразия американских жизней, выпаренных до крупиц, — всего, что необходимо для нескольких дней пребывания в другом городе или штате в материальном комфорте, являющемся нашей ненормальной нормой всюду и везде. Пара маникюрных ножниц или вязальных спиц — это будет замечено и конфисковано, тогда как четырехдюймовые ножи проходят незаметно, принятые за язычки для обуви, а маленький револьвер, в основном состоящий из твердого пластика, проскальзывает прилепленным к оловянной мисочке для каши, которую — если ее темный вид вызовет сомнение — везут младенцу на предстоящие завтра в Де-Мойне крестины. Инспекция всегда заканчивается — должна заканчиваться — тем, что министр похлопывает плохо оплачиваемых сторожевых псов в форме по плечу и говорит, чтоб они старались: они же защищают демократию.

Он отворачивается в своем черном костюме от залитого светом окна, выходящего на Эллипс и на Молл — эти затоптанные луга, где пасутся овцы-граждане в своих спортивных костюмах, разноцветных

шортах и туфлях для бега, похожих на космические корабли из комиксов тридцатых годов.

— Я вот думаю, — признается министр Эрмионе, — не следует ли вернуть оранжевый цвет тревоги Средне-Атлантическому району.

— Прошу прощения, сэр, — говорит она, — но я разговаривала с сестрой в Нью-Джерси, и я не уверена, знает ли народ, что надо делать, когда поднимается уровень тревоги.

Министр какое-то время это пережевывает своими мощными непослушными мускулами щек, затем заявляет:

— Нет, конечно, но власти знают. Они поднимают свои уровни, и у них есть целый список чрезвычайных мер.

Однако, произнося эти заверения, он чувствует раздражение, — Эрмиона видит это по тому, как сужаются его прекрасные глаза под бесспорно мужскими, но красиво очерченными черными бровями, — от того, какая существует пропасть между ним и мириадами чиновников, эффективных и безразличных, коррумпированных и честных, которые подобно обтрепанным концам нервов то контактируют, то нет с обширной, медлительной, беспечной публикой. Эрмиона беспомощно говорит в утешение:

— Но мне кажется, людям действительно нравится, когда целый правительственный департамент, занимающийся их внутренней безопасностью, предпринимает какие-то шаги.

— Моя беда в том, — в свою очередь, беспомощно выпаливает министр, — что я слишком люблю эту проклятую страну и не могу представить себе, почему кто-то хочет ее разрушить. Что эти люди предлагают взамен? Больше власти Талибану — больше свести на нет женщин, больше взрывать статуи Будды. Муллы в Северной Нигерии говорят людям, чтобы они не разрешали делать детям прививки от полиомиелита, а потом парализованных детей привозят в оздоровительные клиники! Родители, преодолев все местные суеверия, привозят их туда, лишь когда они уже полностью парализованы.

— Они боятся утратить нечто такое, что ценно для них, — произносит Эрмиона с трепыханием, подойдя к новому уровню интимности (а эти уровни неуловимы и устанавливаются в соответствии с правилами приличия, существующими в этой исконно республиканской и христианской администрации). — Столь ценно, что они готовы пожертвовать своими детьми. В нашей стране это тоже

существует. Маргинальные секты, куда обаятельный вождь не дает проникнуть здравому смыслу. Дети умирают, потом родители рыдают в суде и их оправдывают — они сами такие же дети. Это ужасно, что взрослые имеют право дурно обращаться с детьми. Откровенно говоря, я рада, что у меня их нет.

Это что — выступление подсудимого в суде? Жалоба на то, что хоть они и стоят вместе в начале прекрасного воскресного дня в столице величайшей нации на Земле, она — старая дева, а он — женатый мужчина, обязанный согласно обетам своей религии духовно и законно быть с матерью своих детей? А это должны были бы быть ее дети. Работая в национальном правительстве, проводя по двенадцать — четырнадцать часов в день в одной комнате или в соседних комнатах, они составляют такое же единое целое, как если бы были законно женаты. В сравнении с Эрмионой жена едва знает его. Эта мысль приносит Эрмионе такое удовлетворение, что она быстро стирает с лица случайно появившуюся улыбку.

— Черт побери! — взрывается министр: мысль его, следуя своим ходом, набрела на большой вопрос, который привел его в кабинет в день положенного отдыха. — Ненавижу терять ценное приобретение. У нас так мало своих людей в мусульманской общине — в этом одна из наших слабостей, поэтому они и ловят нас со спущенными штанами. У нас нет достаточно людей, говорящих по-арабски, и половина тех, что у нас есть, не думают так, как мы. Странная штука — язык: он делает их почему-то слабоумными. Возьми их болтовню по Интернету: «Небеса разорвутся в клочья ниже Западной реки. И прольется свет». Что — черт побери! — это значит? Извини меня за такой язык, Эрмиона.

Она бормочет, извиняя его и тем самым устанавливая новый уровень интимности.

А он продолжает:

— Проблема в том, что это наше приобретение хитрит с нами, слишком много карт держит в своих руках. Он не следует установленной процедуре. В его воображении происходит великое разоблачение и захват — как в фильмах, и главное действующее лицо, угадай, кто? Он сам. Мы знаем о канале, по которому поступают деньги во Флориду, но коммивояжер исчез. Он и его брат владеют магазином, торгующим уцененной мебелью в Северном Нью-Джерси,

но там никто не отвечает ни по одному телефону и не подходит к двери. Мы знаем про грузовик, но не знаем, где он находится и кто водитель. Есть команда взрывников — мы поймали двоих из четверых, но они молчат, или же переводчик не переводит нам то, что они говорят. Они покрывают друг друга — даже те, кто у нас на содержании, так что собственным рекрутам нельзя больше доверять. Это черт знает какая неразбериха, а в воскресенье утром, знаешь ли, у нас будет труп!

В их родной Пенсильвании — она знает — людям можно

доверять. Доллар там по-прежнему доллар, обед по-прежнему обед, сделка по-прежнему сделка. Роки выглядит, как и должно, боксером, а беспринципные мужчины курят сигары, носят клетчатые костюмы и часто подмигивают. Она и министр далеко отошли от этого края доброй искренности, стоящих в ряд домов с номерами на цветном стекле в окошечке над дверью, — края сыновей углекопов, становящихся звездами-защитниками в футболе, свиных сосисок, плавающих в собственном жиру, и студня из свиных обрезков в кленовом сиропе, — эта еда не претендует на отсутствие смертельно опасного холестерина. Эрмиона жаждет утешить министра, прижаться к нему своим стройным телом, сделав из него припарку, которая снимет боль гнетущей ответственности; ей хочется прижать к себе эту мясистую тушу, натягивающую *de rigueur*[60] черный костюм министра, и покачать на своих крепких бедрах.

Вместо всего этого она спрашивает:

— А где этот магазин?

— В городе под названием Нью-Проспект. Никто никогда туда не ездит.

— Моя сестра там живет.

— Да? Ей следует уехать оттуда. Там полно арабов — так называемых американцев арабского происхождения. Старые фабрики привлекли их, а потом постепенно закрылись. Если дело и дальше так пойдет, Америка ничего не будет производить. Кроме фильмов, которые с каждым годом становятся все бессвязнее. Мы с Грейс — ты ведь знакома с Грейс, верно? — любили смотреть фильмы, все время ходили в кино, пока не появились дети и не пришлось нанимать для них сиделок. Джуди Гарланд, Кирк Дуглас — они выдавали хороший честный товар, каждое их выступление на сто десять процентов. А

теперь только и слышишь про этих недоростков актеров — женщинам больше не нравится, когда их называют актрисами, теперь все актеры, — что они водят машины в пьяном виде, да кто забеременел вне брака. Глядя на них, эти бедные черные девчонки считают, что так здорово дать миру младенца без отца. За исключением Дяди Сэма. Он оплачивает их счета, не получая за это благодарности: они имеют право на социальное обеспечение. Если что-то и не в порядке в нашей стране — а я не говорю, что это так, если сравнить с любой другой, включая Францию и Норвегию, — так это то, что у нас слишком много прав и недостаточно обязанностей. Ничего, когда Арабская Лига завладеет страной, народ узнает, что такое обязанности.

— Совершенно верно, сэр. — «Сэр» было произнесено, чтобы напомнить ему о самом себе, о его обязанностях в данном чрезвычайном положении.

Он услышал ее. И, снова повернувшись к окну, мрачно разглядывает по-воскресному спокойную столицу с Тайдал-Бэсин вдали и гладкой белой шишкой, похожей на обсерваторию без дырки для телескопа, — памятником Джефферсону. Люди винят теперь Джефферсона за то, что он не отпускал рабов и имел детей от одной из своих рабынь, но они забывают об экономике того времени и о том, что Салли Хеммингс была очень светлой. «Бессердечный город, — думает министр, — хитросплетение ускользающей власти, разброс огромных белых зданий словно поле айсбергов, потопивших „Титаник“».

Он поворачивается и говорит своей помощнице:



— Если эта штука в Нью-Джерси взорвется, я больше не буду сидеть в доходных советах директоров. Не буду получать жалованье спикера. Не получу аванса в миллион долларов за мои мемуары. — Это было признание, какое мужчина должен делать только своей жене. Эрмиона в шоке. Он так сблизился с ней и так упал в ее глазах. Она говорит ему не без колкости, пытаясь заставить этого красивого, самоотверженного слугу народа прийти в себя:

— Господин министр, ни один человек не может служить двум хозяевам. Одним таким был Маммон; было бы слишком самонадеянно с моей стороны назвать другого.

Министр понимает намек, моргает удивительно светлыми голубыми глазами и изрекает:

— Благодарение Богу, что ты существуешь, Эрмиона. Конечно же. Забудь про Маммона.

Он усаживается за свой скромный стол и начинает неистово набирать, позвякивая, тройные номера кода на электронной консоли, затем откидывается на спинку своего эргономически правильно созданного кресла и рывкает в свой переговорник.

Эрмиона обычно не звонит по воскресеньям. Она предпочитает это делать по рабочим дням, когда знает, что Джека скорее всего там не будет. У нее никогда не получалось разговора с Джеком, что слегка обижало Бет: казалось, будто Эрмиона унаследовала нелепые лютеранские и антисемитские предрассудки родителей. А кроме того, пришла к выводу Бет, в рабочие дни у ее «большой» сестры появляется оправдание, будто на ее другом телефоне замигал красный свет, когда она считает, что Бет слишком уж разговорилась. Но сегодня она позвонила, когда в церквях еще звенели колокола, и Бет рада была услышать ее голос. Ей хотелось поделиться с сестрой добрыми вестями.

— Эрм, я села на диету и всего за пять дней потеряла двенадцать фунтов!

— Первые фунты легче всего терять, — говорит Эрмиона, всегда занижая все, что делает или говорит Бет. — Вначале ты лишь теряешь воду, которая потом вернется. Настоящее испытание приходит, когда ты видишь разницу и решаешь обожраться на празднестве. Кстати, это не диета Аткинса? Говорят, она опасна. На него собирались подать в суд тысяча людей, потому его внезапная смерть и вызывает подозрение.

— Это всего лишь диета на моркови и сельдерее, — сообщает ей Бет. — Как только мне хочется пожевать, я беру одну из этих миниморковок, которые теперь везде продают. Помнишь, как морковку привозили в Филли с делавэрских ферм на грузовиках — она была связана букетами вместе с грязью и песком? Ох, до чего же было противно, когда я откусывала морковку и песок попадал мне в рот, — хруст даже в голове отдавался! А теперь с этими крошками нет такой опасности: их, должно быть, привозят из Калифорнии и очищают до определенного размера. Единственная беда: если они слишком долго находятся в запечатанном пакете, то становятся скользкими. А с

сельдереем беда в том, что съешь пару стеблей, и во рту образуется клубок ниток. Но я решила не отказываться от него. Бог знает насколько легче есть печенье, но каждый кусок пополняет калории. Я в ужасе прочитала на пакете, что каждая печенина дает сто тридцать

калорий! А напечатано это так мелко, просто дьявольски мелко! То, что Эрмиона до сих пор не прервала разговора, кажется странным: Бет знает, что болтовня о том, как обходиться без еды, может наскучить, но это все, о чем ей приходит в голову поговорить, и то, что она произносит это вслух, удерживает ее на диете, не позволяет отступить, несмотря на полуобморочные состояния и боли в желудке. Ее желудок не понимает, почему она так поступает с ним, почему так его наказывает, он не знает, что многие годы был ее злейшим врагом, лежа у нее под сердцем и взывая, чтоб его наполнили. Кармела не желает больше лежать у нее на коленях — она стала такая нервная и раздражительная.

— А как Джек ко всему этому относится? — спрашивает Эрмиона.

Голос ее звучит ровно и серьезно, она чуть задыхается и говорит торжественно, взвешивая каждое слово. Они бы обе похихикали над этой перспективой появления новой, стройной, презентабельной сестры, как хихикали в своей комнате в доме на Плезант-стрит, радуясь жизни. А Эрмиона, став более серьезной и прилежной в изучении наук, перестала хихикать — она обнаружила, что ей стало труднее быть веселой. «Интересно, — думает Бет, — не в этом ли причина, что она так и не нашла себе мужа: Эрм не умеет заставить мужчину забыть о своих неприятностях. У нее нет ballon[61], как говорила мисс Димитрова».

Бет понижает голос. Джек читает в спальне и, возможно, дочитался до того, что заснул. В Центральной школе снова начались занятия, и он согласился прочесть курс о правах и обязанностях граждан, сказав, что ему нужно больше знать об этих детях, которым он должен давать советы. Он утверждает, что они отдаляются от него. Он утверждает, что стал слишком стар, но это в нем говорит депрессия.

— Он мало об этом говорит, — сообщает она Эрмионе в ответ на ее вопрос. — Мне кажется, он боится сглазить. Но ему не может это не нравиться — я ведь делаю это для него.

Эрм спрашивает, снова все перечеркивая:

— А это хорошая мысль — делать что-то, потому что ты считаешь, этого хочет твой муж? Я просто спрашиваю — я ведь никогда не была замужем.

Бедняга Эрм, должно быть, это у нее всегда на уме.

— Ну, ты... — Бет прикусывает себе язык: она чуть не сказала, что Эрмиона все равно что замужем за этим твердолобым полузащитником, своим начальником, — ты мудрая, как любая женщина. Я ведь соблюдаю диету и для себя тоже. Я чувствую себя намного лучше, хотя спустила всего двенадцать фунтов. Девушки в библиотеке видят разницу — они очень меня поддерживают, хотя я не представляю себе в их возрасте, что я могла бы растолстеть. Я сказала, что хотела бы помочь им расставлять книги, вместо того чтобы сидеть на моем толстом заду за столом и открывать «Гугл» для детей, слишком ленивых, чтобы самим его открыть.

— А как Джеку нравятся изменения в его диете?

— Ну, я стараюсь ничего не менять для него, по-прежнему даю ему мясо и картофель. Но он уверяет, что предпочел бы есть простые салаты вместе со мной. Чем старше он становится, говорит он, тем омерзительнее ему еда.

— Это в нем сидит еврей, — отрезает Эрмиона.  
— Ой, не думаю, — несколько высокомерно произносит Бет.  
После этого Эрмиона умолкает, так что Бет думает, не прервалась ли связь. Террористы взрывают нефтяные трубы и электростанции в Ираке — на свете не осталось ничего, что было бы в полной безопасности.  
— Как там у вас погода? — спрашивает Бет.  
— Все еще жарко, когда выходишь на улицу. Сентябрь в нашем округе еще может быть душным. На деревьях не появляются все оттенки красок, какие мы видим в дендрарии. Лучшее время года здесь — весна, когда вишня цветет.  
— А я, — говорит Бет, и в это время ее изголодавшийся желудок так дает о себе знать, что она хватается за спинку кухонного стула, чтобы не упасть, — почувствовала сегодня в воздухе осень. Небо такое абсолютно чистое... — «Как было одиннадцатого сентября», — хотела она сказать, но умолкла, подумав, что может быть нетактично упоминать помощнице министра внутренней безопасности об этом

сказочно голубом небе, ставшем мифом, божественной иронией, частью американской легенды, подобно красному свету, излучаемому ракетами.

Должно быть, у них родилась одна и та же мысль, так как Эрмиона спросила:

— Помнишь, ты упоминала о молодом американце арабского происхождения, к которому проявил интерес Джек и который, вместо того чтобы последовать совету Джека и поступить в колледж, получил права водить грузовик, потому что так велел ему имам из его мечети?  
— Смутно помню. Джек уже какое-то время не вспоминал о нем.  
— А Джек тут? — спрашивает Эрмиона. — Я не могла бы с ним поговорить?  
— С Джеком? — Она никогда прежде не выражала желания разговаривать с Джеком.  
— Да, с твоим мужем. Пожалуйста, Бетти. Это может быть важно. Значит, по-прежнему «Бетти».  
— Как я уже говорила, он, возможно, спит. Мы ходили прогуляться, чтобы подвигаться. Движение столь же необходимо, как и диета. Это подтягивает тело.  
— Пожалуйста, походи посмотри.  
— Не спит ли он? Может, я передам ему это потом? Если он сейчас спит?  
— Не думаю. Я предпочла бы поговорить с ним сама. А мы с тобой поболтаем на неделе, когда ты смотришь свой сериал.  
— Я тоже это бросила: для меня это слишком связано с едой. И потом все действующие лица путаются у меня в голове. Пойду посмотрю, спит ли он. — Она озадачена и усмирена.  
— Бетти, если он спит, не могла бы ты разбудить его?  
— Я бы не хотела этого делать. Он так плохо спит ночью.  
— Мне необходимо спросить его кое о чем немедленно, дорогая. Это не может ждать. Извини. Только один-единственный раз. Вечно ведет себя, как старшая сестра, которая знает больше Бет и говорит ей, что надо делать. В очередной раз прочитав ее мысли даже по телефону, Эрмиона мягко предостерегает Бет голосом, похожим на голос их матери:  
— А теперь, что бы ни случилось, не бросай диеты.

В воскресенье Ахмад боится, что не сможет заснуть в свою последнюю в жизни ночь. Комната, в которой он находится, незнакома ему. Здесь, заверил его шейх Рашид, стоя с ним раньше в этой комнате, никто не сможет его найти.

— А кто меня станет искать? — спрашивает Ахмад.

Его маленький худенький ментор — Ахмаду кажется странным, когда они стоят сейчас так близко друг к другу, что он стал настолько выше своего учителя, который во время занятий Кораном казался выше благодаря стулу с высокой спинкой, расшитой серебряными нитями, — быстро, категорично пожал плечами. Этим вечером вместо обычного затканного переливающегося кафтана на нем был серый, западного стиля костюм, словно он оделся для деловой поездки к неверным. Чем иначе объяснить то, что он сбрил бороду, свою тщательно подстриженную бороду с вкраплениями седины? Ахмад увидел, что она скрывала ряд маленьких рубцов, оставшихся на его восково-белой коже от какой-то болезни, искорененной на Западе, но подхваченной им в детском возрасте в Йемене. Эти шрамы выявили нечто неприятное в его лиловых губах — губах недоброго мужчины, что не было заметно, когда они двигались так быстро, так обольстительно в окружении волос. На голове шейха не было тюрбана или его кружевной белой 'amāta[62] — отступающая линия волос ничем не была прикрыта.

Усохший в глазах Ахмада, он спросил:

— Твоя мать не станет тебя искать и не поднимет полицию?

— В конце недели она дежурит ночью. Я оставил ей записку, что ночью у приятеля. Она может предположить, что у девушки. Она все время ко мне пристаёт, чтобы я завел подружку.

— Ты проведешь ночь с другом, который окажется куда более верным, чем любая омерзительная sharmoota. С вечным, неподражаемым Кораном.

В этой узкой, почти голой комнате на ночном столике лежал экземпляр Корана в мягкой розовой коже на английском и арабском языках en face[63]. Это была единственная новая и дорогая вещь в комнате — конспиративной, надежной комнате, достаточно близкой к центру Нью-Проспекта, так как из ее единственного окна можно было увидеть шпиль на мансарде Городского совета. Само здание, крытое разноцветной, похожей на рыбу чешую дранкой, возвышалось над

менее высокими домами, словно эдакий сказочный дракон, застывший в момент выброса из моря. Вечернее небо за ним было исполосовано окрашенными садящимся солнцем ярко-розовыми облаками. Само солнце, его отраженный оранжевый свет, застыло на викторианских пластинках стекла на шпиле — окошках внутренней винтовой лестницы, закрытой десятилетия назад для туристов. Всмотриваясь сквозь свое окно, сквозь тонкие старые стекла, грязные, в разводах и мелких пузырьках, следствиях давнего производства, Ахмад увидел, как умирающий солнечный свет словно разлился по самому высокому углу одного из прямолинейных стеклянных пополнений города. На шпиле мансарды Городского совета установлены часы, и Ахмад опасался, что их звон не даст ему спать всю ночь, отчего он станет менее эффективным шахидом. Но их механическая музыка — короткая музыкальная фраза каждые четверть часа (последняя верхняя нота звучит, создавая представление о вопросительно поднятой брови) и

каждую четвертую четверть — полная фраза, предшествующая грустному отсчету часа, — на самом деле убаюкивает, успокаивает, убеждая — когда шейх наконец оставляет его одного, — что это действительно надежная комната.

Предшествующие обитатели оставили в маленькой комнате несколько следов своего пребывания. Царапины на плинтусах, два или три следа от сигарет на подоконниках и на крышке бюро, блеск на дверной ручке и замочной скважине от многократного использования, легкий животный запах на колючем синем одеяле. Комната монашески чиста, куда более чиста, чем комната Ахмада в квартире матери, где все еще можно найти и его несправедное имущество: электронные игрушки с выработанными батарейками, старые спортивные и автомобильные журналы, одежду, указывавшую в своей строгости и уютности на его юношеское тщеславие. За свои восемнадцать лет Ахмад собрал достаточно исторических свидетельств, которые, он полагает, представят большой интерес для средств массовой информации: наклеенные на картон фотографии детей, щурящихся от майского солнца на ступенях особняка, где помещалась начальная школа имени Томаса Алва Эдисона, и темный взгляд и не улыбающийся рот Ахмада среди других лиц, в большинстве черных и нескольких белых, детей-тружеников, сбитых в кучу на ниве превращения в лояльных и грамотных американцев; фотографии команды бегунов, на

которой Ахмад Маллой уже старше и немного улыбается; финальные ленточки, быстро выцветшие из-за дешевой краски; фетровый вымпел «Метов» из поездки на автобусе в девятом классе на игру на стадион «Ши»; каллиграфически красиво написанный список учеников класса Корана до того, как он сократился до одного; его водительские права III класса; фотография отца с услужливой улыбкой чужестранца, тоненькими усиками, которые наверняка казались старомодными даже в 1986 году, и с блестящими, разделенными срединным пробором волосами, гладкозачесанными назад, тогда как Ахмад свои волосы, такие же толстые и густые, гордо зачесывал с помощью мусса вверх. Лицо отца, которое появится на телевидении, по общепринятому представлению красивее лица сына, — правда, немного темнее. Его мать станут, подобно жертвам наводнений и ураганов, которые показывают по телевидению, много интервьюировать — сначала она будет говорить бессвязно, в шоке и слезах, а потом — спокойнее, вспоминая его со скорбью. Ее портрет появится в печати; она станет на какое-то время знаменитостью. Возможно, будет пик в продаже ее картин.

Ахмад рад, что в этой надежной комнате нет никаких следов его пребывания. Он чувствует, что здесь он разряжается перед предстоящим резким подъемом сил, взрывом быстрым и мощным, как мускулистый белый конь Барак.

Шейху Рашиду, казалось, не хотелось уходить. Ему тоже — побритому и одетому в западный костюм — предстоял отъезд. Он суетился в маленькой комнатке, с трудом дергал, открывая, непослушные ящики бюро и проверял, есть ли в ванной губки и полотенца для ритуальных омовений Ахмада. Он деловито указал на молитвенный коврик на полу, где вплетено mihrab — указание на Восток, на Мекку, и повторил, что положил в маленький холодильник апельсин, и простой йогурт, и хлеб для завтрака мальчику, — особый хлеб khibz el-Abbās, хлеб Аббаса, какой пекут

шииты в Ливане в честь праздника Ашура.

— Он с медом, — пояснил шейх, — кунжутом и анисовыми зернышками. Важно, чтобы ты был в силе завтра утром.

— Я, возможно, не буду голоден.

— Заставь себя поесть. Ты по-прежнему крепко веришь?

— По-моему, да, учитель.

— Совершив этот великолепный поступок, ты станешь выше меня. Ты поскачешь впереди меня под грохот золотых барабанов, которые держат в Раю. — Его красивые серые глаза с длинными ресницами, казалось, наполнились влагой и ослабли — он перевел их вниз. — У тебя есть часы?

— Да.

Часы «Таймекс», которые он купил на свое первое жалованье, такие же грубые, как у матери. У них были большие цифры и фосфоресцирующие стрелки, чтобы смотреть ночью, когда в кабине грузовика ничего не разглядеть, а вне ее все видно.

— Они точные?

— По-моему, да.

В комнате есть простой стул — ножки его скреплены проволокой, поскольку перекладыны больше не держатся на клею. Ахмад подумал, что было бы невежливо занять единственный в комнате стул, и разрешил себе — в предвкушении вызывающего экзальтацию положения, какое он займет, — лечь на кровать и закинуть за голову руки, желая показать, что не собирается спать, хотя на самом деле вдруг почувствовал усталость, словно в этой безвкусной комнате где-то была протечка усыпляющего газа. Ему было неприятно чувствовать

на себе озабоченный взгляд шейха, и теперь он уже хотел, чтобы тот поскорее ушел. Ахмад жаждал посмаковать свое одиночество в этой пустой, надежной комнате наедине с Богом. То, как имам стоял и с любопытством смотрел вниз на него, напомнило Ахмаду, как он сам стоял над червем и жуком. Шейх Рашид стоял словно зачарованный им — зачарованный чем-то отталкивающим и в то же время священным.

— Милый мальчик, я не принудил тебя, ведь нет?

— Что вы, нет, учитель. Как вы могли меня принудить?

— Я хочу сказать: ты вызвался добровольно, от глубины твоей веры?

— Да, и от ненависти к тем, кто высмеивает и игнорирует Господа.

— Отлично. У тебя нет такого чувства, что старшие манипулируют тобой?

Это была удивительная мысль, — правда, Джорилин тоже выразила ее.

— Конечно, нет. Я чувствую, что меня мудро направляют.

— И твой путь на завтра ясен?

— Да. Я встречаюсь с Чарли в половине восьмого в «Превосходной домашней мебели», и мы вместе едем к загруженному грузовику. Он проедет со мной часть пути до туннеля. А затем я буду предоставлен сам себе.

Что-то уродливое, легкая судорога исказила выбритое лицо шейха. Без бороды и богато расшитого кафтана он выглядел на редкость заурядным — худенький, с легкой дрожью, слегка усохший и уже немолодой. Лежа на грубом синем одеяле, Ахмад чувствовал свое

превосходство по молодости, росту, силе и страху, какой он внушал учителю, похожему на тот, какой люди испытывают перед трупом. Шейх Рашид нерешительно спросил:

— А если Чарли по какому-то непредвиденному обстоятельству не сможет быть там, ты сумеешь выполнить план? Сумеешь сам найти белый грузовик?

— Да. Я знаю этот проулок. Но почему Чарли может не оказаться там?

— Ахмад, я уверен, что он там будет. Он храбрый солдат в борьбе за наше дело — дело истинного Бога, а Бог никогда не бросает тех, кто ведет войну за Него. Allāhu akbar! — Его слова слились с музыкальными фразами, прозвучавшими вдали на часах Городского совета. Теперь все казалось таким далеким, угасающей вибрацией. А шейх продолжал: — На войне, если рядом с тобой падает солдат, даже если это твой лучший друг, даже если он научил тебя всему, что требуется солдату, ты бросишься в укрытие или пойдешь дальше, на пушки противника?

— Пойду дальше.

— Правильно. Хорошо. — Шейх Рашид с любовью, однако не без опаски посмотрел вниз, на лежавшего на кровати парня. — Я должен теперь оставить тебя, мой бесценный ученик Ахмад. Ты хорошо выучился.

— Спасибо за то, что вы так говорите.

— Я верю: ничто в наших занятиях не побудило тебя усомниться в идеальной и вечной природе Книги Книг.

— Безусловно, нет, сэ. Ничто.

Хотя Ахмад порою чувствовал во время занятий, что его учителя преодолевают сомнения, сейчас не время было спрашивать об этом —

слишком поздно: все мы должны встретить смерть с той верой, какая зародилась в нас и залегла на случай Происшествия. Была ли его собственная вера, иногда спрашивал он себя, продуктом тщеславия юности, средством выделиться среди всех прочих обреченных — Джорилин и Тайленола, и остальных потерянных, уже мертвых, в Центральной школе?

Шейх спешил и был взволнован, однако никак не мог расстаться со своим учеником без последнего наставления.

— У тебя есть напечатанная инструкция для последнего омовения, перед тем как...

— Да, — сказал Ахмад, когда старший мужчина осекся.

— Но самое главное, — настоятельно произнес шейх Рашид, — это Священный Коран. Если дух твой ослабеет за предстоящую долгую ночь, открой его и дай единому Богу поговорить с тобой через своего последнего идеального пророка. Неверные поражаются силе ислама — она вытекает из голоса Мохаммеда, мужественного голоса, голоса пустыни и рынка, мужчины среди нас, который знал земную жизнь во всех ее проявлениях и, однако же, прислушивался к потустороннему голосу и следовал тому, что диктовал голос, хотя многие в Мекке скоры были высмеивать его и поносить его.

— Учитель, я не ослабну. — В тоне Ахмада звучало нетерпение.

Когда тот человек наконец ушел и дверь была заперта на цепочку, юноша разделся до белья и совершил омовения в крошечной ванной, где раковина упиралась в плечо сидящего на толчке. В раковине длинное коричневое пятно указывало на то, что тут годами из крана

капала ржавая вода.

Ахмад приставляет единственный в комнате стул к единственному в комнате столу — ночному столику из лакированного клена, испещренному выемками пепельного цвета от сигарет, которым дали сгореть до его верхнего скошенного края. Благоговейно Ахмад открывает подаренный Коран. Его тонкие, с золотым обрезом страницы открываются на пятидесятой суре «Каф». Он читает на левой стороне, где напечатан перевод на английский, отчетливо звучащее эхо того, что сказал шейх Рашид:

«Удивились они, что пришел к ним увещатель из них, и сказали неверные: „Это дело дивное!

Разве когда мы умрем и станем прахом?.. Это возврат далекий?“»

Слова обращены к нему, однако смысл недостаточно понятен. Он читает арабский текст на противоположной странице и понимает, что неверные, — как странно, что они, дьяволы, высказываются в Священном Коране, — сомневаются в возрождении тела, о чем проповедует Пророк. Ахмад тоже с трудом представляет себе восстановление своего тела после того, как он успешно покинет его; вместо этого он видит свой дух, это крошечное нечто, сидящее в нем и, твердя «Я... Я...», вступающее тотчас в другую жизнь, словно толкнув качающуюся дверь. В этом он похож на неверных: «Bal kadhhabū bi 'l-haqqi lammā jā'ahum fa-hum fī amrin maḡī». «Сочли они, — читает он по-английски на противоположной странице, — ложью истину, когда она пришла к ним; и они — в состоянии смятенном».

Однако Господь, изъясняясь в своей великолепной манере — в первом лице множественного числа, разгоняет их смятение: «Разве не смотрели они на небо над ними, как Мы воздвигли его и разукрасили, и нет в нем расщелин?»[64]

Ахмад знает, что небо над Нью-Проспектом затянуто выхлопным дымом и летней влажностью, оно висит расплывшейся кляксой цвета сепии над островерхими крышами. Но Господь обещает, что над всем этим существует лучшее небо, небо безупречное, со сверкающими голубыми звездами. И, продолжая употреблять «Мы»: «И Землю Мы распростирали, и устроили на ней прочно стоящие горы, и произрастили на ней всякие прекрасные растения для созерцания и напоминания всякому рабу, обращающемуся к Богу».

Да, Ахмад станет слугой Господа. Завтра. Этот день уже почти настал. Он в нескольких дюймах от его глаз. Господь описывает Свой дождь, который пробуждает к жизни «сады и зерна посевов для урожая, и пальмы высокие — у них плоды рядами — в удел рабам, и оживили этим мертвую страну. Таков исход». Мертвая страна. Ведь об этой стране речь.

Столь же просто и непостижимо, как первое творение, произойдет и второе. «Разве же Мы изнемогли в первом творении? Да — они в сомнении о новом творении.

Мы сотворили уже человека, и Мы знаем, что нашептывает ему душа, и Мы ближе к нему, чем вена на его шее».

Этот стих всегда имел для Ахмада особое, личное значение; он закрыл Коран в мягкой кожаной обложке красного неровного цвета,

как прожилки лепестков розы, уверенный в том, что Аллах присутствует в этой маленькой странной комнате, что Он любит его и подслушивает шепот его души, ее нечленораздельное смятение. Он



чувствует биение вены на шее и слышит шум транспорта в Нью-Проспекте, то замирающий, то грохочущий (мотоциклы, разъеденные коррозией глушители) вокруг большого озера разбитых камней в нескольких кварталах от Ахмада, и слышит, как он затихает, когда часы на Городском совете проббили одиннадцать. Дождаясь, когда прозвонит четверть часа, он засыпает, хотя намеревался не спать всю ночь, — засыпает, то и дело вздрагивая от высокой, самоотверженной радости.

Утро понедельника. Сон вдруг слетает с него. Снова ему кажется, он слышит замирающий вдали крик. Ком боли в желудке озадачивает его, пока через несколько секунд он не вспоминает, какой сегодня день и какая ему предстоит миссия. Он еще жив. Сегодня — день дальнего путешествия.

Он смотрит на свои часы, тщательно положенные на столик рядом с Кораном. Без двадцати семь. Слышен шум транспорта, в чей ничего не подозревающий поток он вольется и прервет его. Все Восточное побережье по милости Божией будет парализовано. Он принимает душ в кабинке с порванной пластиковой занавеской. Он ждет, чтобы вода нагрелась, но когда она не нагревается, заставляет себя встать под холодную струю. Он бреется, хотя знает, что идут дебаты по поводу того, каким Бог предпочитает видеть людей, когда встречается с ними. Чехабы предпочитали, чтобы он брился, так как бородатые мусульмане, даже юные, отпугивают покупателей — кафров.

Мохаммед Атта был бритым, как и большинство из восемнадцати других вдохновенных мучеников. Годовщина их деяния была в субботу, и враг наверняка ослабил свою оборону, подобно людям при слоне перед нападением птиц. Ахмад принес с собой гимнастическую сумку и вынимает из нее чистое белье и носки, а также свежевystиранную белую рубашку, аккуратно натянутую на несколько кусков картона.

Он молится на коврике, абстрактное изображение михраба указывает ему в отвлекающей внимание географии Нью-Проспекта направление на священную черную Кабу в Мекке. Коснувшись лбом

тканой поверхности коврика, он чувствует тот же слабый человеческий запах, что и на синем одеяле. Он присоединился к череде тех, кто с какими-то скрытыми целями находился в этой комнате до него, принимал холодный душ и под звон часов курил сигареты. Ахмад съедает, хотя аппетит его растворился в болях в животе, шесть апельсиновых долек, половину пластикового стаканчика йогурта и довольно большую порцию хлеба Аббаса, хотя сладкий мед и анисовые зерна не кажутся ему такими уж вкусными сейчас, когда так близок его великий поступок, который давит на него и рвется из его горла боевым кличем. Он кладет недоеденную часть клейкого праздничного хлеба вместе со стаканчиком йогурта и половиной апельсина в холодильник на самый большой кусок картона от рубашки как бы для будущего обитателя, но так, чтобы этим не воспользовались муравьи и тараканы. Ум его словно затянуло туманом подобно тому, что предшествует событию, описанному в суре под названием «Поражающее»: «В тот день, когда люди будут, как разогнанные мошки, и будут горы, как расщипанная шерсть»[65].

В семь пятнадцать он закрывает за собой дверь, оставив в надежной комнате Коран и инструкции по омовениям для другого шахида, но взяв с собой гимнастическую сумку с грязными трусами,

носками и белой рубашкой. Он проходит по темному коридору и выходит на пустынную боковую улицу, где ночью пролился небольшой дождь. Ориентируясь по шпилью Городского совета, Ахмад идет на север, к бульвару Рейгана и «Превосходной домашней мебели». В первый же бак для мусора, который попадает ему на глаза, он сует свою гимнастическую сумку.

Небо не кристально чистое, а влажное и серое, низкое изборожденное небо, сочащееся вниз шлейфами пушистого тумана. Прошлая ночь покрыла блеском асфальт улиц, их лазы, капающую с крыш воду и пятна дегтя. Влага застыла на все еще зеленых листьях кустов, борющихся за выживание у входных лестниц и портиков, а также на алюминиевых обшивках, выцветших под солнцем. Большинство тесно стоящих домов, мимо которых он идет, еще не совсем проснулись, хотя судя по слабо светящимся окнам сзади, где находятся кухни, звону тарелок и кастрюль, а также шоу «Сегодня» и «С добрым утром, Америка», люди едят завтрак и понедельник, как многие другие дни в Америке, начался.

Невидимый пес в доме лает на тень и звук проходящего мимо Ахмада. Рыжая одноглазая кошка — другой глаз у нее слепой, как белый камушек, и кажется безумным — жметя к входной сетчатой двери, ожидая, когда ее впустят; она выгибает спину и выбрасывает золотую искорку из прищуренного хорошего глаза, почувствовав что-то странное в этом проходящем мимо молодом незнакомце. Воздух покалывает лицо Ахмада, но дождь моросит не настолько, чтобы намочить его рубашку. Накрахмаленный хлопок похрустывает на его плечах, черные узкие джинсы облегают длинные ноги, для которых полно места ниже пояса. Кроссовки проглатывают пространство, отделяющее его от судьбы; на гладком тротуаре тщательно проработанный рельеф подошв оставляет влажные отпечатки. «Что даст тебе знать, что такое поражающее?» — вспоминает он. И ответ: «Опять пылающий!» До «Превосходного» осталось полмили, шесть кварталов домов, и одно небольшое предприятие — «Булочки Данкина» — открыто, и с бакалеи на углу сняты решетки, а ломбард и страховое агентство закрыты. На бульваре Рейгана уже грохочет транспорт, и появились школьные автобусы — их красные огоньки злобно мигают, быстро переключаясь, когда они забирают ожидающиеся группы детей с яркими рюкзаками. А Ахмад уже не вернется в школу. Центральная школа кажется теперь — при всем своем грозном шуме и нечестивых насмешках — игрушечным миниатюрным замком, местом, безопасным для детей, где не надо принимать решений.

Он ждет, когда на светофоре появится шагающий человечек, чтобы перейти через бульвар. Бетон и ровное покрытие в нефтяных пятнах более знакомо ему как поверхность, по которой едут колеса его грузовика, чем это пустынное, загадочно запятнанное пространство под ногами. Он сворачивает направо и подходит к месту назначения с востока, мимо похоронного бюро с широким портиком и белыми тентами — «Ангер и сын», какая странная елейная фамилия, — потом мимо шинного магазина, где раньше была бензоколонка (насосы выдрали, а площадку оставили). Ахмад останавливается на краю тротуара Тринадцатой улицы и смотрит на стоянку «Превосходной». Оранжевого грузовика там нет. «Сааба» Чарли тоже. Там стоят две незнакомые машины — серая и черная, небрежно, неэкономно

запаркованные по диагонали среди признаков таинственной

деятельности: разбросанных бумажных стаканчиков из-под кофе и закрываемых на зажимы картонок, которые были брошены на растрескавшийся бетон и затем расплющены колесами приехавших и уезжавших машин, как если бы тут произошло убийство на дороге. Наверху солнце прожигает облака и посылает на землю слабый свет, словно от угасающего фонарика. Пока Ахмада не увидели — хотя вроде бы никто не сидит в незнакомых, нахально появившихся тут машинах, — он ныряет направо, вверх по Тринадцатой улице и пересекает ее, лишь когда его скрывают кусты и высокие сорняки, выросшие за проржавевшим «дампстером» на участке, не принадлежащем «Превосходной», а находящемся позади давно упокоившегося ресторанчика в виде старомодного трамвая. Эта забитая досками реликвия стоит на углу узкой улочки Фрэнк-Хейгтеррейс, где в сдвоенных домиках царит по рабочим дням тишина, пока не оканчиваются занятия в школе.

Ахмад бросает взгляд на свои часы: семь двадцать семь. Он решает подождать Чарли до без четверти восемь, хотя в расписании значится семь тридцать. Но по мере того как проходят минуты, он понимает: что-то пошло не так и Чарли не появится. Эта стоянка отравлена. Это пустое пространство за магазином всегда вызывало у него такое чувство, что за ним наблюдают сверху, только теперь наблюдает не Бог, он не чувствует дыхания Бога. Это он, Ахмад, наблюдает, затаив дыхание.

Из задней двери магазина вдруг выходит мужчина в костюме на погрузочную платформу, некоторые из толстых досок которой все еще выделяют сосновый сок, и спускается по ступеням, где Ахмад часто сживал. Вот тут они с Джорилин вышли вместе в тот вечер и расстались навсегда. Мужчина смело подходит к своей машине и говорит с кем-то, сидящим на переднем сиденье, по радио или мобильнику. Ему, подобно полицейскому, не важно, кто его слышит, но из-за несущегося со свистом транспорта его голос доносится до Ахмада как щебетание птицы. На секунду белое лицо незнакомца поворачивается в направлении Ахмада — сытое, но не счастливое лицо, лицо агента, работающего на правительство неверных, на власти, которые чувствуют, что власть ускользает от них, — но он не видит юноши-араба. Смотреть тут не на что — лишь «дампстер» ржавеет среди сорняков.

Сердце Ахмада так же бешено бьется, как в тот вечер с Джорилин. Теперь он жалеет, что зря потратил время, не воспользовался ею — ведь ей было заплачено. Но это было бы дурно — использовать ее падение, хотя она считала свое положение вовсе не таким уж плохим и лишь временным. Шейх Рашид не одобрил бы. Прошлым вечером шейх казался взволнованным, что-то, чем он не захотел поделиться, угнетало его, в чем-то он сомневался. Ахмад всегда чувствовал, когда учитель сомневается, поскольку для него важно было, чтобы никаких сомнений не существовало. И сейчас страх овладел Ахмадом. Он чувствует, как у него распухло лицо. Проклятие наложено на это мирное место, которое было его самым любимым на свете, на этот безводный оазис.

Он проходит по тихой Хейг-террейс два квартала — все здешние дети в школе, а их родители на работе — и затем сворачивает назад, к

бульвару Рейгана, в направлении арабского района, где спрятан белый грузовик. Что-то перепутали, и Чарли, должно быть, ждет его там. Ахмад спешит и слегка потеет под пробивающимся сквозь дымку солнцем. Проходит магазины на бульваре Рейгана, которые торгуют существенными вещами — шинами, коврами, обоями и красками, крупными кухонными приспособлениями. Затем конторы по торговле автомобилями с огромными участками, где новые автомобили стоят тесно, как в военном строю, машины занимают целый акр, сверкая сейчас, когда проглянуло солнце, ветровыми стеклами и хромом, отражая свет, словно на ржаном поле в ветреный день, и зажигая искры, отскакивающие от цепочки блестящих треугольников и завернувшихся спиралью медленно вращающихся вымпелов. Нововведением для привлечения внимания, созданием новейшей технологии являются до ужаса кажущиеся живыми пластиковые трубки, которые надуваются снизу воздухом и начинают махать как бы руками и качаться взад-вперед словно в муке, в бесконечном призывном волнении, умоляя прохожего остановиться и купить автомобиль или — если такая штука поставлена возле «Я взлетаю» — горку блинов. Ахмаду, единственному пешеходу, идущему по этому тротуару бульвара Рейгана, попадает такой гигант из трубок в два раза выше его самого, истерически жестикулирующий зеленый джинн с вытаращенными глазами и застывшей улыбкой. Одиноким пешеход, проходя с опаской мимо, чувствует на своем лице и на щиколотках

дыхание горячего воздуха, который позволяет этому назойливому страдальцу, ослабившемуся монстру выдавать себя за живого. «Бог дает тебе жизнь, — подумал Ахмад, — потом подводит к смерти». На следующем перекрестке он пересекает бульвар. Он шагает по Шестнадцатой улице к Мэйн-стрит по черному в основном району, похожему на тот, по какому он провожал домой Джорилин после того, как слушал ее пение в церкви. Как она широко открывала рот, показывая его молочно-розовое нутро. Тогда на втором этаже, среди всех этих стоящих рядами кроватей, ему, возможно, следовало дать себя пососать, как она предлагала. «Меньше возни», — сказала она. Теперь все девчонки, а не только проститутки, учатся этому; в школе вечно были об этом разговоры — какие девчонки готовы были сосать и какие любили глотать. «Отделитесь от женщин и не подходите к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, войдите в них, как повелел Господь. Истинно Господь любит тех, кто обращается к нему, и любит тех, кто стремится быть чистым».

Ахмад идет, одетый в черно-белое, быстро разрезая воздух, подпрыгивая как истинный американец, и видит, какие тут жалкие улицы, сколько выброшено готовой еды и ломаных пластмассовых игрушек, и какие непокрашенные ступени и портики, еще темные от утренней сырости, и растрескавшиеся и неотремонтированные оконные рамы. У края тротуаров стоят американские машины прошлого века, размером куда больше, чем требуется, и теперь разваливающиеся, с треснувшими задними фарами, без колпаков на колесах и с лопнувшими шинами. Из задних комнат доносятся женские голоса с безжалостным сетованием на то, что дети родились нежеланные и заброшенные, теперь собираются вокруг единственных дружелюбных голосов, звучащих из телевизора. Zanj с Карибских островов или Кейп-Вердинс сажают цветы и красят портики, и черпают надежду и энергию из того, что находятся в Америке, а те, кто

поколение за поколением родились здесь, пребывают в грязи и лени в знак протеста — протеста рабов, ведущего к деградации, к отказу от предписания всех религий блюсти чистоту. Ахмад чист. Холодный душ, который он принял утром, остался второю кожей под его одеждой, как предвкушение великого очищения, к встрече с которым он спешит. На его часах — без десяти восемь.

Он быстро идет, но не бежит. Он не должен привлекать внимание, должен проскользнуть по городу невидимкой. Позже появятся заголовки, сообщения Си-эн-эн, которые преисполнят ликованием Ближний Восток, заставят тиранов содрогнуться в их роскошных кабинетах в Вашингтоне. А теперь дрожит он, еще не выполнив своей тайной миссии, своей задачи. Он вспоминает, как участвовал в бегах, как стоял, согнувшись, тряся голыми руками, чтобы расслабить их, в ожидании выстрела из стартового пистолета, после чего кучка мальчишек, грозно стуча ногами, устремлялась вперед по старой гаревой дорожке Центральной школы, и пока тело не брало над ним верх, а мозг не растворялся в адреналине, он нервничал куда больше, чем сейчас, потому что сейчас он действует, находясь в руке Божией, подчиняясь Его всеобъемлющей воле. У Ахмада в беге лучшим временем было 4 и 48,6 минуты за милю на смешанной дорожке, зеленой с красными разделительными линиями, в районной школе в Беллвилле. Он тогда пришел третьим, и его легкие потом еще страдали от пламени в финальном рывке на последних ста ярдах: он обогнал двух мальчиков, но двое других были недостижимы для его ног — они расплывались впереди как мираж.

Через пять кварталов Шестнадцатая улица выходит на УэстМэйн-стрит. Пожилые мусульмане толпятся тут подобно мягким статуям в своих темных костюмах, а некоторые — в грязных галлабиях. Ахмад находит витрины «Бодрячков» и «Аль-Акса — Сходных цен», а затем и проулок позади них, по которому они с Чарли шли к бывшей «Механической мастерской Костелло». Он удостоверяется, что никто не следил за ним, когда он подошел к маленькой боковой дверце из подбитого ватой металла, выкрашенной в рвотный рыжий цвет. Никакой Чарли не ждет его возле нее. И ни звука внутри. Солнце прорвалось сквозь облака, и Ахмад чувствует, как плечи и спина покрываются потом, — его белая рубашка уже утратила свою свежесть. В полуквартале оттуда, на Уэст-Мэйн-стрит уже ожил понедельник. В проулке появились машины и пешеходы. Ахмад берется за новую медную ручку на двери, но она не поворачивается. В отчаянии он пытается ее повернуть. Как может какой-то маленький, не обладающий мышлением кусок металла препятствовать исполнению воли as-Samad, Безупречного?

Борясь с паникой, Ахмад пытается открыть большую дверь — задвижную. У нее внизу есть ручка, которая, если ее повернуть, высвобождает пару боковых щеколд. Ручка поворачивается; дверь, испугав Ахмада, под действием противовеса легко уходит вверх, словно взлетает, и, дребезжа, замирает на рельсах вверху во мраке, царящем под потолком.

Ахмад впустил свет в пещеру. В грязном помещении нет Чарли, как нет и двух механиков — техника и его молодого помощника. Станки и крепления — в том же виде, как их помнил Ахмад. В углах, похоже, меньше мусора и выброшенных частей машин. Гараж

вычищен, прибран, словно перед концом. В атмосфере — тишина, будто в разграбленной в последний раз могиле. Транспорт, проезжающий по проулку, отбрасывает в пещеру опасные отблески огней; прохожие от нечего делать заглядывают туда. Там нет никого, только грузовик — пузатый «Джи-эм-си 3500», на котором непрофессиональной рукой написано: «Системы оконных ставен». Ахмад осторожно открывает дверцу водителя и видит, что повоенному тускло-серый ящик все еще стоит между двумя сиденьями и от него идут провода к корзине из-под молока. С приборной доски свисает ключ зажигания, приглашая вторгшегося сюда повернуть его. Два толстых изолированных провода по-прежнему тянутся от детонатора внутрь грузовика. Дверца лаза, позволяющая по высоте проползти человеку, приподнята всего на шесть дюймов, чтобы пропущенные сквозь нее провода не натягивались. Сквозь это шестидюймовое отверстие до Ахмада доходит запах смеси нитратоаммониевого удобрения и нитрометана, гоночного автомобильного топлива; он видит призрачно-бледные пластмассовые цилиндры, каждый высотой ему до талии и в каждом сто шестьдесят килограммов взрывчатки. Блестящая белая пластмасса контейнеров тускло мерцает, словно живая плоть. Срощенные желтые провода петлей закреплены на взрывных капсулах, укрепленных алюминиевым порошком и пентритом, находящимися на дне каждого цилиндра. Ахмад разглядывает в темноте, что двадцать пять контейнеров расставлены по пять в ряд таким квадратом, крепко связаны друг с другом двойной веревкой для сушки белья и предохранены от скольжения, будучи накрепко привязаны к рейкам и боковым перекладинам внутри грузовика. Все в целом похоже на произведение современного

искусства, прилежно созданное и непонятое. Ахмад вспоминает приземистого техника, изящную, мягкую жестикуляцию его вымазанных в масле рук и представляет себе, как он улыбается ртом, в котором не хватает зубов, с невинной гордостью творца. Они все здесь, все — в этой схеме, части великолепной машины, срощенные воедино. Остальные исчезли, но остался Ахмад, чтобы поставить последнюю частицу на место.

Он осторожно опускает вниз маленькую деревянную дверцу, возвращая заряженные цилиндры в их хрупкую темноту. Их доверили ему. И как и он, они — солдаты. Он окружен товарищами-солдатами, хотя они молчат и не оставили никаких инструкций. Дверь в задней части грузовика заперта на висячий замок. Сверху наброшен крючок, острие его продето в толстую скобу, и на скобе тоже висит тяжелый комбинированный замок. Комбинацию Ахмаду не сообщили. Он понимает идею: он должен верить своим братьям, как они верят ему, — верить их необъяснимому отсутствию, следовать плану. Он стал единственным из живых инструментом Всемилостивейшего, Безупречного. Ему дали грузовик, двойник того, на котором он обычно ездит, чтобы путь его был прямым и гладким. Он осторожно садится на водительское место. Старая черная искусственная кожа кажется теплой, словно кто-то только что слез с нее.

Взрыв, вспоминает Ахмад из своих занятий в классе физики в Центральной школе, — это просто когда твердое вещество или жидкость быстро превращается в газ, расширяясь в объеме менее чем за секунду в сотни раз. Вот и все. И, словно стоя на краю подобного химического превращения, он видит себя, маленького и

сосредоточенного, как он влезает на непривычный грузовик, включает мотор, заставляет его слегка взречь и задом выводит в проулок. Одна маленькая неприятность. Выйдя из грузовика, чтобы опустить грохочущую дверь — за ним самим, за грузовиком и невидимой командой соратников, — Ахмад чувствует, что апельсиновый сок, выпитый за завтраком, и нервное возбуждение стали давить на его мочевой пузырь. Лучше разрядиться до предстоящего путешествия. Он ставит грузовик с включенным мотором в проулке, снова поднимает дверь гаража и находит туалет за грязной дверью без надписи, в углу, позади станка. С помощью шнура включается голая лампочка, стоит блестящий фарфоровый сосуд с

овалом воды сомнительного вида, которую надо слить после того, как он добавит туда небольшую струю. Он старательно моет руки, воспользовавшись

жироудаляющим

средством,

стоящим

на

умывальнике. Он выходит наружу, опускает за узловатый шнур грохочущую дверь и понимает, внутренне содрогнувшись, как было глупо и опасно оставлять грузовик с работающим мотором даже на минуту или две. Он перестал нормально думать о последних минутах в этом своем экзальтированном, однако разряженном состоянии. Надо не терять головы, понимая, что ты — инструмент Господа, холодный, и твердый, и решительный, и бездумный, каким и должен быть инструмент.

Он бросает взгляд на «таймекс» — стрелки показывают восемь часов девять минут. Еще четыре минуты потеряны. Он едет на грузовике, стараясь избежать ям и внезапных остановок. Он запаздывает, согласно намеченной с Чарли программе, не меньше чем на двадцать минут. Немного успокоившись, поскольку грузовик едет, став частью ежедневного движения транспорта в мире, он сворачивает из проулка направо, потом налево по Уэст-Мэйн-стрит, снова проезжает мимо «Бодрячков» с их картинкой-мультишкой, на которой изображены трое мужчин — Мэнни, Мо и Джек, объединенные в трехглавом теле карлика.

Окончательно проснувшийся город мелькает и крутится вокруг него. Он представляет себе, что его грузовик кажется с высоты вертолета, охотящегося за машиной, зажатым прямоугольником, прокладывающим себе путь по улицам, останавливающимся у перекрестков. Этот грузовик ведет себя иначе, чем «Превосходный», у которого есть легкая раскочка, и у водителя такое чувство, будто он сидит на шее слона. А с «Системами оконных ставен» у него нет органического слияния. Руль ему не по рукам. От каждой выбоины на дорожном покрытии сотрясается весь остов. Передние колеса упорно тянут влево, словно в результате аварии перекошило каркас. Тяжесть — в два раза большая, чем была у Маквея, и более компактная, чем груз мебели, — толкает его в спину, когда он тормозит на красный свет, и отбрасывает назад, когда он включает скорость на зеленый.

Желая избежать центра города — школы, Городского совета, церкви, каменного озера, похожих на обрубок стеклянных небоскребов, построенных правительством в качестве подачи

городу, — Ахмад сворачивает на Вашингтон-стрит, названную так, как однажды сказал ему Чарли, потому что в обратном направлении она проходит мимо особняка, где у великого генерала был штаб в НьюДжерси. Джихад и революция — это такие же войны, пояснил

Чарли, — отчаянные и жестокие войны, которые ведут обездоленные, поскольку империалистические заправилы требуют подчинения установленным ими к собственному благу бесчестным правилам.

Ахмад включает радио на приборной доске — оно настроено на станцию,

передающую

отвратительную

болтовню,

изливая

нечленораздельные потоки похоти. Он отыскивает на шкале У-си-биэс-эм, и диктор, захлебываясь, сообщает, что на въезде в туннель

Линкольна, как всегда, большая пробка — стоп-поехал, хо-хо-хо!

Несколько быстрых слов с вертолета, за которыми следует веселая

поп-музыка. Ахмад снова выключает радио. В этом дьявольском

обществе человеку в его последний час нечего послушать. Лучше уж

тишина. Тишина — она музыка Господа. Ахмад должен быть чистым

для встречи с Господом. Ледок, родившийся в его желудке, опускается

в кишки при мысли о встрече с тем, кто так близок ему, как вена на

шее, — с тем, кого он всегда чувствовал рядом, как брата, как отца, но

к кому никогда не мог обратиться напрямую при Его безупречном

сиянии. А сейчас он, не имеющий ни отца, ни брата, исполняет

непреклонную волю Господа: Ахмад спешит доставить Хутаму,

Испепеляющий Огонь. Более точно, пояснил ему однажды шейх

Рашид, Хутама означает «то, что разбивает вдребезги».

В Нью-Проспекте есть лишь одна связка с трассой 80. Ахмад

направляет грузовик на юго-восток по Вашингтон-стрит, пока

Вашингтон-стрит не встречается с Тилден-авеню, которая выводит

прямо на 80-ю, с грохотом устремленную в это время дня к НьюЙорку. В трех кварталах

севернее въезда, у широкого изгиба, где

бензоколонка «Гетти» стоит напротив «Мобила», в котором есть

магазин «Секундочка», Ахмад видит вроде бы знакомую фигуру,

стоящую на краю площадки и машущую, но не так, как нелепо машут,

останавливая такси, которые не разъезжают по Нью-Проспекту, а

вызываются по телефону, — этот же человек машет именно ему. Он

тычет в Ахмада сквозь ветровое стекло и вздымает вверх руки, словно

желая физически остановить его. Это мистер Леви в коричневом

сюртуке с несоответствующими ему серыми брюками. Он одет так, как ходит в школу в понедельник, а вместо этого стоит на улице в миле к югу от Центральной школы.

Неожиданное появление мистера Леви ставит Ахмада в

безвыходное положение. Он старается прочистить мозги. Быть может,

у мистера Леви сообщение от Чарли, хотя Ахмад не думает, что они

знают друг друга: наставнику никогда не нравилось то, что он, Ахмад,

сдал на права и водит грузовик. Или срочное сообщение от матери,

которая этим летом некоторое время слишком часто упоминала имя

мистера Леви таким тоном, какой означал, что она снова запуталась.

Ахмад не собирался останавливаться, как он не остановился бы перед

одним из этих извивающихся, докучливых чудовищ из надутых

воздухом пластиковых трубок, которые завораживают покупателей,



заставляя их свернуть с проезжей части дороги.

Однако свет в светофоре на углу меняется, поток транспорта замедляется, и грузовик вынужден остановиться. Мистер Леви — Ахмад и не думал, что он может так быстро передвигаться, — лавирует среди остановившегося транспорта и, подняв руку, повелительно стучит в стекло со стороны пассажира. Смутившись, Ахмад, привыкший оказывать уважение учителю, протягивает руку и нажимает на открывающую дверь кнопку. Пусть лучше будет внутри, рядом с ним, быстро решает юноша, чем на улице, где он может поднять тревогу. Мистер Леви рывком открывает дверцу у пассажирского сиденья и, когда транспорт снова начинает двигаться, подтягивается и плюхается на потрескавшееся черное сиденье. И захлопывает дверцу. Он тяжело дышит.

— Спасибо, — говорит он. — Я уже начал бояться, что пропустил тебя.

— А откуда вам известно, что я должен тут быть?

— Ведь на Восьмидесятую трассу только один выезд.

— Но это же не мой грузовик.

— Я знал, что это будет не твой.

— Каким образом?

— Это длинная история. Я знаю лишь отдельные моменты.

«Системы оконных ставен» — это смешно. Впустите свет. Кто говорит, что у этих людей нет чувства юмора?

Он все еще с трудом дышит. Глядя на его профиль на том месте, где сидит Чарли, Ахмад поражается тому, каким старым выглядит его наставник вне юной толпы школьников. Усталость накопилась под его глазами. Губы у него обмякли, кожа под бровями обвисла. Интересно, думает Ахмад, каково это день за днем скатываться к естественной смерти. Он этого никогда не узнает. Быть может, прожив так долго, как мистер Леви, ты этого не чувствуешь. По-прежнему слегка задыхаясь, Леви выпрямляется, довольный тем, что добился своего и попал к Ахмаду в грузовик.

— А это что? — спрашивает он про серую металлическую коробку, прикрепленную к пластмассовой корзине между двумя сиденьями.

— Не трогайте ее! — Ахмад произносит слова так резко, что тут же из вежливости добавляет: — Сэр.

— Не буду, — говорит мистер Леви. — Но и ты ее не трогай. — И умолкает, обследуя ее, но не трогая. — Иностранного производства, возможно, чешского или китайского. Уж конечно, это не наш старый стандартный детонатор «ЛД20». Я, знаешь ли, ведь служил в армии, хотя во Вьетнам меня не посылали. Это меня тревожило. Ехать туда я не хотел, но мне хотелось проявить себя. Ты можешь это понять. Желание проявить себя.

— Нет. Я не понимаю, — говорит Ахмад.

Это внезапное вторжение привело его в замешательство: мысли точно шмели слепо бьются о стенки его черепа. Но он продолжает мягко вести свой «Джи-эм-си 3500» по изгибу соединения с трассой 80, где машины движутся бампер к бамперу в этот час, когда все едут на работу. Он уже начал привыкать к тому, что этот грузовик ничего не прощает.

— Насколько я понимаю, они закладывали взрывчатку в паучы щели вьетконговцев, закрепляли ее и взрывали с помощью этих штук.

Они называли это «рубкой леса». Некрасивое зрелище. Впрочем, во всей этой истории ничего красивого не было. За исключением женщин. Но я слышал, даже им нельзя было доверять. Они тоже были вьетконговками.

Несмотря на гудение в голове, Ахмад старается прояснить свою позицию:

— Сэр, если вы попытаетесь порвать провода или помешать мне вести грузовик, я взорву четыре тонны взрывчатки. Желтый — это предохранительный рычаг, и я его выключаю. — Он поворачивает его вправо — щелк, — и оба ждут, что будет дальше.

Ахмад думает: «Если что-то произойдет, мы этого все равно не узнаем». Ничего не происходит, но рычаг теперь выключен. Теперь Ахмаду остается лишь опустить большой палец в маленькое углубление, на дне которого красная кнопка детонации, и подождать микросекунды, чтобы воспламеняющийся порошок просочился через пентрит и топливо двигателя в тонны нитрата. Ахмад нащупывает своим пальцем гладкую красную кнопку, не отрывая глаз от забитой машинами дороги. Если этот дряблый еврей попытается заставить его отступить от цели, он отбросит его как кусок бумаги, как пучок выбрасываемой шерсти.

— У меня нет таких намерений, — говорит ему мистер Леви нарочито небрежным тоном, каким он дает советы слабым ученикам, непокорным ученикам, ученикам, поставившим на себе крест. — Я просто хочу сказать тебе кое-что, что может заинтересовать тебя.

— Что именно? Скажите, и я высажу вас, когда мы подъедем ближе к месту моего назначения.

— Так вот: главное, пожалуй, то, что Чарли мертв.

— Мертв?

— Собственно, обезглавлен. Ужасно, а? Его пытали, прежде чем обезглавить. Тело нашли вчера утром в Лугах, возле канала, к югу от «Стадиона гигантов». Они хотели, чтобы его нашли. На теле была записка по-арабски. Чарли, очевидно, тайно работал на ЦРУ, и другая сторона наконец это вычислила.

Был отец, который исчез, прежде чем мог запечатлеться в памяти, потом Чарли — такой дружелюбный и показывавший ему дороги, а теперь этот усталый еврей, который выглядел так, словно одевался в темноте, занял их место, — пустующее место рядом с ним.

— Что же было в точности в записке?

— О, я не знаю. Все то же, все то же: что тот, кто нарушает присягу, наказывает самого себя. Бог не откажет ему в вознаграждении.

— Это похоже на Коран, на сорок восьмую суру.

— Это похоже и на Тору тоже. Как скажешь. Я многого не знаю. Поздно я начал.

— А можно спросить: откуда вы знаете то, что знаете?

— От сестры моей жены. Она работает в Вашингтоне, в Министерстве внутренней безопасности. Она позвонила мне вчера: моя жена упомянула в разговоре с ней, что я интересуюсь тобой, и там подумали, не связаны ли мы как-то. Они не могли тебя найти. Никто не мог. А я подумал, что попытаюсь.

— Почему я должен верить тому, что вы говорите?

— Так не верь. Поверь лишь в том, что совпадает с тем, что ты

знаешь. Я полагаю, что совпадает. Ну где сейчас Чарли, если я тебе соврал? Его жена говорит, что он исчез. Она клянется, что он занят только торговлей мебелью.

— А что с остальными Чехабами и теми людьми, которых они снабжали деньгами?

За Ахмадом едет темно-синий «мерседес» с нетерпеливым парнем за рулем, слишком юным, чтобы заработать на «мерседес», если, конечно, он приобрел его не путем махинаций за счет менее удачливых. Такого рода люди широко живут в так называемых спальных городках Нью-Джерси и прыгают вниз с небоскребов, когда Бог обрекает их на крах. Ахмад чувствует себя выше этого водителя «мерседеса» и не обращает внимания на его гудки и метания из стороны в сторону, чем он стремится подчеркнуть свое желание, чтобы белый грузовик не ехал так спокойно по средней полосе.

Мистер Леви отвечает:

— Ушли в подполье и разбежались, я полагаю. Пойманы двое мужчин, которые пытались улететь в Париж из Ньюарка, а отец Чарли находится в больнице — у него, предполагают, был удар.

— На самом деле он страдает от диабета.

— Ну от того или другого. Он говорит, что любит эту страну, как и его сын, а теперь его сын умер за эту страну. По одной теории он донес на своего сына. Есть дядя во Флориде — федералы уже какое-то время не спускают с него глаз. Эти организации засыпаны делами и не общаются друг с другом, но не все трюки они упускают. Дядя заговорит или кто-то еще. Трудно представить себе, чтобы один брат не знал, чем занимается другой. Эти арабы давят друг на друга с

помощью ислама: как ты можешь сказать «нет», если такова воля Аллаха?

— Не знаю. Мне не посчастливилось, — сухо произнес Ахмад, — иметь брата.

— Не великое это счастье, судя по тому, что я вижу в школе. У шакалов, читал я где-то, малыши дерутся насмерть, как только рождаются.

Менее сухо, даже с улыбкой, Ахмад, вспоминая, говорит мистеру Леви:

— Чарли очень пылко говорил о джихаде.

— Судя по всему, это не было наигрышем. Я никогда не встречался с ним. По слухам, он был человек безответственный. Его ошибка, сказала сестра моей жены, — а она лишь повторяет то, что говорит ее босс, она боготворит своего босса, — его роковая ошибка в том, что он слишком долго ждал, чтобы расставить свой капкан. Слишком много он смотрел фильмов.

— Он много смотрел телевизор. Он хотел когда-нибудь руководить рекламой.

— Моя цель, Ахмад, — довести до твоего сознания, что тебе не надо этого делать. Все кончено. Чарли вовсе не хотел, чтобы ты шел до конца. Он использовал тебя, чтобы отпугнуть других.

Ахмад

пробегает

мыслью

по

разворачивающемуся,

ускользающему рулону того, что он слышал, и заключает:

— Это была бы славная победа для ислама.  
— Для ислама? Каким образом?  
— Это убило бы и затруднило жизнь многих неверных.  
— Ты меня дурачишь, — говорит мистер Леви, в то время как Ахмад, сманеврировав, переезжает с 80-й трассы, идущей на восток, на 95-е шоссе, идущее на юг, захватив внутреннюю полосу и не дав «мерседесу» обойти его справа, тогда как основная масса машин продолжает двигаться на восток, в направлении моста Джорджа Вашингтона.

Слева морщится от ветерка река Оверпек, что течет к Хакенсаку. Грузовик едет по нью-джерсийской скоростной магистрали над заболоченной местностью, где использован каждый клочок, который удалось осушить. Магистраль раздваивается — левый рукав ведет ко входу в туннель Линкольна. Заговорщики позаботились о том, чтобы

на грузовике в центре ветрового стекла был радиоответчик И-3 — это позволит грузовику легко проехать мимо кабинки дорожного сбора, позволив сборщику или охраннику лишь на миг увидеть лицо молодого водителя.

— Подумай о своей матери. — Из голоса мистера Леви исчезли интонации диалога: зазвучали пронзительные нотки. — Она не только потеряет тебя, но и станет матерью чудовища. Сумасшедшего. Ахмад начинает испытывать удовольствие от того, что его не трогают доводы пришельца.

— Я никогда не был важен для моей матери, — поясняет он, — хотя, признаю, она выполняла свои обязанности, когда, на ее беду, я родился. А вот насчет матери чудовища, так на Ближнем Востоке матери мучеников пользуются уважением и получают немалую пенсию.

Мистер Леви говорит:

— Я уверен, что она предпочла бы иметь тебя, а не пенсию.

— Как это вы можете быть уверены, могу я спросить вас, сэр?

Насколько хорошо вы ее знаете?

Появляются чайки — он видит сначала две-три сквозь ветровое стекло, потом десятки, и десятки превращаются в сотни, кружащиеся над отходами. За этим собранием алчных крылатых, за угрюмым Гудзоном высится каменный силуэт великого города с выемками, как у огромного ключа, — силуэт сердца Сатаны. Освещенные с востока его башни вздымаются тенями на западе, а между ними легкая переливающаяся дымка. Молчание мистера Леви предполагает новую атаку на убеждения Ахмада, но на данный момент и водитель, и пассажир вместе любят одним из чудес света, внезапно исчезающим из виду, когда транспорт делает рывок вперед и вместо прежнего зрелища появляются по обеим сторонам 95-й относительно пустые пространства — заросшее травой болото с пятнами голубого неба, отраженного в протоках воды, рассекающих грязь. Высоко на ветровом стекле появляется серебристый крест, вырвавшийся с международного аэропорта Ньюарк, оставляя за собой в молочном небе двойной след, словно расстилая дорогу для тех, кто за ним последует, в хитросплетении узоров, какие вычерчивают для них авиадиспетчеры. Настроение у Ахмада моментально поднимается, словно самолет взлетел, оторвавшись от земного притяжения.

Мистер Леви разрушает атмосферу, говоря:

— Ну о чем еще мы можем потолковать? «Стадион гигантов». Ты вчера следил за игрой «Джетов»? Когда этот малый, Картер, не сумел ввести мяч в игру, я подумал: «Ну вот опять, как в прошлом сезоне». Но нет, они вытянули — тридцать один к двадцати четырем, но ты не мог успокоиться, пока этот первогодок Коулмен в последнюю минуту, когда Бенгал в последний раз ударил по мячу, не пошел на перехват. — Это, по-видимому, еврейская комедия, которую Ахмад пропускает мимо ушей. А Леви произносит уже более искренним тоном: — Не могу поверить, чтобы ты всерьез намеревался убить сотни невинных людей.

— Кто говорит, что неверующие невинны? Те, кто не верит, говорят так. А Господь в Коране говорит: «Будь беспощаден к неверным». Жги их, дави их, потому что они забыли Бога. Они считают, что достаточно быть самими собой. Они любят настоящую жизнь больше будущей.

— Значит, убивай их сейчас. Это довольно жестоко.

— Для вас, конечно, да. Насколько я понимаю, вы — впавший в грех еврей. Вы ни во что не верите. В третьей суре Корана говорится, что все золото мира не может выкупить тех, кто однажды верил, а потом разуверился, и что Господь никогда не примет их покаяния. Мистер Леви вздыхает. Ахмад слышит в его дыхании хрипы капелек страха.

— Да, что ж, в Торе тоже есть немало отвратительного и нелепого. Чума, массовые убийства прямоком насылаются на тебя. Племена, которым не посчастливилось быть избранными, — ставь их под запрет, не проявляй к ним пощады. Ада они еще не создали — это пришло с христианами. Будь мудрым — священники контролируют людей с помощью страха. Вызывай в воображении Ад — самая старая в мире тактика испуга. Ближайшая к пытке. А Ад является в основе своей пыткой. Ты действительно можешь всему этому верить? Господь в качестве высшего палача? Господь в качестве главного воителя геноцида?

— В записке, прикрепленной к Чарли, сказано: «Не откажет Он нам в вознаграждении». Вы упомянули, согласно вашей традиции, Тору. Пророк произнес немало добрых слов об Аврааме. Мне интересно знать: вы когда-либо верили? Как вы отошли от веры?

— Я таким родился. Мой отец ненавидел юдаизм и его отец тоже. Они винили религию в страданиях мира — религия примиряет людей с их проблемами. Тогда они приняли другую религию — коммунизм. Но вам неинтересно это слушать.

— Я не возражаю. Нам полезно прийти к согласию. До появления Израиля мусульмане и евреи были братьями: и те и другие находились на окраинах христианского мира, комично выглядели в своих смешных одеждах, служили развлечением для христиан, чувствовавших себя в безопасности благодаря своему богатству, своей белой, как бумага, коже. Даже несмотря на нефть, они презирали нас, обманывали саудовских принцев, забирая то, что законно принадлежит их народу.

Мистер Леви издает еще один вздох.

— Лихо ты слепил «нас», Ахмад.

Поток транспорта, и так уже перенасыщенный, замедляет движение, сгущается. Указатели: на Норт-Берген, Секоке, Уихокен, трасса 495 — к туннелю Линкольна. Хотя Ахмад никогда прежде здесь не ездил — с Чарли или без него, — он легко следует указателям, несмотря на то что трасса 495, по которой спазмодически ползут машины, загибается петлей, уводя поток машин со скалы Уихокена на уровень реки. Ему кажется, он слышит рядом с собой голос, который говорит: «Ведь легко, Недоумок. Это же не ракетная наука».

По мере того как дорога спускается вниз, скопления машин съезжают на нее с местных дорог с юга и запада. Ахмад видит поверх крыш машин их общую цель — длинное темно-желтое каменное сооружение и три круглые дыры для двух полос каждая, обрамленные белым кафелем. Надпись гласит: «Грузовики направо». Другие грузовики — коричневый «ЮПС», желтый «райдер», разнообразные пикапы торговцев, тракторы с трейлерами, пыхтя и визжа тащащие свои горы свежего товара из Садового штата на кухни Манхэттена, — втискиваются, проезжают несколько футов и тормозят.

— Пора вам теперь вылезать, мистер Леви. Я не смогу остановиться, когда мы въедем в туннель.

Наставник кладет руки на бедра, обтянутые неподходящими к сюртуку серыми брюками, чтобы Ахмад видел, что он не намерен дотрагиваться до дверцы.

— Я не собираюсь вылезать. В этом деле, сынок, мы с тобой вместе.

Держится он храбро, а голос звучит слабо, хрипло.

— Я вам не сын. Если вы попытаетесь привлечь чье-то внимание, я взорву грузовик прямо тут, в машинной пробке. Это будет не идеально, но я убью кучу людей.

— Могу держать пари, что ты его не взорвешь. Слишком ты хороший малый. Твоя мама рассказывала мне, как ты не мог наступить на жука. Ты пытался поймать его на бумажку и потом выбрасывал в окно.

— Похоже, вы с мамой немало побеседовали.

— Я консультировал ее. Мы оба хотим для тебя самого лучшего.

— Мне не нравилось давить жуков, но я не любил и дотрагиваться до них. Я боялся, что они меня укусят или нагадят мне на руку.

Мистер Леви оскорбительно смеется. Ахмад настаивает:

— Насекомые могут гадить — мы изучали это по биологии. У них есть кишечник, и задний проход, и вообще все, как у нас.

Мозг его стремительно работает, бьется о стенки. Потому что, похоже, уже нет времени для разговоров: он воспринимает присутствие мистера Леви как нечто бестелесное, лишь наполовину реальное, подобное тому, как он всегда чувствовал присутствие Бога, как будто Он — рядом с ним, а себя, как наполовину открытое раздвоенное существо, словно книга с двумя частями скрепленных вместе страниц, странно и равнозначно — прочитанное и непрочитанное.

Как ни удивительно, здесь, у трех ртов туннеля Линкольна (Мэнну, Мо и Джека) растут деревья и зеленеет трава — над скоплением машин, над беспорядочным мельканием вспыхивающих и гаснущих тормозных огней и огней направления на земляной насыпи

лежит треугольник скошенной травы. Ахмад думает: «Это последний кусок земли, который я когда-либо увижу», — эта маленькая лужайка, где никто никогда не стоит и не проводит пикники или на который никогда прежде не смотрели глаза, которые вот-вот станут незрячими. Несколько мужчин и женщин в серо-голубой форме стоят у краев сгущенного, продвигающегося вперед потока транспорта. Эти полицейские выглядят добродушными зрителями, а не инспекторами — они болтают, стоя парами и наслаждаясь вновь появившимся, но все

еще затуманенным солнцем. Такая пробка, происходящая в эти часы каждый рабочий день, в такой же мере часть природы, как восход солнца, или приливы, или остальные явления, случающиеся на планете без участия разума. Среди полицейских есть крепкая женщина, из-под ее фуражки сзади и на ушах вырываются светлые волосы, а высокая грудь распирает карманы формы с жетоном и нагрудным патронташем; она завлекла двух мужчин в форме — одного белого и одного черного, которые скалятся в похотливой улыбке, а на талии у них висит оружие. Ахмад смотрит на свой «таймекс» — восемь пятьдесят пять. Он провел сорок пять минут в грузовике. В девять пятнадцать все будет кончено.

Он подал грузовик вправо, умело использовав зеркала, чтобы воспользоваться малейшим промедлением соседней машины. Пробка, казавшаяся некоторое время непроходимой, разбилась на полосы, ведущие в туннели на Манхэттен. Внезапно Ахмад видит, что между ним и входом в правый туннель стоит всего с полдюжины фургонов и машин. Среди них десятифутовый арендуемый фургон «Для переездов» и вагончик для ленча из простеганного алюминия, наглухо закрытый и запертый до того момента, когда он разложит свой прилавок и включит кухоньку, чтобы кормить прямо на тротуаре толпы неразборчивых едоков, а также несколько обычных машин, включая микроавтобус «вольво», в котором ехало семейство запj. Любезно поведя рукой, Ахмад дает понять водителю, что тот может встать перед ним в сформировавшейся очереди.

— Ты не проедешь мимо будки, — предупреждает его мистер Леви. Голос его звучит напряженно, словно некий громила сжал ему сзади грудь. — Ты выглядишь слишком молодым, чтобы выезжать за пределы штата.

Но в будке, созданной для сборщика дорожной пошлины, нет никого. Никого. Вспыхивает зеленый свет — пошлина уплачена, и Ахмаду на белом грузовике разрешен въезд в туннель.

Свет в туннеле тотчас становится странным — кафельные стены, обхватывающие двойной поток грузовиков и автомобилей, кажутся не белыми, а тускло-кремовыми. Заключенный в этих стенах шум рождает эхо — вторичный поток, который слегка приглушает шум, словно он идет по воде. У Ахмада уже возникает ощущение, что он находится под водой. Он представляет себе темную массу воды

Гудзона, давящую на кафельный потолок. Искусственного света в туннеле достаточно, но он не очищает воздуха: машины едут на самой малой скорости в этакой белесой тьме. Тут едут грузовики, иные до того огромные, что верхушка их трейлеров царапает потолок, а также автомобили, втесавшиеся у входа между грузовиками.

Сквозь свое ветровое стекло Ахмад смотрит вниз, в заднее окно бронзового микроавтобуса «В-90». Двое детей сидят спиной по ходу и

смотрят на него в поисках развлечения. Одеты они не небрежно, однако в такой же намеренно небрежной, безвкусно яркой одежде, какая бывает на белых детях, отправляющихся куда-либо всей семьей. У этого черного семейства все было в полном порядке, пока Ахмад не пропустил их вперед.

После первоначального рывка, покрыв пространство, отвоеванное наконец благодаря рассосавшейся пробке у входа в туннель, поток транспорта снова останавливается из-за невидимого препятствия или застоя впереди. Гладкое продвижение вперед оказалось иллюзией. Водители тормозят, сверкают стоп-сигналы. Ахмад обнаруживает, что не испытывает недовольства задержкой, этими «стоп»-«поехали». Уклон дороги, неожиданно оказавшейся слишком неровной и ухабистой для такого места, которое не знало непогоды, мог помочь ему и его пассажиру, а также и грузу оказаться чересчур быстро в самой низкой точке туннеля, за которой теоретически находится слабое место во второй трети его длины, где, как было сказано Ахмаду, туннель делает загиб и оказывается наиболее слабым. Там кончится его жизнь. Перед его мысленным взором мерцает как мираж тот треугольник подстриженной, но нехоженой травы над входом в туннель, завладевший его умом. Ему было жаль этой травы, по которой никто не ходил.

Прочистив пересохшее горло, он подает голос.

— Я вовсе не выгляжу малолеткой, — поясняет он мистеру Леви. — Мужчины нашей ближневосточной крови... к нам зрелость приходит раньше, чем к англосаксам. Чарли говорил, что мне можно дать на вид двадцать один год и я могу водить большие агрегаты — никто не остановит меня.

— Этот Чарли слишком много болтал, — говорит мистер Леви. Голос его звучит напряженно — глухой голос учителя.

— Вы бы предпочли, чтобы я не разговаривал с вами на подходе времени? Возможно ведь, хоть вы и отступились от веры, а все-таки хотите помолиться.

Одна из сидящих на заднем сиденье «вольво», девочка с пышными волосами, закрученными в два забавных шарика на голове, что делает их похожими на уши некогда столь знаменитой мышки из мультипликаций, пытается улыбками привлечь внимание Ахмада, но он игнорирует ее.

— Нет, — произносит Леви таким тоном, словно ему больно произносить даже односложное слово. — Говори. Спроси меня о чемнибудь.

— О шейхе Рашиде. Вашему информатору известно, что произошло с ним, когда все это раскрылось?

— На данный момент он исчез. Но вернуться в Йемен ему не удастся. Это я тебе обещаю. Этим мерзавцам не может все вечно сходить с рук.

— Он приходил ко мне вчера вечером. Выглядел печальным. Впрочем, он всегда был таким. Я думаю, его познания сильнее его веры.

— И он не сказал тебе, что игра окончена — все пропало? Чарли ведь нашли вчера рано утром.

— Нет. Он заверил меня, что Чарли будет ждать меня, как запланировано. И пожелал мне добра.

— Он возложил на тебя одного ответственность.

Ахмад улавливает в тоне презрение и заявляет:



— А я и есть в ответе. — И хвастливо говорит: — Сегодня утром на площадке у «Превосходной» были две странные машины. Я видел мужчину, который громко, авторитетным тоном говорил по мобильнику. Я-то видел его, а он меня не видел. По наущению девочки она и ее маленький братик прижимают лица к выгнутому стеклу, таращат глаза и кривят рот, пытаюсь заставить Ахмада улыбнуться, обратить на них внимание. Мистер Леви внезапно обмяк на своем сиденье, изображая безразличие или же съезжившись под впечатлением того, что рисует ему воображение. Он говорит:  
— Еще один грубый промах со стороны Дяди Сэма. Полиция распивала кофе, обменивалась по интеркому грязными анекдотами, —

кто знает? Послушай. Мне надо кое-что тебе сказать. Я трахал твою мать.

Ахмад замечает, что кафельные стены становятся розовокрасными, отражая такое множество вспыхивающих при торможении хвостовых огней. Машины делают рывок в несколько футов и снова тормозят.

— Мы спали вместе все лето, — продолжает Леви, поскольку Ахмад никак не реагирует. — Она потрясающая. Я не знал, что смогу снова кого-либо полюбить, что в моем теле будет снова прилив жизненных соков.

— По-моему, моя мать, — подумав, говорит ему Ахмад, — без труда укладывается в постель со всеми. Помощница медсестры привыкла иметь дело с телом, и она видит себя этаким эмансипированной современной женщиной.

— Так что ты хочешь сказать: не переживайте, ничего особенного не произошло. Но для меня произошло. Для меня весь мир сосредоточился в ней. Потеряв ее, я словно перенес большую операцию. Мне больно. Я много пью. Тебе этого не понять.

— Не обижайтесь, сэр, а поймите, — говорит Ахмад довольно высокомерно. — Я не в восторге от того, что моя мать устроила блуд с евреем.

Леви хохочет — хрипло, точно лает.

— Эй, да что ты, мы же все тут американцы. Такова наша идея — разве тебе не говорили этого в Центральной школе? Американцы ирландского происхождения, американцы африканского происхождения, американцы-евреи, есть даже американцы-арабы. — Назовите хоть одного.

Леви захвачен врасплох.

— Омар Шариф, — говорит он. Леви знает, что мог бы назвать и другие имена в менее напряженной ситуации.

— Не американца. Попробуйте.

— Мм... Как же его звали? Лью Элсиндор.

— Карим Абдул-Джаббар, — поправляет его Ахмад.

— Спасибо. Это было задолго до тебя.

— Но он был героем. Он преодолел большие предрассудки.

— По-моему, это был Джекки Робинсон, но не важно.

— Мы подъезжаем к самой глубокой части туннеля?

— Откуда мне знать? В свое время мы ко всему подъезжаем. В туннеле, раз ты в нем очутился, уже не жди указателей. Раньше на этих боковых дорожках стояли полицейские, но их больше нет. Они были из дисциплинарного отряда, но, я полагаю, полицейские наплевали на дисциплину, когда все от нее отказались.

Дальнейшее продвижение на несколько минут прекратилось.

Машины позади них и впереди начали гудеть — шум пролетает по кафелю, как дыхание по большому музыкальному инструменту.

Словно эта остановка дает им неограниченную передышку, Ахмад поворачивается к Джеку Леви и спрашивает:

— Вы когда-нибудь читали — в ходе своих занятий — египетского поэта и политического философа Сайида Кутуба? Он приехал в Соединенные Штаты пятьдесят лет тому назад и был поражен расовой дискриминацией и откровенным половым распутством. Он пришел к выводу, что американский народ в большей мере, чем любой другой, далек от Бога и благочестия. Но понятие *jāhiliyya*, означающее состояние невежества, существовавшее до Мохаммеда, применимо также к любящим жизненные блага мусульманам, что делает их законными объектами убийства.

— Звучит разумно. Я включу его в факультативное чтение, если буду жив. Я подписал контракт на чтение курса основ гражданственности в этом семестре. Надоело мне сидеть весь день в этом чулане — хранилище оборудования, пытаюсь уговорить угрюмых социопатов не бросать школы. Пусть бросают — такова моя новая философия.

— Сэр, сожалею, но вы не выживете. Через несколько минут я увижу лик Господа. Сердце мое переполнено ожиданием.

Их полоса двигается вперед. Детям в передней машине надоело пытаться привлечь внимание Ахмада. Маленький мальчик в красном кепи с козырьком и в полосатой рубашке в подражание «янки» свернулся

калачиком

и

задремал

в

этом

бесконечном

«стоп»-«поехали», под визг и пыхтение тормозов в этом кафельном Аду, где очищенный бензин превращается в угарный газ. А девочка с толстыми косичками притулилась, положив палец в рот, к брату и смотрит на Ахмада остекленевшими глазами, больше не добиваясь признания.

— Давай-давай. Посмотри на подлеца, — говорит ему Джек Леви, выйдя из своего обмякшего состояния и выпрямившись; волнение прогнало болезненный цвет с его щек. — Отправляйся увидеть треклятое лицо твоего Бога — мне наплевать. Почему это должно меня заботить? Женщина, по которой я с ума сходил, бросила меня, моя работа — тоска зеленая, я каждое утро просыпаюсь в четыре и не могу больше заснуть. Моя жена... Иисусе, слишком печально об этом говорить. Она видит, как я несчастлив, и винит себя в том, что стала такой до нелепости толстой, и села на эту диету, которая должна немедленно дать результат и которая может убить ее. Она в агонии от того, что ничего не ест. Я хочу сказать ей: «Бет, забудь про эту диету,

ничто не вернет нам то время, когда мы были молоды». Впрочем, мы никогда не были чем-то необычным. Иногда смеялись, смешили друг друга и получали удовольствие от простых вещей, раз в неделю ели вместе, ходили в кино, когда хватало сил, время от времени устраивали пикники на столах у водопадов. Единственный наш ребенок — его зовут Марк — живет в Альбукерке и хочет лишь забыть о нас. Ну кто может его за это винить? Мы точно так же относились к своим родителям: побыстрее уехать от них, они ничего не понимают, они стесняют нас. Как звали этого твоего философа?

— Сайид Кутуб. По-настоящему: Кутб. Мой бывший учитель шейх Рашид очень любил его.

— Похоже, он хорошо высказывается об Америке. Раса, секс — они пугают нас. Стоит выдохнуться — и Америка мало чего тебе даст. Тебе даже не позволяют умереть: больницы высасывают из медицинского страхования все деньги, какие могут. Компании по изготовлению лекарств превратили врачей в проходимцев. Зачем мне болтаться тут, пока какая-нибудь хворь не превратит меня в дойную корову для кучки проходимцев? Пусть Бет порадуетса тому немногому, что я могу ей оставить, — так я считаю. Я стал обузой для мира — только место занимаю. А ну, нажимай на свою чертову кнопку. Как сказал тот парень, что летел в самолете одиннадцатого сентября, комуто по мобильнику: «Это будет быстро».

Джек протягивает руку к детонатору, и Ахмад вторично хватает эту руку.

— Прошу вас, мистер Леви, — говорит он. — Это я должен сделать. А если сделаете вы, то победа превратится в поражение.

— Господи, да тебе следовало быть юристом. О'кей, перестань сжимать мне руку. Я ведь пошутил.

Девочка, сидящая в задней части микроавтобуса, видела эту кратковременную схватку, и ее интерес разбудил брата. Четыре ярких черных глаза уставились на Ахмада и Леви. Краешком глаза Ахмад видит, как мистер Леви потирает запястье другой рукой. Он говорит Ахмаду — возможно, желая смягчить его похвалой:

— Ты окреп этим летом. После нашего собеседования твое пожатие было вялым до оскорбления.

— Да, я больше не боюсь Тайленола.

— Тайленола?

— Тоже выпускника Центральной школы. Тупоголового громилы, завладевшего нравившейся мне девушкой. И я ей тоже нравился, хоть и казался странным. Так что не только у вас трудности на романтической почве. Это одна из серьезных ошибок атеистического Запада, согласно теоретикам ислама, — превратить животную функцию в идола.

— Расскажи мне про девственниц. Про сорок двух девственниц, которые будут обихаживать тебя там.

— В Священном Коране не указано число hūḡūyāt. Сказано только, что их много, что они черноглазые и смотрят на тебя скромно и что до них никогда не дотрагивались ни мужчины, ни джинны.

— Еще и джинны! Ну и ну!

— Вы насмехаетесь, не зная языка. — Ахмад чувствует, как ненавистная краска расплывается по лицу, когда он говорит насмешнику: — Шейх Рашид пояснил, что джины и гурии являются символами любви Господа к нам, которая есть везде, вечно

возобновляемая и недоступная пониманию простых смертных.

— О'кей, раз ты так это понимаешь. Я не спорю. Нельзя поспорить со взрывом.

— То, что вы называете взрывом, для меня — булавоочный укол, маленькая дырочка, сквозь которую сила Господа проникает в мир. Хотя казалось, этот момент в норовистом потоке транспорта никогда не наступит, еле заметное спрямление туннеля и легкий скос вверх указывают Ахмаду на то, что он достиг низшей точки, а изгиб кафельной стены впереди, видимый в промежутках между высокими остовами грузовиков, отмечает то слабое место, где фанатично и

тщательно составленный квадрат из пластмассовых бочонков должен быть взорван. Он снимает правую руку с руля, и она оцупывает серую, как все военное, металлическую коробку с маленьким углублением, куда войдет его большой палец. Он нажмет... — и присоединится к Господу. Господь будет менее одинок. «Он встретит тебя, как своего сына».

— Действуй, — подталкивает его Джек Леви. — А я немного расслаблюсь. Господи, как же я в последнее время уставал!

— Боли вы не почувствуете.

— Я — нет, зато ее почувствуют множество других, — откликается пожилой человек, внезапно сползая. Но молчать он не может: — Я не так представлял себе это.

— Представляли себе что? — Отклик сам собой вылетает из уст Ахмада в его выпотрошенном состоянии.

— Смерть. Я всегда думал, что умру в постели. Возможно, поэтому я не люблю быть в ней. В постели.

«Он хочет умереть, — думает Ахмад. — Он провоцирует меня, чтобы я это сделал за него». В пятьдесят шестой суре Пророк говорит о «моменте, когда душа умирающего переместится в его гортань». Этот момент настал. Путешествие, *miraj*[66]. Бурак готов. Его блестящие белые крылья, шурша, расстилаются. Однако в той же суре «Падающее» Бог спрашивает: «Мы создали вас, и почему вам не поверить? Видели ли вы то, что извергаете семенем, — вы ли творите это, или Мы творцы?»[67] Господь не хочет уничтожать — ведь это Он создал мир.

Рисунок на стенах и на кафеле, что почернел от выхлопных газов на потолке, — многократное, уходящее вдаль повторение квадратов, словно гигантская разграфленная бумага, скрученная, образуя третье измерение, — взрывается перед мысленным взором Ахмада, следуя гигантскому велению Созидания, одна концентрическая волна следует за другой, каждая подталкивает другую дальше и дальше от первоначальной точки, повинувшись Божьей воле перехода от небытия в бытие. Такова воля Милосердного, Всемиловитвейшего — *ar-Rahmān* и *ar-Rahīm*, Живого, Долготерпимого, Великодушного, Безупречного, Света, Предводителя. Он не хочет, чтобы мы осквернили Его Творение, желая смерти. Он желает жизни.

Ахмад возвращает правую руку на руль. Двое детишек в движущейся впереди машине, любовно одетые и причесанные родителями, каждый вечер вымытые и спокойно уложенные, с застывшими лицами смотрят на него, почувствовав что-то странное, что-то необычное в выражении его лица, смешанное с отблеском ветрового стекла. Желая их успокоить, он снимает правую руку с руля

и машет им пальцами, как машет ножками лежащий на спине жук. Дети, наконец признанные, улыбаются, и Ахмад не может не улыбнуться им в ответ. Он бросает взгляд на свои часы: девять восемнадцать. Момент для нанесения максимального ущерба прошел: туннель по наклону медленно приближается к все расширяющемуся четырехугольнику дневного света.

— Да? — спрашивает Леви, словно не расслышав отклика Ахмада на свое последнее высказывание. И выпрямляется из съежившегося состояния.

Черные дети, тоже почувствовав, что скоро их выпустят, корчат рожицы перед задним окном «вольво», оттягивают пальцами краешки глаз и качают высунутым языком. Ахмад пытается снова им улыбнуться и повторяет свой дружелюбный жест, помахав им пальцами, но вяло: он чувствует себя выпотрошенным. Ярко освещенный рот туннеля расширяется, проглатывая его и его грузовик со своими призраками, — все они выкатывают на тусклый, но становящийся ярче свет понедельника на Манхэттене. Атмосфера скученности в туннеле, до исступления душная и влажная, наконец развеялась, растаяла на просторе мощеных улиц, среди жилых домов средней высоты, и досок с афишами и объявлениями, и рядов кирпичных домов, а в нескольких кварталах дальше — хрупких на вид небоскребов. Это вполне могло быть какое-то безымянное место в северном Нью-Джерси, — лишь силуэт здания Эмпайр-Стейт впереди, снова самого высокого здания в Нью-Йорке, говорит, что это нечто другое. Бронзовый микроавтобус устремляется направо, на юг. Дети, замороженные видом большого города, вертят головками туда-сюда и не машут Ахмаду на прощание. Он чувствует, что им пренебрегли после того, на какую жертву он ради них пошел.

Рядом с ним мистер Леви произносит:

— Эй, малый! — глупо подражая принятому у школьников. — Я взмок. Ты ведь убедил меня. — И, почувствовав, что избрал неверный

тон, добавляет уже мягче: — Отлично провел машину, мой друг. Добро пожаловать в Большое Яблоко[68].

Ахмад сбрасывает скорость, затем останавливается не совсем на середине широкого пространства. Автомобили и грузовики, рвущиеся на волю за остановившимся белым грузовиком, объезжают его и гудят; боковые стекла опускаются, и люди возмущенно размахивают руками. Ахмад замечает разгоняющийся темно-синий «мерседес» и с улыбкой думает, что как ни старался его самонадеянный водитель, презренный ворюга инвестиций, обогнать его, ему пришлось все-таки плестись позади.

Джек Леви понимает, что теперь он стал главным.

— Итак, — говорит он, — вопрос в том, что нам теперь делать.

Вернем этот грузовик назад, в Джерси. Там будут рады его увидеть. И к сожалению, рады увидеть тебя. Но ты не совершил никакого преступления — я первый это подчеркну, — кроме того, что вывез из штата опасный груз, имея водительские права третьего класса. По всей вероятности, у тебя отберут права, но это не страшно. Во всяком случае, твое будущее не в доставке мебели.

Ахмад продвигает грузовик вперед и, немного выйдя из транспортного потока, ждет указаний.

— Поезжай вперед и, когда сможешь, сворачивай влево, — говорит Джек Леви. — Я не хочу возвращаться в туннель с тобой и

этой штукой, нет, спасибо. Поедем по мосту Джорджа Вашингтона. Как ты думаешь, сможем мы вернуть на место аварийный выключатель?

Ахмад протягивает вниз руку, боясь теперь сделать что-то не так с тщательно отрегулированным механизмом. Маленький желтый рычажок говорит: «Щелк», — с увесистым грузом ничего не происходит. Мистер Леви, с облегчением понимая, что все еще жив, продолжает говорить:

— Поверни налево у вон того перекрестка — по-моему, это должна быть Десятая авеню. Я стараюсь вспомнить, разрешено ли движение грузовиков по Уэст-Сайдскому шоссе. Возможно, нам придется поехать по Риверсайд-драйв или выбраться на Бродвей и ехать по нему до моста.

Ахмад, следуя указанию, сворачивает влево. Дорога прямая.

— Ты ведешь машину как профессионал, — говорит ему мистер Леви. — Чувствуешь себя о'кей? — Ахмад кивает. — Я знаю, что ты в шоке. Я — тоже. Но право же, мы нигде не сможем запарковать эту махину. А как только мы доедем до моста, считай, что мы уже дома. Он выходит на Восьмидесятое шоссе. Мы поедем прямо в полицейское управление, что позади Городского совета. Мы не позволим этим мерзавцам запугать нас. То, что ты вернешь грузовик в целостности и сохранности, — это же им во благо, и если у них хоть половина мозга работает, они это поймут. А могла ведь быть беда. Всякому, кто попытается запугать тебя, напomini, что тебя подготовил сотрудник ЦРУ для мучительной операции весьма сомнительной легальности. Ты, Ахмад, — жертва, безрассудно поступивший парень. Я не представляю себе, чтобы министерство внутренней безопасности захотело увидеть подробности в средствах массовой информации и услышать их в зале суда.

На протяжении одного-двух кварталов мистер Леви молчит, дожидаясь услышать что-то от Ахмада, потом говорит:

— Я понимаю, это, возможно, звучит преждевременно, но я не шутил, говоря, что из тебя может получиться хороший адвокат. Ты сохраняешь хладнокровие под давлением. Ты хорошо говоришь. В грядущие годы американцам арабского происхождения понадобится много адвокатов. Ого! По-моему, мы на Восьмой авеню, а я думал, что на Десятой. Продолжай ехать — эта улица выведет нас на Бродвей у Круга Колумба. По-моему, это по-прежнему так называется, хотя бедный испашка уже не является больше знаменитостью. Слева от тебя — главная автобусная станция: я уверен, что ты был там раз или два. Затем мы пересечем Сорок Вторую улицу. Я помню, когда она была ужасная грязная, но корпорация Дисней, по-моему, ее вычистила.

Ахмаду хочется среди этих желтых такси, и светофоров, и пешеходов, томящихся на каждом углу, сосредоточиться на этом окружающем его новом мире, но мистер Леви продолжает делиться своими мыслями.

Он говорит:

— Мне интересно было бы выяснить, действительно ли эта чертова взрывчатка была присоединена или же наши люди сумели надуть негодяев и подсоединения не было. Это была моя спасительная

карта, но я рад, что мне не пришлось ею воспользоваться. Слава Богу,

ты вышел из игры. — Это прозвучало грубо даже для его уха. — Или, скажем, смилостивился.

А вокруг них — на Восьмой авеню, ведущей к Бродвею, — великий город полон людей: одни хорошо одеты, многие — убого, несколько красивых лиц, но в большинстве — некрасивые, все среди высящихся вокруг зданий кажутся букашками, но бегущими, спешащими, нацеленными под бледным утренним солнцем на какой-то план, или замысел, или надежду, которую они несут в себе, которая является обоснованием их существования еще на один день; каждый из них закрепил свою жизнь на пике сознания, сосредоточив ее на самопродвижении и самосохранении. На этом и только на этом. «Эти дьяволы, — думает Ахмад, — отняли у меня Бога».

notes

## Примечания

1

Здесь и далее тексты из Корана даются в переводе И. Ю. Крачковского.

2

Мировая скорбь (нем.).

3

Библия. Книга Екклезиаста. 3:20. — Здесь и далее примеч. пер.

4

Нет Бога, кроме Аллаха (ар.).

5

Творец (ар.).

6

Негр (ар.).

7

Библия. Пятая книга Моисеева — Второзаконие, гл. 32, стих 51.

8

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 28.

9

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 29.

10

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 34.

11

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 31.

12

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 3.

13

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 4.

14

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 9.

15

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 13, стих 10.

16

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 14, стих 11.

17

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 14, стих 27.

18

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 14, стих 32.

19

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 14, стих 33.

20

Библия. Исход, гл. 66, стих 24.

21

Библия. Четвертая книга Моисеева — Числа, гл. 14, стих 42.

22

Бефшита — город, куда бежали мадианитяне, преследуемые Гидеоном и его воинами.

23

Во имя Господа (лат.).

24

Пятничная молитва (ар.).

25

Школа (ар.).

26

Хадис — жизнеописание пророка Мохаммеда.

27

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного (ар.).

28

Не знаешь ли ты, что содеял Господь Твой с соратниками слона (ар.).

29

Не собрал ли он их козни создания заблуждения (ар.).

30



Нет проблемы, сеньора (исп.).

31  
Арабеск с наклоном (фр.).

32  
Прыжок (фр.).

33  
Вам нужна легкость! (фр.).

34  
Птицы (фр.).

35  
Став на пуанты (фр.).

36  
Общность (ар.).

37  
Шариат — свод мусульманских религиозных и правовых нормативов (ар.).

38  
Коран, сура 2, стих 222.

39  
Без проблемы, синьор (ит.).

40  
Коран, сура 24, стих 31.

41  
Лэнс Армстронг — знаменитый велосипедист-гонщик, участник и победитель международных велогонок «Тур де Франс».

42  
Имеется в виду Джордж Вашингтон.

43  
Упаковки (ар.).

44  
Деньги (ар.).

45  
Кафр (ар.).

46  
Ты понимаешь по-арабски? (ар.).

47  
Нет, извините. По-английски (ар.).

48

Суфи – мистическая религиозная секта в исламе.

49

Хвала Аллаху! (ар.).

50

Поллок Джексон (1912–1956) – американский художник.

51

Из каждой сложной ситуации есть выход (ар.).

52

Коран, сура 94.

53

Коран, сура 93.

54

Коран, сура 24.

55

Проститутка (ар.).

56

Нет Бога, кроме Аллаха (ар.).

57

Мохаммед – пророк Аллаха (ар.).

58

Жертвоприношение (ар.).

59

Жертва (ар.).

60

Обязательный, непременный (фр.).

61

Элевация (фр.).

62

Шапочка (ар.).

63

Друг против друга (фр.).

64

Коран, сура 50.

65

Коран, сура 101.

66

Мираж (ар.).

67

Коран, сура 56.

68

Так именуют Нью-Йорк.